М. М. Пришвин

В краю непуганых птиц

Осударева дорога

1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КАРЕЛИЯ»

Петрозаводск

В краю непуганых птиц

Очерки Выговского края

НА УГОРЕ

(Вместо предисловия)

Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.

— Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?

— Теперь недалеко, вон лес, смотри через сухую сосну. Видишь? Да вон там черная сосна, громом разбило. Там и лес.

Торчит деревцо, небольшое, ниже Мануйлы, и на всей моховине деревья ниже Мануйлы, он кажется огромным.

Остановились усталые. Лайка, тоже замореннаа, так и пала на месте, тяжело дышит, высунула язык.

— И так всю жизнь,— говорит Мануйло,— всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает — помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем. Ну, пойдем. Солнце садится...

И опять свистит сапог-насос. Навстречу нам лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, потом высокие сосны обступают со всех сторон. В лесу темнеет, хоть и коротка северная летняя ночь, а все же надо заснуть. Холодно, сыро. Мы раскачиваем сухое дерево, оно валится с треском, другое, третье. Тащим их на угор, укладываем рядом. На середине деревьев зажигаем сухие сучья. Костер разгорается. Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть перешептываются вершинами, по-своему рады гостям. Мануйло снимает шкурки с убитых белок, кормит их мясом собаку, что-то бормочет ей.

— Да купи ты себе собачку,— говорит он мне,— без собаки нельзя.

— На что мне она, я живу в городе.

— А веселее с собачкой, хлебца ей дашь, поговоришь...

И гладит свою собаку широкой, грубой ладонью, пригибая упругие, острые, чуткие ушки.

— Ну, спи. Спокойно спи. Звирь подойдет, собака услышит, проснемся. Ружье поближе к себе положи. Змей тут нету, место сухое, спи спокойно. Проснешься — увидишь, что середка прогорела, сдвинь дерева́ и ложись. Спи спокойно, место сухое.

Снится страна непуганых птиц. Полунощное солнце — красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрятся в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло... И вдруг сыплются страшные красные искры, пламя, треск...

— Зверь! Мануйло, вставай, медведь, зверь! Скорее, скорее!

— Звирь? Где звирь?

— Трещит...

— Это дерево треснуло в костре. Надо сдвинуть. Да спи же спокойно, звирь нас не тронет. Господь его покорил человеку. Что тебе не спится, место сухое...

И насторожился... Что-то завозилось наверху, на ближайшей сосне у костра.

— Птица шевéлится. Верно, рябок подлетел. Ишь ты, не боится!..

Посмотрел на меня, сказал значительно, почти таинственно:

— В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.

— Непуганая птица?

— Нетра́щенная, много такой птицы, есть такая...

Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуганых птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.

— Нет такой птицы.

— Есть, есть,— спокойно твердит Мануйло.

— Да нет же, нет,— беспокоится маленький,— это только в сказках, может быть и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки...

— Ну вот, поди ты говори с ним,— жалуется мне огромный Мануйло.— У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!

. . . . . .

— Ну, вставай, вставай, солнце взошло. Ишь угрелся. Вставай! Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смирёная...

Я встал. Мы затоптали костер, вскинули ружья и спустились с угора в низину, в лесную чащу, в топь.

ВСТУПЛЕНИЕ

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО ПОВЕНЦА

Прежде чем начать рассказывать о своем путешествии в «край непуганых птиц», мне хочется объяснить, почему мне вздумалось из центра умственной жизни нашей родины отправиться в такие дебри, где люди занимаются охотой, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую и водяную нечистую силу, сообщаются пешком по едва заметным тропинкам, освещаются лучиной,— словом, живут почти что первобытной жизнью. Чтобы сделать себя понятным, я начну издалека: я передам одно мое впечатление из Берлина.

Как известно, этот город окружен железной дорогой, по которой живущим в германской столице приходится постоянно ездить и наблюдать из окна уличную жизнь. Помню, меня очень удивили рассеянные всюду между домами и фабриками маленькие домики-беседки. Возле этих домиков на земле, площадью иногда не более пола средней комнаты и окруженной живой изгородью, с лопатами в руках ковырялись люди. Странно было видеть этих земледельцев между высокими каменными стенами домов, среди дыма фабричных труб почти в центре Берлина. Меня заинтересовало, что бы это значило. Помню, один господин тут же в вагоне, снисходительно улыбаясь этим земледельцам, как улыбаются взрослые, глядя на детей, рассказал о них следующее. В столице между домами всегда остаются еще не застроенные, не закованные в асфальт и камень кусочки земли. Почти у каждого берлинского рабочего есть неудержимое стремление арендовать эти кусочки, с тем чтобы потом по вос-

кресеньям, устроив предварительно беседку, возделывать на них картофель. Делается это, конечно, не из выгоды: много ли можно собрать овощей с таких смешных огородиков. Это дачи рабочих — «Arbeiterkolonien». Осенью, при поспевании картофеля, рабочие на своих огородах устраивают пир «Kartoffelfest», который оканчивается неизменным в таких случаях «Fackelzug».

Так вот как отводят себе душу эти берлинские дачники. От смысла дачи — средства восстановления сил, отнятых городом, посредством общения с природой,— в этом случае остается почти лишь мечта. Немного лучше и с нашими дачниками из мелкого служащего люда, ютящегося летом на окраинах городов. Теперь читатели меня поймут, почему, имея в своем распоряжении два свободных месяца, я вздумал отвести свою душу так, чтобы уже не оставалось тени сомнений в окружающей меня природе, чтобы сами люди, эти опаснейшие враги природы, ничего не имели общего с городом, почти не знали о нем и не отличались от природы.

Где же найти такой край непуганых птиц? Конечно, на Севере, в Архангельской или Олонецкой губерниях, ближайших от Петербурга местах, не тронутых цивилизацией. Вместо того, чтобы употребить свое время на «путешествие» в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок, составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии.

По опыту я знал, что в нашем отечестве теперь уже нет такого края непуганых птиц, где бы не было урядника. Вот почему я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время. Все, что мне казалось интересным, я фотографировал. Обладая теперь этим материалом, я, по возвращении в Петербург, решился попытаться дать в ряде небольших очерков если не картинку этого края, то дополненное красками его фотографическое изображение.

Занятые петербуржцы мало интересуются теми местами столицы, которые тесно связаны с памятью преобразователя России. Сколько тысяч людей ежедневно проходят мимо памятников величайшего исторического значения, проходят всю жизнь куда-нибудь на службу, фабрику и т. д., совершенно их не замечая. Да и неловко даже и присматриваться к памятникам, когда все кругом спешит по делу. Для этого нужно быть иностранцем или провинциалом.

Но вот вы выехали за город. Сначала скрылись дома и остался только лес фабричных труб. Потом исчезли и трубы, и дома, и дачи; позади остается только серое пятно. И тут-то начинаются разговоры о делах Петра Великого. Указывают полузасохшее дерево на берегу Невы и говорят, что это «красные сосны». Петр Великий будто бы взбирался на одно из бывших здесь деревьев и смотрел на бой... А вот и Ладожское озеро и начало канала вокруг него. Кто-то сейчас же говорит: Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро... Тут же виднеется на островку белая крепость Шлиссельбург... Вот где, кажется, и вспомнить о делах Петра и вообще подумать над судьбой родины: крепость, построенная новгородцами и названная ими Орешек, перешла потом к шведам и стала называться Нотебург. В 1702 году, после знаменитого сражения, крепость достается снова русским и называется Шлиссельбург,— ключ, которым, по словам Петра, были открыты двери в Европу.

Но все почему-то молчат, когда смотрят на белую крепость: и батюшка, и гимназисты, и барышня, и господин с фотографическим аппаратом.

— Э-х-х-х, господи!..— бормочет батюшка.

Словно какие-то болезненные бледные призраки становятся на пути мысли к легким, приятным воспоминаниям о славных делах Петра...

И чем дальше, тем больше и больше указывают различных памятников пребывания Петра Великого в этих местах. Нет никакой возможности здесь передать все эти народные предания, указать на все памятники. Их так много, что не знаешь, с чего начать, как связать. Здесь нужен историк. Необходимо пополнить этот пробел в нашей литературе.

Солнце погрузилось в Ладожское озеро, но от этого нисколько не стало темнее. Просто не верится, что оно закатилось, скорее подходит сказать: солнце «село». Словно там, за водной гладью горизонта, оно притаилось, прячется, как страусы прячут от охотника голову в песок. Светло по-прежнему, но мало-помалу все становится призрачным.

Призрачным становится этот оранжевый, освещенный притаившимся солнцем дым... Это не дым, это длинная широкая дорога уходит вдаль, в небо. Призрачным кажется след на воде от парохода, почему-то не исчезающий, но все расширяющийся и расширяющийся туда дальше к исчезнувшему берегу. Призрачны все эти молчаливые люди, глядящие на водную и небесную дорогу... Это не полковник, батюшка, барышня и гимназист, а таинственные глубокие существа.

Легкая зыбь — «колышень»— рябит воду. Пароходом она не ощущается, но маленькое озерное судно «сойма» слегка покачивается. Немножко колышется и «лайда»— финское судно с картинно натянутыми парусами. Вдали показывается белое пятно. Маяк это, церковь с того берега, который уходит в Ладогу, или парус какого-то большого судна? Пятно куда-то исчезает, но скоро показывается маяк, а на красном небе вырисовывается полногрудый силуэт большого озерного старинного судна: «галиота».

Я не помню, кто это из путешественников сказал: будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случалось ли чего с этим пароходом, например, не отваливалось ли дно и т. д. Все эти меры предосторожности я принял. Мы ехали на новом пароходе «Павел»; он совершал свой первый рейс от Петербурга в Петрозаводск — Повенец и был построен в Англии. Даже самое общество пароходовладельцев основалось на английский манер.

— Помилуйте,— говорил нам один из нескольких членов общества, маленький, кругленький, петрозаводский купчик,— помилуйте, в Англии даже одно общество лакеев имеет свой собственный пароход, а мы, русские купцы, для своих товаров не можем завести собственных пароходов.

Я не знаю, бывали ли в России когда-нибудь такие общества. В нем объединялись мелкие и средние торгов-

цы. Достаточно было внести пай, кажется, в двести рублей, чтобы сделаться членом этого общества, но с обязательством возить свои грузы лишь на собственных пароходах. Тут было немножко политики. Время было юное, бодрое, с розовыми надеждами... Раздавались неслыханные раньше голоса в Государственной думе.

— Вы знаете,— торопились новые борцы,— разве теперь время, чтобы сидеть сложа руки... А у нас по берегам Онего такие угодники сидят, что знать никого не хотят. Что ни место, то свой святой... А самолюбие! Такие самолюбивые, скажу вам, что газету из-за самолюбия читать не станут!

Все эти купчики, оживленные новыми перспективами, широкими горизонтами новых времен, сопровождая пароход при первом рейсе, разыгрывали из себя настоящих моряков. Один юркнет в машину и вернется с черным пятном на лбу и платком вытирает масляное пятно на одежде, другой мешает капитану. Но больше всего их собралось на корме у аппарата, отсчитывающего узлы.

— Да не может быть! Шестьдесят узлов! Тридцать верст в час!

Узлы, секунды, курс... так и сыплются морские термины у моряков с брюшками. У одного даже очутился в руках компас...

Все дело в том, чтобы догнать пароход «Свирь», принадлежащий старому обществу. Пароход «Павел» делал на столько-то узлов больше в час, чем «Свирь», и должен был перегнать его на Ладожском озере. Об этом говорили даже публике, когда выдавали билеты. Вот почему и считали узлы и смотрели вдаль: не покажется ли дым.

И дым показался. Больше. Показалась труба. Узлы, секунды, курс — все было забыто. Еще полчаса, и на Ладожском озере европейцы-купцы готовы были торжествовать победу.

Вдруг в машине что-то заскрипело, затрещало, оттуда на палубу повалил дым. И все засуетились: и публика, и настоящие матросы, и матросы с брюшками. Кто-то направлял наконечник пожарной трубы в машину.

Через час все благополучно кончилось. Пароход снова пошел. Но с мыслью догнать «Свирь» пришлось расстаться навсегда.

— Ничего, ничего,— грустно утешались хозяева,— машина новая, оботрется...

Теперь, когда я пишу, оба парохода этого общества «Петр» и «Павел» грустно стоят на Неве без котлов, без колес. Оба потерпели аварии: один на Свирских порогах, другой на озере Онего. За все лето они совершили лишь по одному или по два рейса.

— И где им,— торжествовали «самолюбивые» купцы.— Собралась у них всякая мелкота. Да разве можно такие большие пароходы по нашим рекам и озерам пускать. Да и лоцмана были дрянные.

Не знаю, повысило ли теперь старое общество пассажирскую плату. Новое общество сбило было ее почти наполовину.

Едва справились с бедой, как стало покачивать, и, чем дальше, все сильней. Сначала поднялась с места задумчивая барышня и подошла к борту. Потом заболела девочка на руках у матери и сказала: «Мама, эта конка бя!» Наконец, полковник-старичок сходил к борту и, вернувшись, словно извинялся: «Тысячу раз клялся не ездить по этому проклятому озеру». Ему было особенно неловко, потому что он только что рассказывал, как он ходил на медведей с рогатиной. Как бы там ни было, но все обрадовались, когда показалось, наконец, широкое устье Свири.

Река Свирь — прежде всего место для перевозки леса, муки. Она есть одно из тех устьев Мариинской водной системы, которая соединяет Петербург с Поволжьем. Я это говорю не для того, чтобы сделать очерк о промышленности, но только хочу отметить, что торговая жизнь здесь уж очень кладет свой отпечаток на все. Вот, например, большое торговое село с большими деревянными домами со множеством окон. Это, конечно, хорошо, но почему же возле этих удобных, светлых домов нет садика, деревца, огорода, вообще каких-нибудь признаков заботливости у своего жилища? Лучше всего это станет понятным, если прислушаться к разговору тверской няньки, едущей при господах, и олончанина из Шуньги. Нянька, как и я, недовольна видом этих домов.

— И зачем только едут господа? — говорила она, сильно окая.— Да где же у вас усадьбы, огороды, а где пашня, зачем изгороди косые?

Олончанин говорит, тоже окая, но не так сильно, как мне показалось, сравнительно с уроженкой Тверской губернии. Он говорит, что косые изгороди прочнее, а ковыряться в огородах по здешним местам невыгодно, есть другие промыслы. По его словам, лоцмана зарабатывают рублей триста в лето, и тут уж не до капусты.

Но у няньки своя логика, «женская», и потому она прерывает рассудительную речь олончанина:

— А у нас-то везде огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, изгороди прямые. Что это?— презрительно восклицает она, показывая на берег.— Кусты, ямочки, горочки, камни...

Берега в самом деле какие-то невеселые. Хороши они, вероятно, были раньше, когда на них были вековые леса. И теперь лес тут всюду, только и слышишь слово «лес», но с прилагательными: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Этот лес тащат буксирные пароходы, он загромождает пристани, о нем говорят, около него хлопочут торговые деловые люди. Вся эта жизнь вокруг леса, баржей и т. д. кажется как-то не своей собственной: все это тяготит к Петербургу. И люди тут немножко американского типа. Вот, например, молодой человек в модном петербургском пальто, вообще вполне культурный человек. Он охотно, как это часто бывает у русских в дороге, рассказывает свою биографию. Родился на берегу Свири. Сын крестьянина-землепашца. Мальчиком раз был сильно болен. Родители, чтобы спасти его жизнь, затеплили свечку перед иконой, упали на колени и молились: «Поправь, святой угодник!» В свою очередь они тут же и обещались угоднику отдать сына на год в Соловецкий монастырь. Угодник помог, и потому, когда мальчик стал восемнадцатилетним юношей, его отправили «годовиком по завещанию» в Соловецкий монастырь. Он пошел с большим религиозным подъемом духа. Но там остыл совершенно. Жизнь в монастыре оказалась почти такой же, как в миру, и даже хуже. «Был всякий грех, табак доходил до пятидесяти копеек за коробочку». Вернувшись домой, ему захотелось «жить». Но какая же это жизнь земледельца на Свири: рубить деревья, косым крюком удалять камни, «орать» первобытной сохой и сеять рожь, жито, репу, не рассчитывая даже прокормить себя этим год. Юноша пошел в Петербург искать счастья. Брался за все, но кончил портным и теперь

возвращался щеголем в родную деревню, чтобы обшивать всех по-питерски.

Мне не хочется описывать здесь Подпорожье, Мятусово, Важины — все это большие торговые села. Не хочется даже писать о Свирских порогах, потому что они опять-таки имеют отношение только к баржам. На вид же они незначительны и отличаются от всей остальной реки по беспокойству воды, по «вьюнам» и т. п. У Вознесенья, последнего села на Свири, начинается по виду совершенно такой же канал, или канава, вокруг Онежского озера, как и около Ладожского.

Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случилось так, что, когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую теплую погоду.

Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже «Онегушко»... Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его Онежским озером, ну... назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это нехорошо делал Писарев, по отчеству... Онего в народном сознании является уже не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и толь-

ко случайно оно не было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем»,— сказал мне один патриот.

Недостаток художественного описания Онего я почувствовал особенно отчетливо потом, когда ознакомился с «Губернскими ведомостями», «Олонецким сборником» и «Памятной книжкой Олонецкой губернии». Сколько там рассеяно описаний различных местных литераторов, любящих Онего, но как-то с чересчур переполненной душой. Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское «алмазна сыплется гора», восклицает вдохновенно: «И не знаешь, чему дивиться,— божественной ли красоте водопада, или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое слово есть алмаз».

Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и с маленькой левой. Водоем этот значительно меньше Ладожского озера (Ладожское — 16 922 квадратных версты, Онежское — 8569) и переливается в него рекой Свирью. На севере между клешнями рака заключен громадный, весь изрезанный заливами полуостров Заонежье. На левом его берегу, если смотреть на рака от хвоста к голове, расположился губернский город Олонецкой губернии Петрозаводск, недалеко от правого — Пудож, Вытегра, в самом северном уголку правой клешни — Повенец, где и «всему миру конец» и куда лежал мой путь.

Густая толпа народа, которая встречает каждый пароход, представляет из себя живой этнографический музей и уносит воображение в отдаленные времена колонизации этого края. Правда, тут в толпе непременно есть представители современности: урядник, ученики Петрозаводской духовной семинарии, иногда студент, сельская учительница. Но они теряются. Большинство собравшихся, конечно, из ближайших деревень: им просто любопытно посмотреть на проезжающих. И, вероятно, для них это любопытнее, чем для нас лекция, театр, путешествие. Это сказывается и на внешности молодежи. Неуклюжая кофточка, ленточка являются сначала результатом простого созерцания дам на пароходе, а потом, глядишь,

появилась портниха и мало-помалу одела всех по-питерски. Но среди модной современности виднеются и приехавшие из глуши совсем серые люди. И что это за экипажи, на которых они приехали! Прежде всего удивляют при летней обстановке сани, обыкновенные дровни. Очевидно, хозяин их приехал из какого-нибудь такого глухого местечка, где совершенно невозможны никакие колесные экипажи. Впрочем, тут же стоят и колесные экипажи, но что это за колеса! Это просто толстые большие отрезки дерева, иногда даже не совсем правильно округленные... Колес с шинами и спицами совершенно нет: такие колеса скоро бы разбились о каменистую дорогу и потому оказались бы дорогими. Вся масса людей носит серый тон: преобладает какой-то мелкий корявый тип с светлыми глазами, очевидно потомки чуди белоглазой; но между ними попадаются такие молодцы, что вот одеть — и был бы настоящий Садко, богатый гость.

Эти два типа так различны, так бросаются в глаза своим контрастом, что на минуту забывается толпа, и с каменистого берега смотрят на пароход очи истории.

В этих местах существует много курганов и других самых разнообразных памятников когда-то упорной кровопролитной войны новгородских славян и финских племен, «белоглазой чуди», закончившейся в XI веке победой новгородцев. Дальше все шло обычным порядком: знатные новгородские люди здесь приобретали земли, леса, реки и озера и посылали сюда удалых добрых молодцев для управления своими угодьями и промыслами. Все эти земли, занимающие огромную площадь между Ладожским озером, рекой Онегой и Белым морем, составили Обонежскую *пятину* Великого Новгорода... Вся эта дикая лесная Обонежская страна в то время была бесконечно богата пушными товарами.

Тогда коренные жители были настоящими дикарями, жили в подземных норах и пещерах, питались рыбой и птицей и верили, согласно свидетельству историков, так: «Кто им когда чрево насытит, тогда и бога сопоставляще, а еще иногда каменем зверя убиет — камень почитали, а еще палицею поразят ловимое — палицу боготворят». Христианство начал здесь распространять князь Святополк еще в 1227 году, вместе с тем и новгородские промышленники во время поездок. Но особенно много

потрудились здесь те бескорыстные пустынники, которых с величайшим благоговением, как святых, чтило все Обонежье. Это Корнилий Палеостровский, Александр Свирский, Герман, Зосима и Савватий Соловецкие и многие другие.

Я упоминаю здесь именно этих святых, потому что основанные ими монастыри (Александро-Свирский, Палеостровский, на острове того же названия, и Соловецкий) привлекают к себе до сих пор огромные массы богомольцев. И все, что нам известно об этих первых христианах, говорит о них как о людях удивительно чистых и хороших, сделавших массу добра для края. Жизнь их вдохновляла потом и следующих за ними колонизаторов края — раскольников. Многие из этих людей приближались вполне к жизни первых христиан. Да и до сих пор в глухих местах Архангельской губернии есть старцы, идеалом жизни которых служат жития этих святых.

Так мало-помалу, частью силой, частью подвигами этих старцев, финские племена приняли крещение и сжились с славянскими. Во время шведских походов карелы переходили то на шведскую, то на русскую сторону. А теперь финские племена, особенно карелы, так сжились с русскими, что отличить их можно только по отдельным ярким представителям.

На Онежском озере есть несколько старинных монастырей. Тут лежит путь богомольцев в Соловецкий монастырь. На берегах его до сих пор совершается борьба официального православия с его сгущенной формой — расколом. Наконец, здесь между религиозно настроенной толпой и монастырем можно постоянно видеть посредников. Все это кладет какой-то своеобразный паломнический отпечаток на плавание по Онежскому озеру. Тени святых обонежских пустынножителей словно живут и блуждают по этому озеру. Блуждают, потому что дело их сделано, язычников финнов нет уже в каменных пещерах. Другие язычники появились теперь на Онежском озере, несравненно более упорные и сильные, чем те, вооруженные палицами и пращами, финские племена. Старцам их следовало бы оставить совершенно, как это сделали старцы в других местах: труд бесполезный! Но по странному упорству они продолжают беспокоить всех проезжающих, даже самых закоренелых язычников.

Почему, например, капитан, который на Ладожском озере все время ел семгу, икру и кровавые бифштексы, теперь ведет в рубке религиозно-философский спор с почтенным господином? Он доказывает, глядя с верхней палубы на богомольцев, что все это пустяки и глупость, и отказывается понимать, как человек с высшим образованием может серьезно интересоваться такой чепухой. Почему так пришлось, что полковник именно на Онежском озере рассказывает, будто раз его собаки в лесу загнали на высокую сосну монаха и что при этом у монаха из кармана выскочили две бутылки водки? Почему господин с фотографическим аппаратом снимает теперь кривого монаха, который, опираясь о борт, улыбаясь и играя по-своему единственным глазом, что-то шепчет богомолке? Почему, наконец, и я, совершенно не имея этого в виду, попал в глухой Климентский монастырь, куда и пароход-то ходит всего один раз в год, да и то с благотворительной целью. Случилось это так. Раз в год те самые «самолюбивые» пароходовладельцы, о которых мне пришлось уже говорить, как люди русские и благочестивые, уступают на один день губернатору пароход в бесплатное пользование для организуемой им поездки в монастырь на Климентский остров. Этот остров, самый большой на Онежском озере, находится у конца полуострова Заонежья. На этом каменистом и бесплодном месте был основан монастырь еще в 1490 году Ионой Климентским, сыном богатого новгородского посадника. Случилось, что буря разбила все его суда около каменистого острова, сам он едва спасся от смерти. После этого Иона Климентский (в миру Иван Клементьев) порвал с миром, стал жить на этом острове и основал монастырь. В настоящее время этот монастырь, оставаясь в стороне от пароходного сообщения, пришел в упадок. Чтобы хоть сколько-нибудь помочь монахам, и организовывались эти ежегодные поездки.

От Петрозаводска туда всего несколько часов езды. Мы выехали из Петрозаводской губы, миновав замыкающий ее Шуй-наволок и необитаемые Ивановские острова, пересекли почти половину «Большого Онега», то есть его широкой, лишенной островов части, и были у Климентского острова. Монахи в светлых ризах с крестами и иконами, окруженные пришедшей с другой части острова толпой народа, встречали нас у самого берега. Потом,

версту или две, мы шли по лесу, по каменистой лесной тропе, ежеминутно спотыкаясь. Несложная, угрюмая картина открылась нам, когда мы вышли из леса. Покосившийся крест в воде на том месте, где разбились суда, масса камней, каменная церковь, деревянная, две-три постройки и на фоне хвойный лес. Церкви по виду самые обыкновенные: деревянная выстроена недавно, каменная сохранилась с основания монастыря. Внутри каменной церкви стенная живопись изображает между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой... После службы нам показывали в лесу жалкие поля, скот...

Что же делали здесь все эти люди столько столетий? Молились, трудились? Но где хоть малейшие следы этой вековой работы и молитвы? И эти вялые ответы, неодушевленные лица... Вся церемония походила на именины в провинции, когда хозяевам в этот год не удалось куданибудь уехать и пришлось их праздновать. Наконец, нас повели в трапезную закусить; здесь мы ели «рыбники», то есть пироги с рыбой, любимое кушанье олончан, и коекак поддерживали разговор. Нужно знать, что в это время в Петрозаводске носился уже слушок, что в монастыре что-то неладно, что его пора бы закрыть и преобразовать в женский, как это делается всегда, когда хотят спасти разоряющийся мужской монастырь... Женщины всегда оказываются в этих случаях настойчивее и упорнее мужчин.

Один батюшка, приехавший вместе с нами из Петрозаводска, время от времени за трапезой делал ехидные замечания и развлекал нас. Когда, например, настоятель нам сообщил, что у них тридцать шесть коров и двадцать монахов, то батюшка заметил вскользь:

— На шестнадцать больше...

— Чего?— тревожно спросил настоятель.

— А коров, отец настоятель,— сказал батюшка, сильно выделяя о, — коров, говорю, на шестнадцать больше.

Настоятель закусил губу и только сердито поглядел на врага. Но батюшка не унимался.

— Говорят, вы коровушек-то продаете, почем?

Это уже был явный, грубый намек на ликвидацию монастыря. Настоятель сейчас же оборвал:

— Если вам угодно ознакомиться с нашими делами, то я с удовольствием...

Батюшка даже выронил рыбник из рук от огорчения и тысячу раз извинился. Но, когда недоразумение было устранено, он поинтересовался судьбой монастырских актов. Настоятелю решительно не везло. Только что он обстоятельно изложил, как сгорели акты при пожаре, кто-то из публики сказал:

— Акты, отец настоятель, целы, они у Ивана Ивановича в Петрозаводске, целы и невредимы.

В это время богомольцы, успокоив свою грешную душу молитвой и, конечно, ничего не подозревая о таких тонких политических разговорах у отца настоятеля, сидели кучкой на камнях возле парохода у красивой бухточки с часовенкой и дожидались отхода парохода. Скоро и мы присоединились к ним и уехали в Петрозаводск.

На возвратном пути, через два месяца, мне сказали, что Климентский монастырь уже преобразовался в женский... Некоторые говорили, что будто бы монахи были ничего себе, а это дело рук хитрого игумена другого монастыря, которому хотелось сделаться вместе с тем и настоятелем женского Климентского монастыря. Другие же, напротив, утверждали, что игумен тут ни при чем, а виноваты сами монахи. Но я не буду разбирать этот сложный вопрос и беспокоить тени преподобных Корнилия, Зосимы и других святых старцев...

В Обонежском краю по пути мне удалось ознакомиться с двумя городами — Петрозаводском и Повенцом. Как их характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность? Все это есть в них понемножку, но не характерно. Помню, когда я гулял в Петрозаводске в ожидании парохода, мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. Я не хочу этим словом обидеть городок; он дремлет не так, как наши провинциальные города центра, а как-то по-своему. В нем всегда тихо, и было бы нехорошо, если бы на берегу такого красивого озера, между холмами, что-нибудь сгущенное, человеческое шумело и коптело. Городок дремлет в тишине, и только время от времени что-то тяжело звякнет, стукнет или загудит снизу из котловинки в средине города. И вот этот-то звук чего-то упавшего железного в котловинке, очевидно на Александровском пушечно-снарядном заводе, и объясняет теперь при

воспоминании весь смысл городка. И в самом деле, вся история этого городка сложилась как-то возле неудачных попыток устроить здесь завод. Почин в этом деле принадлежит Петру Великому; раньше жил здесь лишь одинокий, выселившийся из соседней деревни мельник. Завод этот как-то плохо работал, закрылся, затем действовал некоторое время медноплавильный, потом завод, открытый французской компанией, наконец и Александровский пушечно-снарядный завод, основанный Екатериной II. Последний существует и до сих пор: громадное красное здание в средине города в котловине. Говорят, что дела завода очень плохи, и только нерешительностью правительства прекратить невыгодное дело объясняется его еще до сих пор теплеющаяся жизнь. Так что завод этот вполне невинный и нисколько не нарушает картины общего безмятежного спокойствия.

Памятники старины относятся, конечно, к пребыванию здесь Петра Великого. Тут есть деревянный собор Петра и Павла, устроенный так, чтобы с внешней его стороны можно было взбираться наверх. Говорят, что Петр Великий любил подниматься на этот собор и любоваться озером Онего.

Есть здесь также прекрасный парк, где Петр собственноручно сажал деревья и где был выстроен для него дворец. Есть тут монументы Петру Великому и Александру II, есть дом Державина и, конечно, как в губернском городе, много больших казенных зданий. Другой город, Повенец, уже относится к краю леса, воды и камня.

ЛЕС, ВОДА И КАМЕНЬ

Про Повенец говорят обыкновенно: он всему миру конец. Но, как я уже говорил, для меня с Повенца только и начинался самый любопытный мир.

И опять я задаю себе тот же вопрос: как характеризовать маленький городок в северном углу Онежского озера — Повенец? Я помню постоянный звук колокольчиков: это бродили коровы по улицам городка. Звук этих колокольчиков мне объясняет все. Повенча́н, так же как и петрозаводцев, я не хочу этим обидеть; не их вина в том, что старинное, существовавшее еще в XVI веке селение

Повенцы потом было названо городом Повенцом. Если же считать его селением, то в присутствии коров на улицах нет ничего удивительного. И в самом деле, коренные жители этого «города» занимаются до сих пор земледелием; тут же за деревянными домиками и начинаются их поля. Другая, «лучшая» часть населения, в лучших домах — чиновники. Вот и все, что я могу сказать о Повенце.

Дальше: широкая дорога между непрерывными стенами угрюмого северного леса. То и дело вздрагивает повозка, наскакивая на разбросанные повсюду камни-валуны, или шипит по желтоватому крупнозернистому песку с мелкой галькой. А из леса сверкает чистая вода лесных озер, «белых ламбин»[1]. Время от времени шум экипажа пугает купающихся в разогретом песке тетерок с цыплятами. Но мать не оставляет детей, а торопливо уводит их в лес, постоянно оглядываясь назад.

Повозка мчится все выше и выше, то спускаясь, то поднимаясь между террасами, холмами и скатами. Тихо ехать нельзя: *бармачи* (овода) замучат лошадей. Их целые полчища танцуют возле нас, и кажется — движение вперед им не стоит усилий.

В тринадцати верстах от Повенца, в деревне Волозеро переменили лошадей и снова понеслись вверх. Проехав еще верст пятнадцать, мы пересекли в косом направлении Масельгский хребет — высшую точку подъема. Этот хребет есть водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов.

С этого места, если бы только можно было видеть так далеко, открылась бы грандиозная каменная терраса со ступенями назад, к Балтийскому морю, и вперед, к Белому. Величественные озера — ступени этой гигантской двойной лестницы — переливаются одно в другое шумящими реками и водопадами. Назади узкая лента Долгих озер переливается Повенчанкой в Онежское озеро. Многоводное Онего по Свири стекает в круглую Ладожскую котловину, по-старинному озеру Нево, а оно по коротенькой Неве спускается к Балтийскому морю. Впереди тоже ряд озер: Матк-озеро, Телекинское, Выг-озеро со множеством островов; последнее тремя живописными водо-

[1] Белыми ламбинами называются озера со светлой водой, черными ламбинами — с темной, от темного болотистого дна.

падами переливается в стремительный Выг и стекает к Белому морю. У подножья первого склона террасы — Петербург, а у другого — Ледовитый океан, полярная пустыня.

Так рисуется воображению географическая картина этих мест. Но и простым глазом видно то же самое, только на меньшем пространстве. В дымчатой синеве океана лесов тут сверкают террасы озер, рассеянных всюду между причудливо смыкающимися склонами.

— Лесом, водой и камнем мы богаты,— говорит ямщик.

И замирают слова человека. Безмолвие! Лес, вода и камень...

Творец будто только что произнес здесь: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша!»

И вода стала стекать к морям, а из-под нее — выступать камни.

В этих местах создалась такая карельская легенда: «Вначале в мире ничего не было. Вода вечно волновалась и шумела. Этот шум несся к небу и беспокоил бога. Наконец, разгневанный бог крикнул на волны, и они окаменели, превратились в горы, а отдельные брызги — в камни, рассеянные повсюду. Места между окаменелыми волнами наполнились водой, и так образовались моря, озера и реки».

В этом случае, как часто бывает, художественное творчество предупредило медленные поиски науки. Теперь и наука утверждает, что вначале здесь была только вода. Ледовитый океан в этом месте соединялся с Балтийским морем. Немногие такие мели, как вершина Масельгского хребта, выглядывали с поверхности ледникового моря. Громадные льдины Скандинавского ледника плавали по океану, задерживаясь только на этих мелях. Тут, на мелях, они таяли и оставляли всю массу камней, которую увлекли с собою, спускаясь с гор. Работою подземных сил из воды выдвигались все новые и новые мели, а льдины оставляли на них холмы ледникового наноса. Вот так и образовались здесь всюду раскинутые, вытянутые с ССЗ на ЮЮВ грядки кряжей: *сельги.* Низменные же места между сельгами остались наполненными водой. На каменных сельгах выросли хвойные леса, а в лесах люди «живяху, яко же и всякий зверь».

Название «Выговский край» не существует в географии. Этот край входит в общее название «Поморья». Но он своеобразен во всех отношениях и достоин отдельного названия. Он занимает всю ту местность, которая прилегает к берегам Выг-озера, впадающего в него с юго-запада Верхнего (южного) Выга и вытекающего из северного конца озера Нижнего (северного) Выга.

Мне казалось удобнее ознакомиться с этим краем, если поселиться где-нибудь в деревне в центре его и отсюда уже ездить на лодке на юг или на север. Как раз посредине длины Выг-озера, на одном из его бесчисленных островов, есть деревенька Карельский остров. Вот ее-то я и избрал своим пристанищем. Этот план был одобрен и дедом рыбаком, у которого я ночевал перед поездкой по Выг-озеру.

— Женки едут на Карельский, они тебя и отвезут,— сказал мне старик.

— Вот наши женки, любы тебе? — рекомендовал он мне двух женщин с загорелыми, обветренными лицами, в сапогах, высоко подтянутых юбках и с веслами в руках.

Потом дед повернул свою седую большую голову по ветру и сказал «женкам»:

— На озере вам хорошая поветерь будет, *шалонник* дует.

Слово «шалонник» означает SW — юго-западный ветер. Другие ветры, как я потом узнал, назывались: *летний* (S), *сток* (W), *побережник* (NW), *обедник* (SO), *полуночник* (NO), *торок* (вихрь) *и жаровой*, то есть — случайный летний ветер.

— Хороший, походный ветерок, — продолжал дед,— парус не забудьте.

— А мы не взяли, дедушка,— отвечали женки.

— Так дать, что ль?

— А бе есть, так и дай.

Дедушка одолжил нам парус, сшитый из мешков, и мы пошли к берегу. Там была вытащенная наполовину из воды простая небольшая лодка. На этой лодке и приходилось плыть по громадному, в семьдесят верст длины и до двадцати верст ширины, бурному Выг-озеру. Ко всему этому я узнал, что лодка «без единого гвоздя сделана» и «сшита» вересковыми прутьями. Так оказывалось прочнее, проще и дешевле. Так, кажется, по преданию, строился и Ноев ковчег.

Немножко жутко было ехать в такой лодке, да еще с женками. Но это только с самого начала; потом же, как я убедился, женки, которые выросли на воде и начали плавать по озеру грудными младенцами, ничем не уступали мужчинам. Мужья сохранили только за собой право всегда сидеть на руле. Сначала кажется несправедливым, когда видишь, как женка гребет, а муж сидит на корме, чуть придерживая рулевое весло, а иногда еще при этом выпивая и закусывая рыбником. Но когда я присмотрелся, какое огромное напряжение сил требуется от рулевого в бурю и даже вообще при ветре на лодке с парусом, то понял, что тут ничего особенно несправедливого нет. Оно, может быть, и есть, но уж это везде и во всем пока так водится.

Итак, мы ехали по Выг-озеру с женками, на лодке без гвоздей, на Карельский остров. Вперед уходила на север бесконечная водная ширь, «большое озеро», свободное, без островов, а направо виднелся лес.

— Это острова?

— Нет, это *сузёмок*. Вон острова!

— А это?

— Это тоже острова. У нас их так много, что и не толкуем. Всего на озере их — сколько дней в году и еще три. Дальше еще кучнее пойдут. Острова да *салмы*, острова да салмы.

«Салмы» — значит проливы, слово карельское, как и все географические названия, сохранившие память о старых хозяевах этого озера.

— На веках тут у нас обязательно кареляк жил,— поясняют мне женки.

Дед, который сулил нам поветерь, не ошибся. Как только мы выбрались из лабиринта салм, подул сильный попутный ветер. Женки, довольные, стали устанавливать мачту, продевая конец ее через отверстие в лавочке и укрепляя в прибитой на дне лодки железной подкове.

— Как поветерь,— заговорили они оживленно,— тут уж поездка любая, тут сиди пóла да посвистывай. Не здымай высоко! Сòрьвется! Поставь райнó [1] повыше! Погора́же отпусти, не пора́то натягивай, а то лодку опружит.

---

[1] Райно — рея.

Женки, наконец, установили парус; одна обмотала снасть вокруг сапога, уперлась им в уступ на дне лодки, а обеими руками стала держать рулевое весло.

Лодка понеслась как стрела. Закипели белые волны. Надвигалась туча.

— Ветер чернеет! Темень стават, божия милость,— крестятся гребцы.— Наше озеро свирипо; как повиют ветры большие да забегают беляки, падет погодушка необъятная! Хоть вопи, а ехать надо. Забежит девятка[1], как хорома великая, и словно в могилушку опустит. Между девятками, как между хоромами, не видать лодки. Раз нас со старухой на остров выкинуло, так дня два зубами щелкали.

— Гляди, гляди, молвия маше! — восклицала другая женка.— Эк грянуло!

Туча прошла, и ветер стал стихать.

— Боком прошла божия милость. Ветер лосеет.

Заехали в салму, и стало вовсе тихо. Парус заколыхался. Над озером повисла радуга.

— Краса идет! Радуга! Надо парус рóнить.

Стали присматриваться, куда падает конец радуги. Если на *сузёмок,* то дождя не будет, если на воду, то снова *темень* зайдет.

— Да теперь недалеко осталось. Вот салмочку проедем, обогнем коргу, там будет бéрежная сельга, потом комлевая, медвежий бор и Карельский остров.

Большие бури на Выг-озере бывают осенью, а летом оно часто совершенно спокойно и сверкает на солнце, как громадное зеркало. Налетит *торочек* — случайный ветерóк (вихрь), и заблестит водная гладь миллионами искр. Но летом ветер быстро пролетает куда-то и исчезает бесследно; этот *жаровой* ветер не имеет никакого значения при поездке, и через пять — десять минут озеро остается таким же спокойным, как и раньше. Иногда солнце так греет, что становится и очень тепло. Но все как-то не доверяешь этому теплу. Словно за теплом и светом где-то притаился холодок и шепчет: «Это не лето, это только

---

[1] Девяткой на Выг-озере называется всякая большая волна, но, конечно, не всегда «девятый вал».

межень. Пройдет эта теплая пора, и здесь, на этом месте, будет лед и темная бесприрывная ночь».

На озере всюду разбросаны большие и маленькие острова. Большие не так интересны: их не охватываешь глазом, и они кажутся берегом. Но маленькие своеобразно красивы. Особенно хороши они в летнюю, совершенно тихую погоду. Из водной глади тогда всюду вырастают кучки угрюмых елей. Они тесно жмутся друг к другу и будто что-то скрывают между собою. Напоминают они немного беклинский «Остров смерти». Как известно, на знаменитой картине бросается в глаза сначала группа кипарисов, скрывающая загадку смерти, потустороннюю жизнь. Присмотревшись к картине, замечаешь, что между кипарисами продвигается лодка и кто-то в белом везет гроб, осыпанный розами...

Вот и тут так же что-то выдвигается белое. Что это? Семья лебедей. И вдруг над северным островом смерти раздается дикий хохот: га, га, га!.. Это летит гагара, падает на воду и исчезает.

Между островами, особенно у низких травянистых берегов, непременно плавают утки всяких пород: алейки, овсянки, крёх и другие; они смирные, непуганые и «в уме не дёржат», что человек их может обеспокоить.

Не всегда можно добраться до острова на лодке. Он окружен подводными камнями — *лудами*. А с двух сторон, обыкновенно с ССЗ и с ЮЮВ от него спускаются в озеро каменистые стрелки — *корги*. От этого кажется, что остров лежит на выдающемся из воды каменном пьедестале. Камни, окружающие остров, объясняют, что он не что иное, как размытая сельга. В середине его, на неразмытой части, где сохранились песок и галька, селились деревья, охватывая камни корнями, а размытые части образовали *корги*, то есть каменистые косы, и *луды* — подводные камни. Иногда вода совершенно размывала остров, и деревья не могли поселиться на голых камнях,— это мели, *сухие луды*. На лудах нерестится рыба, на сухих лудах любят собираться большими стадами чайки.

Все эти птицы — утки всех пород и лебеди — почти не боятся человека. Их не стреляют. «Зачем, скажут, их бить, когда для пищи определена «дичь», то есть лесная птица: рябчики, тетерева, мошники (глухари)». «Лебедь и утка, скажут, нам никакого вреда не приносят, самая

безобидная птица». Про хорошего человека здесь говорят: «Степенный человек, самостоятельный, бога почитает и не то что лебедей, но и уток не трогает».

Вот почему лебеди не боятся человека, подплывают с детьми к деревням. А утки так непременно селятся в болотах, ближайших к селениям. Когда мне про это рассказывал один старичок, то прибавил: «Стало быть, и ей (утке) это нужно, понимает она».

Как-то раз мы плыли с этим старичком на лодке в узкой салме. Семья лебедей плыла впереди, стараясь уплыть от нас и не желая улетать и оставлять маленьких детей. Старику показалось, что я хочу их стрелять; он в страхе схватил меня за руку и сказал:

— Что ты, что ты, господь с тобой, это нельзя!

И рассказал мне по этому поводу такую историю:

— Молод я был, глуп. Пришла мне раз в голову такая дурь — убить лебедя. Ходил я полесовать, день проходил — хоть бы что. Настала ночь. И такая-то светлая, хоть баба шей! Озеро стоит тихое-тихое. Смотрю, посередине у камня быстерок (струйка) играет. Думаю — это не рыба быструет. Пригляделся и вижу: на камне среди озера выдра сидит, хвост свесила, оттого и вода колышется. Стал прилаживаться. Фырсь! носом и в воду. И взяла досада. Вижу, плывет пара лебедей. Сошлись близко головками. Я прицелился. Не успел сливить[1] — разошлись. А по одной стрелять я не посмел. Отошел саженей пять, смотрю, катит на меня олень — что стог сена, рога — что борона. Я его и свернул. А если бы я по лебедям стрелял, то верст на пять распугал бы всех оленей.

— Да вот покойник Иван Кузьмич,— сказал другой гребец,— убил лебедя весной, а к осени и помер, через год жена померла, дети, дядя, весь род повымер.

— Эх, а что тоски-то в нем! Попробуй одну убить. Полетит кверху, будет на воду падать и пары себе уж больше никогда не подберет.

Я долго старался добиться, почему именно лебедь нельзя стрелять, но мне не могли этого объяснить. «Грех» — последняя причина в сознании местных людей.

Трудно понять, откуда взялось это поверье. Как известно, в наших сказках царевна обращается в лебедь,

---

[1] Ливить — спустить курок, потянуть за ливку (собачку).

а в мифологии всех вообще арийских народов лебедь привозит и отвозит божества. Но если это поверье связано с древнеславянской мифологией, то почему же в *былинах* так часто «рушают» белую лебедь? Быть может, оно заимствовано от финнов? Или, быть может, связано с тем, что здесь, на Севере, староверы поддерживали законы Моисея, запрещающие употреблять в пищу лебедь? Как бы то ни было, но обычай прекрасен, и кажется, будто он непременно так и должен быть здесь, в этом краю непуганых птиц.

Вероятно, многие из необитаемых теперь выгозерских островов были когда-то заселены. Иногда увидишь врубленный в дерево восьмиконечный староверский крест, иногда попадаются сложенные в кучи, очевидно рукою человека, камни. Местные люди здесь находят котелки, монеты, стрелы. Есть много поверий о зарытых кладах. Острова кажутся могилами.

И в самом деле, в этом краю, как и во всем Обонежье, происходили когда-то постоянные столкновения шведов, финнов и славян. Это было время непрерывных войн и опасностей. Вот почему, вероятно, стариннейшие селения здесь и до сих пор находятся на островах или в едва проходимой глуши. Большинство обонежских курганов, *сопок,* относится к этим старым временам. Но здесь, в Выговском краю, мало осталось об этом преданий. «На веках жили», и больше ничего. А чьи эти котелки, монеты, стрелы, могилы? Кто зарыл в землю клады, о которых с такой уверенностью говорят старые люди? Здесь сейчас же ответят: это *паны.* Они тут жили, это всем известно.

— Вот тут жили, где кузнецова изба стоит,— сказал мне раз один старик, и так уверенно, словно сам лично видел этих панов.

— А вот на том месте их главный притон был,— рассказывал мне дальше старик о панах.

Остров, на котором жили паны, называется *Городовой* и, вероятно, потому, что там было *городище,* укрепленное место, вроде небольшой крепости. Отсюда, с этого острова, по преданию, паны приезжали в селения, грабили их, забирали с собой крестьян и заставляли на себя работать. Но кто же были эти паны? Долго я не мог

добиться, как объясняют себе местные люди появление панов в таком глухом краю. Наконец, одна старая, девяностолетняя женщина, знавшая всякие сказки, стихи и былины, рассказала о них следующее:

«Был царь Гришка-расстрига; он женился в другой земле и взял жену Марину. Стали возить Маринино приданое и возили три года.

Раз шел конь с приданым, да остановился, устал. А пономарь звонил на колокольне, увидал и спросил:

— Что везете?

— Везем Маринино приданое.

Пономарь взял да и разбил одну бочку с воза. А там, в бочке — два пана. Пономарь и объявил царю:

— Ваше царское величество, вот какое приданое возят с другой земли.

Пришла сила, повернула Маринину палату вверх дном. Марина же волшебница была, обернулась сорокой и улетела в окно. А паны разбежались по русской земле, вот и у нас жили и грабили».

Так объясняет народ появление панов в Выговском краю. На самом же деле вторжение панов относится к тому времени, когда разбитые в сердце России войска второго самозванца рассеялись по ее окраинам. Эти банды поляков, татар и казаков вторглись в Олонецкую губернию из Вологодского и Белозерского уездов. «Паны», по современным актам, оскверняли церкви божии, снимали с образов оклады, мучили и секли крестьян, отнимая у них деньги и другое имущество, выжигая гумна и клети, а хлеб увозили с собой в *остроги*. Эти остроги, или острожки, были укрепленные места и, вероятно, находились там, где теперь указывают панские *городки, или городища,* как, например, остров Городовой на Выг-озере.

Шайки грабителей бродили по Олонецкому краю более трех лет (до начала 1615 года). В конце 1614 года царь Михаил Федорович отправил на имя белозерского воеводы Чихачева грамоту с приказанием объявить казакам всепрощение и пригласить их на государеву службу против шведов с обещанием денежного жалованья. Казаки откликнулись и в январе 1615 года явились в сборном пункте (село Мегра Вытегорского уезда) в количестве от тридцати до сорока тысяч человек при семидесяти

четырех атаманах, желавших идти на государеву службу под Новгород, под Ладогу и под Орешек.

Так кончились эти тяжелые времена для Олонецкого края. Неизвестно, ушли ли в это же время и паны с острова Городового на Выг-озере, или, быть может, продолжали более или менее долгое время грабить окрестных жителей. А может быть, народ расправился с ними по-своему. Возможно и то и другое. Выгозерцы все, от старого до малого, рассказывают о конце панов такое предание:

Там, где теперь находится Койкинский погост (селение на острове в северо-западном большом заливе Выгозера), жил крестьянин Койко с своей старухой. Раз, когда Койко уехал на лов, паны пришли к его старухе и стали требовать денег. Но старуха денег им не показала. Паны убили старуху. В это время приехал Койко и сказал, что он знает, где клад, и взялся доставить панов туда.

Паны согласились и легли в лодку спать. Старик прикрыл их парусом и повез к Воицким падунам (то есть в северный конец Выг-озера, к истоку реки Северный Выг). Как раз у того места, где находится *падь,* есть Еловый островок. У этого островка Койко бросил весла, ухватился за дерево и выскочил, а паны с лодкой полетели в пучину.

Я помню, что предания о панах мне рассказывали как раз в то время, когда я ехал на лодке осматривать Воицкие водопады. Говорят, что шум этих падунов бывает слышен еще в Дуброве, в десяти верстах от них. Но попутный нам ветерок уносил звук в другую сторону, и я ничего не слыхал, даже когда мы приехали в Надвоицы — селение на Выгу, почти у самых Воицких водопадов.

Те гребцы, которые привезли меня в Надвоицы и брались доставить к водопадам, говорили, что это опасно. Но тут, в Надвоицах, местные опытные люди сейчас же предложили свои услуги доставить меня на тот самый Еловый островок, возле которого падает вода и где потонули паны. Гребцы взялись меня доставить на островок сверху, прямо над водопадами. Если бы я знал, как это опасно, то, конечно, уж предпочел бы ехать снизу, по обессилевшей уже воде падунов. Но я этого не знал и поехал.

Выг у селения Надвоицы еще не имеет вида обыкновенной горной, бурливой реки. Однако все-таки вода довольно сильно стремится куда-то, всюду всплескивает о камни, беспокоится, всюду виднеются *вьюны,* лодкой нужно только управлять. Впереди, посредине реки, виднеется кучка елей, с виду как раз такой же островок, как на Выг-озере.

По мере приближения к этому острову, хотя и не видно падунов, начинаешь понимать всю страшную опасность такой поездки. Становится очевидным, что вода низвергается возле самого островка по обеим его сторонам, а между водопадами только каменный мысок, к которому и нужно непременно пристать лодке, иначе она полетит вниз. Хотелось бы повернуть назад. Но уже поздно, у гребцов рассчитаны все движения; теперь даже и говорить неудобно: малейшая ошибка — и конец всему. Один правит, а другой держит наготове жердь, чтобы удержать лодку, когда она пристанет. Торопливо, с замирающим сердцем выскочил я на остров. А гребцы сказали, что приедут через час снизу, где они будут *поездовать,* то есть ловить рыбу сетью в клокочущей воде. Я остался один на каменной глыбе между елями, окруженный бушующей водой.

...Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть, словно эта масса сцепленных частиц хочет захватить и увлечь с собою в бездну, испытать вместе все, что там случится.

Но, внимательно всматриваясь, замечаешь, что прыгающие брызги у темной скалы не всегда взлетают на одну и ту же высоту: в прошедшую секунду выше или ниже, в следующую не знаешь, как высоко они прыгнут.

Смотришь на столбики пены. Они вечно отходят в тихое местечко, под навес черной каменной глыбы, танцуют там на чуть колеблющейся воде. Но каждый из этих столбиков не такой, как другой. А дальше и все различно, все не то в настоящую секунду, что в прошедшую, и ждешь неизвестной будущей секунды.

Очевидно, какие-то таинственные силы влияют на падение воды, и в каждый момент все частички иные: водопад живет какой-то бесконечно сложной собственной жизнью...

С Елового островка видны только два водопада: средний, самый большой и величественно-спокойный, падающий отвесно, и правый, если стать лицом к Выг-озеру,— бурливый, беспокойный, брызжущий; он называется «боковой». Третий водопад нужно смотреть с берега; его не видно с Елового островка за другим голым каменным островком, сзади которого он и падает. Он называется «мельничный». Теперь мельница находится вблизи бокового водопада, но он все-таки по-старому называется мельничный. По этому водопаду спускается лес при сплаве его в Сороку, потому что он значительно меньше, чем другие. Вода от всех трех водопадов собирается в небольшой котловине сзади Елового островка, который отсюда уже представляет довольно высокую скалу. В этой котловине разделенные натрое воды Выга встречаются и, словно радуясь встрече, бурлят, кипят, прыгают, вертятся, прижимаются к левому высокому скалистому берегу и уносятся, разливаясь вскоре широким Надвоицким озером.

В бурливой котловине, где встречаются воды, живописно разбросаны громадные валуны; кое-где на них сидят мальчики, удят рыбу. Тут же, на этой бурливой воде, поездуют с сеткой в руке ловцы, ловят хариусов и форель. А на верху высокой скалы, на сосне, ждет свою добычу всегда ненасытная скопа.

В Боковом падуне, хотя и чрезвычайно бурном, есть место, где вода падает по уступам,— вероятно, с высоты не более одной-полутора саженей; вот в этом-то месте и проходит беломорская семга в Выг-озеро. По словам местных рыбаков, семга, ударяя хвостом о воду, может прыгнуть до двух аршин над водой. Стремление этой рыбы пробраться в реку к местам нерестования так велико, что она решается перескочить и падун. Прыгая с уступа на уступ по *щельям*[1], она попадает, наконец, в Выг и в Выг-озеро. Иногда она, не рассчитав расстояния, выпрыгивает на сухую скалу и тут же немедленно расклевывается скопой. Один местный попик, разведав ход семги, приспособил как-то у падуна ящик, так что в него попадала вся семга. Однако выгозерские рыбаки скоро потребовали от него, чтобы он убрал свой ящик.

Перебраться с Елового островка на берег не совсем

[1] Щельями на Севере называются скалы.

безопасно и снизу; поэтому приходится переезжать через ослабленную, но все еще быструю струю Бокового падуна. Маленькая долбленая лодочка, *карбасик,* ставится кормщиком приблизительно под углом 45° к струе. Вода, ударяя в нос карбаса, старается перевернуть его, но вместе с тем и относит на другую сторону. Ловкий удар веслом вовремя окончательно переносит карбас из бурлящей воды в тихое место, к берегу.

За рекой Выгом находится довольно высокая скала из хлоритового сланца, она называется Летегорой; за ней следует моховое болото, дальше — снова гора, но уже из талькового сланца, и потом возвышается над всею местностью прилегающая к северному углу Выгозера и Северному Выгу Серебряная гора.

Мне рассказывали, что где-то в пещерах этой горы течет струя чистого серебра, что место это знала одна старуха, но умерла, и теперь уже никто не может его найти.

Как ни фантастично это предание, но оно имеет основание; и по геологическому строению местности и по тому, что недалеко, в окрестностях Сег-озера, уже найдены залежи серебряной руды, можно думать, что здесь она есть.

Местные жители убеждены, что где-то здесь есть серебро. Рассказывают, будто даниловские скитники добывали руду, делали из нее рубли, и эти рубли ходили по всему Северу несколько дешевле правительственных.

Жилы же с медной рудой и затем с золотом были открыты здесь еще в 1732 году одним крестьянином из деревни Надвоицы. На полуострове, образуемом с одной стороны заливом Выг-озера, с другой — Выгом, был основан Воицкий рудник в 1742 году. Сначала в нем добывалась только медь, но с 1745 года стали добывать и золото. Кроме этих металлов, в рудоносной жиле находилась в большом количестве и железная руда. Но рудник потом был заброшен... Вообще все исследователи говорят о громадном запасе руд в нашем Северном краю и сулят ему блестящую будущность.

Кому же жить в этом мрачном краю леса, воды и камня, среди угрюмых елей и мертвых богатств золота и серебра?

Казалось бы, что тихие, молчаливые, невзрачные финны более других народов могли бы примириться с этой жестокой средой, приютиться где-нибудь между озерами, скалами, лесами и медленно, упорно, молчаливо приспособлять себя к природе и природу к себе.

Но финну жить здесь не пришлось, его место заняли славяне. Эти оказались слабы, неприспособлены; они и до сих пор прозябают здесь, из поколения в поколение передают грустные воспоминания о своей, когда-то жизнерадостной, разудалой жизни. Теперь они поют о соловьях, которых здесь никогда не видали, поют о зеленых дубравушках, окруженные соснами и елями, поют о широких чистых полях.

Нет, всякое обычное существование не удовлетворило бы этот край. Он не загорелся бы всею полнотою своей могучей внутренней силы.

Однако было же время, когда край встретился с равным, могучим и гордым противником. Восьмиконечный врубленный в дерево крест, полузаросшие мохом кладбища, полуразрушенные часовенки, предания о местах самосожжения — вот все, что осталось от этого времени борьбы и жизни в этом краю.

Историю этой борьбы старообрядцев с суровой природой я расскажу потом, когда мне придется говорить о скрытниках или пустынниках, старающихся в нынешние времена воспроизвести жизнь первых, одушевленных религиозной идеей, борцов-раскольников. Но теперь я передам сначала все, что мне удалось узнать из жизни людей на Карельском острове и в других селениях Выговского края.

ВОПЛЕНИЦА

Кто никогда не бывал в не тронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, неиспорченной рабством народной души.

Сначала кажется, что вот, наконец, найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредствен-

ная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.

Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.

Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди, как люди.

Одна баба украла житную муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже... все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами матерые люди. Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа *порядового*. Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» —

«Как же, как же, скажут, есть, есть такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно *есть* в деревне такие люди.

Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове — вопленица Степанида Максимовна.

— Максимовна — это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная.

Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна — известная по всему Выг-озеру вопленица, плакальщица или подголосница.

На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услыхать, как женщина, увидав бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку,— несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляют собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких родных несомненны, а потому и плачи дают богатый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.

В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.

Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица — филин, ворон или сова — и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет, крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням красной девушкой, или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умилостивить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левáнтеровы, и сбруя золочена, и золотая казна, и гулярно цветнó платьице, и любимая скотинушка. Но смерть, или *судина,* не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.

Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».

Душа умершего человека селится в особом *домовище* или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся легкие, свободные, как облака: «Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету пострегаетесь».

Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа,— говорит Барсов [1],— выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или вопленицы; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слововыражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усвояют, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-

[1] Е. Барсов. Причитания Северного края. Предисловием этой прекрасной книги мы здесь и пользуемся.

помалу стирают содержание плачей, но еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она поведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».

С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.

Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такою ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов — радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.

— Раз и мне пришлось его видеть.

— Ну, какой же он из себя?

— Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.

— А где же ты его видела?

— Да в хлеву.

— Ну, так это не домовой, а дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я пора́то вопела, что задрожишь вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают — с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то не́можно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась... вошел... идет ближе, ближе... А шевельнуться не могу. Вижу, стоит... темно... разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял... Шерстно-ой!

— Шерстной, говоришь?!

— Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» — «Что с тобой, баит, дитятко?» Заплакала я тут: «Не хочу, говорю, умирать». А потом и согрешила: «Дедушка, говорю, умри за меня!» — «Рад бы, говорит, душка дорогая, рад, да это дело божье».

Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее *воп,* я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пищат в трех зыбках. Кажется — все... но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе совершенно голенький; оглянулся,— там еще и еще...

— Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой воп послушать,— сказал старик.

— Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.

Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать... И мне стало неловко... У старушки

катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренно, просто и красиво.

Я оглянулся на старика,— он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:

— Не могу я этого ихнего вопу слушать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало... Не могу...

Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко... Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела...

Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.

Надгробные песни Степаниды Максимовны — образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них.

ПЛАЧ ВДОВЫ [1]

Уж как сесть горюше на белую брусовую лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке.
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:
Уж по сегодняшнему господнему божьему денёчеку,
Как по раннему угру утреному
Вдруг заныло мое зяблое ретивое сердечушко,
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовьице.
«Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!
Как на раскат горе на высокой
Там рассажен сад, виноградье зеленое,
Там построено теплое витое гнездышко,
Там складены теплые кирпичные печеньки,
Там прорублено светлое косящато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики луженые,
Там налиты чашечки фарфоровы,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка».
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!

---

[1] Записано со слов вопленицы Степаниды Максимовны. Выгозеро, Карельский остров.

Обмануло меня, бедну вдову, горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строеньице.
Там повыросла только белая березка кудрявая,
Там не дожидает меня милая венчальная державушка:
Видно, уж отпало желанье великое...
Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:
Уж как порозóльются быстрые, струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки ручееньки,
Уж как порозóльется славно широко озерушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежечеки,
Я проторю путь торну широку дороженьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшке.
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие желтые песочики,
Раскались и эта нова гробова доска,
Раскалитесь, распахнитесь, белы саваны,
Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Уж поразбавь, поразговори, самоцветный лазуревый камешек.
Уж как придет темная зимняя ноченька,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,
Уж как закутаю теплым собольим одеялышком.
Уж как погляжу на это умноженное стадо детное —
Пуще злее досаждает, одоляет тоска-кручина великая.
Погляжу я в это светло косящато окошечко,
Как на эту раскатну гору на высокую:
Уж не йдет, не катится моя милая, любимая семеюшка,
Уж, видно, так мне проживать-коротать свою молодость,
Не порой пройдет да не времячком,
А пройдет молодость горючими слезьми.
. . . . . .

Вопленицей, истолковательницей чужого горя, Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я,— говорит Максимовна,— от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научилась».

И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой «краснопевкой» на Выг-озере, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные игривые детские песенки Степки Максимовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы

по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания.

Родилась Степанида Максимовна вблизи Выгозерского погоста, на пожне. Мать ее при этом случае косила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.

Из детства Максимовна помнит, как «по тихой кристотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала *плицей* набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, *штейницу*, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба; в особенности, если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить *Шишкò!* В этого Шишкò и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании.

Раз был такой случай, рассказывает Максимовна. Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, говорит, девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.

Спохватились дома — нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да

беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.

Когда колдунья лесовика «отведала», он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.

Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишкò, но всего не перескажешь.

В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни,— в каждой деревне свой праздник раз в год,— Степка всегда первая в хороводах, все песни она запевает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие *досюльные,* хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слушок. И ему придают значение не только дети; но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слушка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.

Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услыхал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услыхал, сейчас же сел на лодку — и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняжка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище «Боровик».

— Если ты мной не брезгаешь,— сказал Гаврило,— останься до весны: меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.

— Не знаю,— сказала Степанида.— Если нам на этом остаться, мать не поверит... отдаст...

Задумался Гаврило.

А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.

— Знаю,— сказала мать,— на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу... зятек, зятек.., а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.

Но Степанида не сдавалась.

«Что я враг, что ли, ей?» — подумала мать, надела шубу, да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят, па́ужинают.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хвастай!

— Спасибо, я в лодке поела, не хочу.

— Ничего, хлеб на хлеб валится.

И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем.

Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.

— Ты что же это мою Степку сбиваешь?.. Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются... Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы богу, что ли...

И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать.

— Ты чего не спишь?

— Да кусает, матушка.

— А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?

— Боюсь.

— Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.

Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.

Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.

Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и *сяжно* было, но не

сразу согласились невестины родители «Позвольте,— сказали они,— думу подумать, вот родня соберется».

И другой раз сходил сват. На третий привезли жениха пить рукобитье.

Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились богу и выпили рукобитье.

В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.

Сначала она вопела отцу:

Становилась подневольна косата голубушка
На одну мостйночку дубовую...
Уж не катитесь, мои горькие слезы горючие,
По моему блеклу лицу, не румяному...

Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей цветно платьице лазурево, «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скоростулчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым.

Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побесёдуют, а на прощанье невеста вопит «легоньким во́пом»:

Отпустите на мою слезну слезливу на свадебку,
Когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой.

Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:

Уж вы повийте, тонкие ветры холодные,
Из-под холодной из-под северной сторонушки...
Раскатитесь, пенья, колодья валючии,
И повыстань, моя красная красивая подруженька...

Но час-часочек коротается. От жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут:

— Бог помощь, живите́ здоро́во. Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорово живёте?

— Просим милости, по́дьте, пожалуйста, проходите, садитесь.

Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:

— Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощно́ ли как поскорее?

— Ну, ладно,— отвечают им,— поноровите, дайте волю, мы вас дольше ждали.

Между тем в семье происходило прощанье невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косой красовитою.

Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:

Ты чего спишь, глупая белая лебедушка,
Как в ногах стоит страшная гора страховитая,
А в головах стоит женское житье подначальное.

Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого Выг-озера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была бессчастной. Наконец, водушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.

Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогу́ вольну волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.

Это время самое интимное, самое священное для девушки: *красование.*

Тут отец, мать, братья, вся порода родительская. Невеста, разукрашенная, разодетая, ходила «по одной дубовой мостиночке».

Благословите, жалки желанны родители,
Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку,
Уж мне расстаться с моим дорогим привольным девичеством.

Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть

заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местечко. Осталось разделить ее между подружками советными.

Утром в день венчания явились, наконец, поезжане: жених, его родители, тысяцкий, брюдьга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.

Когда все расселись по порядку: ближняя родня по выше, дальняя пониже, тысяцкий постучал батожком по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:

— Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!

А дружки сходили к невесте и сказали:

— Есть в дороге, да пáла погода, занесло дорогу порáто.

Наконец, появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За невесту просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец, Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам — повенчаться в церкви.

Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.

После венчания поплыли на лодках, также как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здоровались, обходили столы. Тут собралось народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у князя сапог, и он положил ей в него деньги...

Утром вытопили *байню*, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.

Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так — всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».

Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил,— говорили дальновидные люди,— не жить им вместе».

Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.

Братья еще кое-как держались, но женки так и шипели: «Кончился лиходей наш, комом ему земля, не работал, а только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:

Уж ты у дверей будешь придверница,
У ворот будешь приворотница,
У замков будешь замочница,
Во дому будешь большухою.

Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело — это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек — не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось. А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всег-

да может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит шесть ложек, а у нее только две: она сама да муж. Наконец, не стерпела Степанида:

— Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!

— А я не просила,— ответила меньшуха,— у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!

Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну — для себя.

— Вот,— сказала она,— тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.

— Да как ты смеешь? Я тебя косой!

Но меньшуха как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.

Тут уж все подумали: «Не жить вместе».

Пришли домой, сели па́ужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.

— Начинай!

— Нет, ты начинай!

— Ну, тронь!

— Тронь ты!

Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.

Пошла Степанида коров посмотреть, слышит — в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.

Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха.

Наконец, решили делиться.

Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки,— все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом — Семеновы, третий угол занят печью, четвертый — красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.

С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали даже самые предовольные соседушки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного.

Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглодать.

Бывало, раньше, кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка у своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.

Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала женка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.

А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?

Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день. Впе-

реди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.

И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.

Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна «со умноженным со стадом со детиным». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.

По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец, ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.

— И вот,— рассказывает теперь Максимовна,— когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрусь и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ро́нила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я,— а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила,— и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сенной наволок, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу — муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-ко разум пришел, и одурно стало, дрожь на́ сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила — страсть! А по снегу все кубани (тени), все кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ко стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и па́ла. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила.

Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.

Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выг-озере я знал несколько вопленицы, и все они были вдовицы, горюши, горе-горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.

— Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? — осведомилась она.— Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.

И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.

После, при встрече с Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.

— Всякие жены есть,— сказала она,— хоть по мужу-то и пора́то повопишь, а по деточкам по желанию.

«Родна матушка плачет до гробовой доски, до могилушки.

А молода́ жена до нова́ мужа.

А родимая сестра плачет, как роса на траве».

ЛОВЦЫ

Рыбу ловят в Выговском краю все, и почти всякое селение расположено там возле озера или речки. Но настоящие ловцы — это выгозерцы. Рыбная ловля — их главное, основное занятие. Карельский остров в этом отношении самое типичное место. Беднота тут страшная. Вид угнетающий. На этом острове даже леса нет,— только вода да камень; у каменистого берега виднеется десятка два лодок, сушатся сети на козлах, и между ними копошится человек в лохмотьях; прибавить сюда группу почерневших от дождя и ветра изб, изгородей, кучку елей, скрывающих часовню,— вот и вся картина. Невольно приходит в голову: неужели и тут имущественное не-

равенство, зависть, злоба, самолюбие... Для уяснения себе этого местные люди рекомендуют... пересчитать бани. Если бань немного, значит живут ладно, если много, то плохо: друг к другу не ходят в баню. Замечают также, что чем селение меньше, тем и бань больше; там, где живут двое или трое, то уж непременно у каждого своя баня.

В этом суровом климате люди любят расселяться поодиночке, выискивая новые и лучшие места. Выселится куда-нибудь к лесному озерку и живет себе с своим семейством среди простора леса, воды и камня, в неустанном труде. Впрочем, связь с деревней не разрывается; там его родственники и вообще все ближние. Он даже и не считает, что отделился от деревни; его починок называется тем же самым именем. Он устроился, обжился. Мало-помалу возле его дома появился другой, третий, возникла деревенька с тем же названием. Вот, например, деревня Кайбасово на Выг-озере, подальше от него есть еще Кайбасово, а если поискать в лесу хорошенько, то наверно найдется еще Кайбасово: это уже будет починок, один дом. Так расселяются на Севере, и потому так часто встречаются деревни в два-три дома. Однако между всеми этими деревнями на Выг-озере крепкая связь. Поселившись на Карельском острове, я чувствовал себя, будто живу в одной деревне, раскинувшейся на громадном пространстве между Повенцом и Поморьем. Не говоря уже о том, что из разговоров можно узнать на Карельском острове всю подноготную, к празднику в Петров день тут собирались и из Телекиной и из Данилова, и даже из «залесной заглушной сторонушки» Пул-озера и Хиж-озера. Северяне выработали себе мудрое правило: в будни подальше от людей, в праздник поближе к ним. И, конечно, те люди, которые живут в одиночку, сильнее других, собранных в поселке: в одиночку нельзя прожить без труда, а в деревне между людьми всегда можно как-нибудь перебиваться с хлеба на квас.

И на Карельском острове есть и богатые и бедные люди; об этом можно заключить уже по внешнему виду изб. Вот большая, прекрасная изба, а рядом с ней — жалкая, похожая на кучу дров, избушка с полуразрушенной крышей. Общего между этими избами только их бросающаяся в глаза оригинальная северная архитектура.

Под одной кровлей здесь укрыты и жилище человека и все хозяйственные дворы. Но прежде всего бросается в глаза, что даже самая маленькая изба построена в два яруса, причем в нижнем ярусе не живут, а он служит только для тепла, для хранения хозяйственных вещей. Останавливает внимание также мостовой деревянный въезд (в телегах) на верхний ярус, к той части, где помещается верхний деревянный двор. Тут, на этом дворе хранятся хлеб, сено, солома, а внизу помещается скот.

Но богатые люди здесь отделяются от бедных не каменной стеной, как в городах. Богатство заключается главным образом в хорошей, правильно организованной семье; потом — лишняя лошадь, корова, лодка и сеть. Вот и все различие в имуществе. Из тридцати дворов Карельского острова в трех дворах по две коровы, в пяти — совсем нет, в остальных — по одной. У шестнадцати хозяев совсем нет лошадей. Во всей деревне только тридцать неводов, которыми пользуются по два двора. Без коровы еще можно жить, можно жить и без лошади, но когда нет лодки, то остается только идти «по проклятому казачеству», то есть наняться в работники к тем, кто нуждается в рабочих руках. Впрочем, казачество называется «проклятым» только ввиду идеала правильной и счастливой семейной жизни, а не потому, что бедняк зол на богатого. Богатство все на виду в деревне, и бедняк жалуется только на свою судьбу; эти бедняки — большей частью маломожные вдовы-горюши, которые не в состоянии иметь лодок для осеннего лова, которым не хватает мужских рук.

Но если богатство все на виду, если оно создается трудом и чрезмерно разбогатеть невозможно, то почему же вот Тимошка Тиконский сильно разбогател и как-то сразу? Раньше был бурлаком, нанимался в казаки — и вдруг пошло и пошло... Выстроил дом тысячный, в клети четыре коровы, две лошади.

Но Тимошка не в счет. Тимошка — рыбный колдун. Разбогател он от рыбы.

Простой человек от рыбы не разбогатеет. Теперь рыбы стало «на умали» попадать, и как ни бейся, а больше положенного не поймаешь. А Тимошка так и валит, так и валит. Даже вот в тот год, когда выгозерский хозяин, как говорят старушки, сегозерскому рыбу в карты проиграл, и все голодные круглый год сидели, Тимошка

и щук насушил, и сигов насолил, и ряпушки немало свез в Шуньгу на ярмарку. Тимошка колдун, он знает рыбный отпуск (заговор) и за хорошие деньги может, пожалуй, и научить. Но где же денег найдешь для Тимошки? Уж лучше попросту, по-старинному зашить в матицу летучую мышь; бывает, и это помогает. Рассказывают, будто Тимошка сошелся с водяным так. Раз, глухой ночью, он вытянул невод на остров. Глядит, а в матице кто-то сидит... Развел Тимошка огонь на острову, выволок невод. Разложил матицу — и вытащил водяного. Черный да шерстной! Тимошка не испугался, посадил водяника к огню и спрашивает: «Тебя в огонь?» — «Ни... ни...» — мычит водяник. «Так в воду?» — спрашивает опять Тимошка. «Да, да...» — промычал водяник. Тимошка его и пустил. Вот с тех-то пор и повалила к Тимошке рыба. Тимошка колдун, Тимошку в пример брать нельзя. А так, от трудов не разбогатеешь в этих краях. Труд беспрерывный, тяжелый, круглый год без отдыху, одинаковый и весной, и осенью, и зимой, и летом.

Ранней весной молодая, самая сильная часть населения отправляется на сплав лесов, «уходит в бурлаки», как здесь говорят. Впрочем, среди бурлаков попадаются и мальчики и старики. «Ходим в бурлаки,— скажут здесь,— с малых лет и до дикой старости».

Бурлачество здесь — словно всеобщая повинность. Население проклинает эти каторжные и опасные работы, но жить без них не может. Вербовка бурлаков начинается приблизительно с крещенья, в то время, когда крестьянин уже наверное съел не только собранный им хлеб, но и тот, который ему дал местный лавочник под будущий лов рыбы: *мережный* весенний, осенний неводной и *под рябы*, то есть под рябчиков, тетеревей и прочую дичь. Вот в это-то время где-нибудь в центральном месте поселяется десятник, который вербует бурлаков, выдавая им вперед задаток. Денег у десятника обыкновенно нет; он сам берет муку в кредит у повенецких лавочников, и потому задаток, даже и весь будущий заработок выдается мукой и другими продуктами. Между крещеньем и половиной марта лучшая, сильная часть населения успевает уже продать и проесть свою рабочую силу. Лишь немногие могут избежать этой кабалы и наняться весной

непосредственно у приказчика, заведывающего сплавом леса. Эти немногие счастливцы называются «одинки».

Лес, сплавом которого заняты бурлаки по рекам и озерам, направляется к Белому морю, к Сороцкой губе. Там он распиливается на доски и отправляется в Англию. Само собой понятно, что для этого выбираются только самые лучшие деревья; но даже и они не сплавляются целиком: от них отрезается ровная часть, а верхушка в две-три сажени бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухопостойный или поваленный ветром лес. В то время как где-нибудь в черноземной полосе чуть не из-за сучка помещик судится с мужиками, здесь бесчисленное количество леса пропадает даром. Лес до сих пор здесь, как вода и воздух, еще ничего не стоит. В лесу часто встречается десяток срубленных гниющих деревьев; это срубил охотник, перегоняя белку с дерева на дерево на видное местечко, или земледелец, для того чтобы, собрав хвою, употребить ее на подстилку скоту... Много было проектов, много раз обсуждался вопрос о соединении каналом этой местности с Онежским озером и, следовательно, с Петербургом. Раз даже серьезно приступили к разработке этого вопроса. Но от всех этих начинаний осталось лишь возле деревни Масельги два камня с надписью: «Онежско-Беломорский канал». И никаких естественных преград для канала не оказывалось, а просто частным лицам предприятие было слишком дорого, а государство Севером не занималось. Теперь лес отправляется пока в Англию. Зимой его *заготовляют,* то есть рубят и свозят к берегам рек и озер. Весной же его поднимает вода, а не захваченный разливом *окатывают* бурлаки и *провожают.* На речке лес движется россыпью, а на озерах его собирают в *кошели;* для этого множество деревьев связывается вересковыми прутьями, так что из них образуется как бы длинный прочный деревянный канат; этим канатом охватывается весь собранный бурлаками лес на озере; вся масса деревьев бывает заключена таким образом как бы в кошель. Такой кошель подвигается вперед посредством *головки,* как называется пловучий ворот на якоре. Воротом подтягивают кошель, а потом снимают якорь, передвигают веслами головку вперед, снова подтягивают кошель и так далее. *Хвост,* то есть кошель с головкой, движется по Выг-озеру вплоть до Воицких падунов.

Здесь кошель разбивается, потому что каждое бревно должно свалиться в *падь*, претерпеть отдельно свою собственную участь. Бывает, что громадное, семивершковое дерево, свалившись в падь, *ульнет* там и затем с страшной силой выскакивает из воды; если при этом оно ударяется о скалу, то, случается, разбивается вдребезги или *мочалится* на четверть, на две. Пролетев через падун, деревья собираются в Надвоицком озере и затем движутся россыпью по бурной, порожистой реке Выг.

Бурлацкая работа — чуть ли не самая тяжелая из всех существующих работ, вместе с тем она и очень опасная.

Ранней весной, при разливе рек, когда бывают еще и морозы, бурлаки окатывают баграми лес с берегов рек и озер в воду. Целый день они мокнут, бывает даже выкупаются в холодной, только что растаявшей воде. Вечером, часов в десять, собираются кучками в лесу, разводят костры и, тесно прижавшись друг к другу, щелкают зубами до утра. Утром — «черт в зорю не бьет» — часа в четыре нужно уже быть на работе. Когда лес в воде, они его должны *провожать*. Некоторые идут по берегу и баграми отталкивают готовые застрять между камнями деревья, а некоторые стоят на бревнах, плывущих по реке, и, перескакивая с дерева на дерево, цепляясь баграми за деревья, стараются всей плывущей массе леса придать удобную для прохода в узких местах форму или просто не дать отдельным деревьям загородить путь. В очень неудобных местах, на *загубках*, устраиваются *отводы* из двойного ряда связанных между собой деревьев. Плывущие деревья, ударяясь об отвод, не могут попасть в загубок и там задержаться. Но в больших порогах, несмотря на все эти меры, почти всегда застрянет где-нибудь дерево, за ним другое, третье, больше и больше, пока, наконец, не нагромоздится целая гора леса и не остановит всего движения. Вот тут-то, когда *заломит*, и бывают самые опасные работы, требующие отчаянной храбрости. Вся эта остановившаяся масса деревьев, *коса*, часто держится на одном-двух деревьях. И вот смельчаки, получающие не в пример прочим жалованья до семи рублей в неделю, берутся разобрать косу. Смельчак становится на одно плывущее бревно и, сохраняя равновесие посредством багра, цепляясь им то за камни, то за другие плывущие деревья, подъезжает к месту залома.

Здесь он выбирает те именно деревья, которые, по его мнению, задерживают движение остальных, привязывает к ним веревку и спешит уехать к берегу. Но случается, что, в то время как он выискивает заломившиеся деревья, коса вдруг трогается. Тогда бурлак на своем бревне мчится впереди косы к порогу, стараясь лишь не задержаться, не дать нагнать себя массе деревьев. Миновав порог, не раз окунувшись в клокочущей воде и постоянно снова вскакивая на бревно, он выезжает на *плёсу* [1] и там спасается.

Один бурлак мне рассказывал, как он попал раз в *кипун* при разборе косы; он говорил, что его там вертело ногами через голову минут пятнадцать; он потерял уже сознание, но товарищи его спасли.

Продрогшие, промокшие, часто в лихорадке, бурлаки в конце концов добираются до лесопильного завода в Сороке. Там уже своя поморская, свободная жизнь.

Тут бурлаки отводят себе душу такой жизнью, которая ничего не имеет общего с патриархальным выговским бытом.

В то время как бурлаки работают на сплаве лесов, другие обитатели Карельского острова готовятся к мережному лову. Пока лед еще не разошелся, мережи нужно пересмотреть и починить. Мережи — это те же верши, но только они сделаны не из прутьев, а из сетки, натянутой на деревянные обручи. Весенний лов происходит у болотистого берега, и потому перед мережным ловом все болото делится на равные части. Как только сбежит снег, посинеет лед на озере и станет отставать от берега, тут-то и ставят мережи у болотистого берега одну возле другой, стенкой. В это время щука нерестует, стремится к берегу, чтобы оставить там икру. Но на пути она встречает мережу и с удовольствием входит в ее *язык,* потому что в узком проходе ей удобно освободиться от икры; рыбе так хочется избавиться от нее, что она не боится и даже очень узкого прохода, лишь бы можно было пройти.

Весеннее солнце сильно пригревает воду. На солнцепеке рыба быстро наполняет всю мережу и даже может разорвать ее, если вовремя не осмотреть. Вот почему

---

[1] П л ё с а — спокойное место после порога.

ловцы не допускают, чтобы в мережу набралось более десяти — пятнадцати штук; они спешат «сбавлять мережу», то есть развязать ее носок и выбрать рыбу. Тут иногда попадается громадная щука, и случается, что в спине ее бывают когти и даже лапы скопы. Очевидно, хищная птица, не соразмерив своих сил, впустила когти в громадную рыбу и была увлечена в воду. Вместе с щукой попадаются иногда язь, окунь, плотица, лещ и *мень* (налим). У хорошего хозяина таких мереж штук сто, и в весну он может наловить щук рублей на семьдесят; но у большинства их не больше сорока. Пойманную рыбу тут же и чистят. Садятся старые, матерые люди и женки где-нибудь на угреве и пластуют щук. Вычищенную рыбу солят и складывают в кадки. Заедет «богач», как здесь называют всякого торговца, и скупит всю эту *вешную* рыбу, а если не заедет, то ее высушат на солнце и продадут после. Олончанин — большой любитель этой сушеной рыбы.

Весна идет. Время бы и выгонять скотину в поле, но куда же выгонять ее на Карельском острове, где только камень да болота? Очевидно, ее нужно перевезти на другие острова, с более плодородной землей. Такой хороший остров, верст в десять длиной, находится всего в двух верстах от Карельского острова. И вот, в то время как в обыкновенных условиях выгоняют скотину в поле, на Выг-озере плывут лодки с коровами, лошадьми, овцами. В каждую лодку может поместиться только одна скотина, да и то необходимо особое приспособление, *козел,* бревно с перекладиной в виде буквы Т, чтобы лодка не опрокинулась. Козел кладется перекладиной в воду, а другая часть его опирается на борт лодки.

Обитатели Карельского острова — народ бедный; они не в состоянии даже иметь для стада пастуха, а может быть, и просто непривычны к этому. Скотину пускают одну «на божий простор, на божье произволение». Бродит скотина в лесу, как дикие животные, и только звон колоколов, такой странный в молчаливом северном лесу, говорит о связи этих животных с людьми. Впрочем, ни коровы, ни лошади за лето не отвыкают от людей, а овцы даже скучают и, когда увидят проезжающую лодку на озере, собираются на берег кучкой у самой воды и жалобно блеют. Только телята к осени становятся совсем дикими и доставляют много хлопот хозяевам осенью. Их

загоняют в топкое болото и там ловят, если нет близко болота, устраивают загон.

Когда скотина перевезена на остров, то женщинам приходится каждый день ездить туда доить коров. Рано утром они садятся в лодки, почти всегда с ребятишками, и уезжают. Пристают к берегу. Тучи комаров, мошек и оводов носятся в лесу. Спасаясь от них, скотина вся, до головы, входит в воду и там ожидает подъезжающих женщин. Коров выгоняют на берег, разводят костер и ставят животных выменем к дыму. Кроме того, по обеим сторонам становятся дети с ветками и отгоняют комаров. Происходит доение. Подоив коров, женщины непременно прислушаются, не слыхать ли колоколов, не случилось ли чего с лошадьми. Если колокольчики не звенят, то женщины пойдут непременно в лес искать лошадей. Мало ли что может случиться!

В это время мальчики едут на лодке удить рыбу для ухи. У знакомой луды почти всегда играют *парвы* (стайки) окуней. Мальчики спускают в воду заранее приготовленный камень на веревке, «якорь», и ждут, пока лодка «обставится», затем *наживляют* червяка и спускают крючки на лесках в воду без поплавков, без удилищ. Все это здесь лишнее; окуней очень много, и без поплавка слышно, как «тыркает» рыбка. Шшш...— зашумит стайка окуней у луды и «затыркает». Теперь успевай только выхватывать да насаживать червя, овода или даже окуневый глаз на крючок. Мальчики поглощены работой, не замечают, как красиво глядятся угрюмые острова в спокойное озеро, как выскакивает из воды и сверкает на солнце серебристая семга.

Но вот подул ветерок, рыба ушла в глубину, коровы выдоены, лошади найдены. Едут домой, но по дороге непременно нужно осмотреть сиговые сети. Издали можно узнать, где поставлены эти сети. Там торчат темные колышки из воды, вьются чайки, хохочут гагары. Эти птицы часто «обижают» ловцов, ныряют в воду и клюют запутавшуюся в тонкой и редкой сиговой сети рыбу. Бывает так, что гагара и сама платится за свое хищничество жизнью, запутывается в сети. Она годится ловцам: у нее шкура *шадровитая*, прочная; из нее, если снять шкуру и обделать, выйдут прекрасные теплые туфли.

Одна женщина гребет, и лодка двигается вдоль сети, другая быстро собирает сеть в лодку, время от времени

вынимая запутавшегося сига, окуня, плотичку и выбрасывая расклеванную или уснувшую рыбу. Сетку так и оставляют в лодке: ее нужно высушить дома, повесив на ветерок на *козлах* у берега. Если же ее не просушить, то она *заглевеет,* покроется слизью, и рыба не будет в нее попадать.

Иногда вместе с женщинами на лодке приезжает домой и *конь*. Это бывает в том случае, если перед поездкой они заметят, что пар *затравел*, что его нужно вспахать. Дома пашут, солят рыбу, продергивают заросшую репу. Так проходит время до полдня. К этому времени старуха изготовляет кашу, рыбники и уху. Едят больше окушков или ряпушку; сигов есть нельзя, они сто́ят дорого, шесть копеек фунт, и годятся «для богача». Поедят, отдохнут — и снова за работу. Рабочий день велик, он состоит из трех *упряжек*: утренней — до восьми часов, средней — до полдня и вечерней — до заката солнца, когда садятся па́ужинать. Вот так и живут и трудятся от «выти до выти» (от еды до еды).

С закатом солнца на Севере почти не происходит никаких перемен, по-прежнему светло. И, вероятно, это отсутствие границ между днем и ночью раздражает даже и помирившегося, привычного к этому северного человека; ложатся не сразу, а старик долго, иногда часов до двенадцати, возится у сети или у дров. Наконец, и он вспоминает, что надо же спать, и ложится рядом со всеми на *лосине* (лосевой шкуре) на полу.

Душно в такую ночь: раскинулась мать, беспокоятся ребятишки, кто уткнулся у груди, кто у ног, кто и вовсе сполз с лосины. А на улице светло, прозрачно, тихо, кричат на болоте утки... Старик последний лег и первый встает. Встает и старуха, топит печь, качает зыбку. За ними встают все и по очереди подходят к медному чайнику-умывальнику, подвешенному на веревочке над кадкой. От этой кадки исходит тяжелый, удушливый запах, там варится уха для стельной коровы, которую опасно было везти на остров. Еще вчера старуха, когда чистила рыбу, набросала в кадку рыбных отбросов, а утром подлила воды, помоев и опустила туда горячий камень.

Мало-помалу время движется к лету, и работа следующих дней не походит на вчерашнюю. Подходит *листобросница* — пора, совершенно незнакомая хозяевам сред-

ной и южной России. Женщины едут на лодках на тот же Янь-остров, находят березовые лядинки и, пригибая нижние ветки, обрывают лист и складывают в лодки. К вечеру домой плывут уже не лодки, а копны, на верху которых важно сидят ребятишки. Лист складывается на верхнем дворе, над скотным двором, для просушки. С этих пор хозяева обыкновенно спят здесь на мягком листе. Березовый лист предназначается для зимнего корма скота. Если его пересыпать мукой, то неприхотливые мелкие северные коровенки мирятся с этим кормом.

После листобросницы начинается тяжкое время: сенокос. Тут уже не обойтись без бурлаков: женки не сумеют выточить косу, не могут сложить и *зарода*. Они с нетерпением, с волнением дожидаются мужей, боятся, как бы не запоздать с сенокосом... Наконец, приезжают истомленные, измученные бурлаки. Им нужно отдохнуть, кстати выточить косы, починить кошели, вычистить ружья, которые пригодятся на лугах.

Сенокос на Севере — совсем не то, что в южных, счастливых местах. Луга такие жалкие, что сначала не веришь глазам: неужели эта низенькая трава, не более четверти аршина высотой, стоит трудов? Но оказывается, что как раз эта-то жалкая трава и есть самая хорошая «земная трава». Она состоит не из кислых осок, а из сладких злаков, которые охотно ест скот. Но бывает, что в «водливые годы», то есть когда сильно разливается озеро, и этой травы не бывает, родится одна *кортяха*, то есть хвощ. Эту кортяху скот уже ни в каком случае без муки есть не станет, а мука — продукт дорогой, большею частью привозной. По подсчету местной земской управы, население Повенецкого уезда употребляет треть всей имеющейся в его распоряжении муки на корм скоту. Отсюда можно себе представить, какова эта трава, к которой нужно прибавлять столько муки, чтобы сделать ее съедобной! «Водливые годы», которые так ухудшают пожни, происходят от переполнения Выг-озера, которое не успевает переливаться через падуны в реку Выг. Вот почему местные люди убеждены, что если бы можно было взорвать *щелья* на падуне и понизить уровень озера, то и берега бы пообсохли и выросла бы трава хорошая, «земная». И в самом деле, на немногих сухих местах

здесь всюду виднеются красные головки превосходного *визильника*, то есть клевера.

Эти жалкие пожни находятся иногда очень далеко от деревни. Так, с Карельского острова ездят верст за двадцать и работают там, не возвращаясь домой, целую неделю. В это время в деревнях остаются только старый да малый, а все, кто может работать, переселяются на пожни. Там, на месте сенокоса, устроены маленькие избушки, «фатерки»; в них обыкновенно и спасаются ночью от комаров усталые работники. Комары и мошки— страшные враги косцов; их так много, что, не будь у косцов *комарников*, прикрывающих лицо, было бы невозможно выдержать пытку. «Хоть вопи»,— говорят косцы.

Косят все: мужчины и женщины; вернее, не косят, а рубят траву. Косец ударяет *горбушей*, то есть большим серпом, от правого плеча к левому и сейчас же от левого к правому, все время согнувшись, обвязав голову платком от комаров. Какой изящной и легкой забавой кажется после этого южная косьба, при которой в ритм машут руками. Здесь этот ритм, так облегчающий работу, невозможен: из травы то и дело виднеются камни, то и дело приходится прерывать работу. А тут еще комары и мошки. Какие бесчисленные легионы их носятся в воздухе, можно понять лишь, когда из леса вырвется на полянку тонкий солнечный луч и их осветит.

Косят обыкновенно утром, а когда солнце подсушит росу, то начинают складывать в *зароды* то сено, которое уже подсохло. Для этого выбирают местечко посуше, вырубают в лесу высокие жерди, *стожары*, и втыкают их в землю в одну линию, одну возле другой, на расстоянии нескольких шагов. Две женщины приносят сено на жердях, а мужчина накладывает его аккуратно между стожарами высоко вверх. Уложенное так сено составляет первую *заколи́ну*. Если сено сыро, то с обеих сторон его подпирают, а по мере того как оно высыхает, ниже и ниже опускают подпорки. За первой заколиной набивается вторая, третья и так далее, на сколько хватит сена. Своего сена достается всего лишь по три воза, а за сено в казенном лесу приходится платить по пятьдесят копеек с воза. В таких зародах сено остается здесь и на зиму.

Утомленные косцы устраиваются под вечер на ночлег. Чтобы избавиться от комаров, в избушке покурят *паккилой* (гнилушкой), а те, кто спит на сене, устраивают

полога из паруса. Но избавиться от комаров невозможно. Вертится на сене косец, жмется, кряхтит и слышит, как лает в лесу собачка. «Откуда это собака в лесу?»— думает он. И вдруг вспоминает: когда они шли на работу, то он оставил на камне две *калитки* (лепешки), а потом, когда вернулись, калиток уже не было. «Куда же это они делись?»— думает он, то и дело просыпаясь от комаров. А собачка все тявкает и тявкает. Утром он забудет и собачку и калитки, но когда-нибудь вспомнит и на досуге, во время «бесёды» скажет:

— А меня бог миловал... Да вот только раз это... Оставил я на пожнях на камне у фатерки две калитки. Пришел,— нету калиток.

— А может, кто взял их, да и съел?

— Да кому же в лесу калитки взять?

И все помолчат, согласятся. А он продолжит:

— И собачку евонную слышал: тяв-тяв, смешная такая.

— Так, может, это кто-нибудь с собакой шел?— усомнится недоверчивый слушатель.

— Да кому же в лесу с собачкой идти?

И в самом деле, кто же заберется в такую глушь?— разве какой «сбеглый».

Выкосили «земное» сено. Теперь можно приняться за болотное. Болота находятся у самого острова, и потому можно переселиться домой. Раньше болота не делили, но теперь такая нужда стала, что и болота разделили. И это — на Севере, где на каждого отдельного человека приходится, вероятно, много сотен десятин леса и болот!

Начали рубить горбушами болотную траву, стоя по колено в воде. Болото колышется под ногами, кругом летят и кричат утки, пищат утенята, вьются чайки, гагары, а женщины с подтянутыми юбками, в высоких сапогах целый день стоят в воде и рубят траву. Зрелище удивительное для несеверянина. Но следующие за сенокосом работы уже не представляют ничего особенного. Рожь и жито косятся теми же горбушами и сушатся на особых «хлебных зародах», то есть высоких, в несколько саженей, лестницах. Хлеб возят с полей на Карельском острове в санях, потому что иметь исключительно для этого телегу — не стоит.

Высушенный хлеб молотят *привузами* (цепами) в *ригачах* (ригах).

Для обитателя Карельского острова необыкновенно важно вовремя убрать хлеб. Это важно и потому, чтобы морозы не захватили его в поле, но главное же потому, чтобы уборка хлеба не задержала осеннего лова рыбы. Для ловцов это время самое серьезное, самое важное. Настоящий лов рыбы бывает только осенью, и если хлеб вовремя не созрел, то лучше уж нанять работницу, «казачку».

Осенний невод велик и дорог. Только очень большому семейству под силу иметь его. На Карельском острове всего одно семейство самостоятельно справляется с неводом, все же другие складываются по два двора на каждый невод. Выгозерский осенний невод имеет в каждом крыле по семьдесят — восемьдесят саженей, при этом к нему еще нужно саженей полтораста веревок. Самая важная часть в неводе — *матица*, куда собирается пойманная рыба. От матицы крыло начинается *котколуксой* саженей в пять, потом следует *ринда*, также саженей в пять, за ней *частые* сети и *плутивные*, те и другие вдвое длиннее ринды.

Лов начинается с 15 августа и продолжается до 1 октября. Перед ловом берег Карельского острова делится на равные части, по числу неводов. Возле такой части берега одним неводом можно ловить только в течение дня, следующий день на этом месте ловят другие, а первые ловят на другом месте, следующем по порядку, и т. д.

Для осеннего лова необходимо иметь две лодки. Сначала, заехав в озеро, спускают матицу и сейчас же разъезжаются в стороны: одна лодка тянет правое крыло, другая — левое. Когда распустят все сети, то поворачивают к берегу и тянут тоню саженей на полтораста. Лодки, которые на озере плывут на некотором расстоянии друг от друга, у самого берега съезжаются в одно место.

Веревки тянут *шпилями*, то есть воротами, установленными на каждой лодке. Сначала на воде виднеются только *кибаксы*, то есть поплавки, а потом показываются и крылья; как только они покажутся, ловцы бросают *шпили и тянут* руками, взявшись по двое за крыло. Когда показываются частые сети, кто-нибудь берет *торболо*. то есть жердь с деревянным кружком на концах, и начинает им *буткать* воду, чтобы рыба бежала в матицу. Под конец развязывают матицу и рыбу вытрясают в лодку.

Осенью ловятся главным образом сиг и ряпушка. Вся эта пойманная рыба обыкновенно тут же и скупается «богачами», но те, кто в состоянии, берегут ее до крещенья и везут на знаменитую ярмарку в Шуньге на озере Онего. До самого последнего времени эта ярмарка играла такую же роль в Олонецкой губернии и Поморье, как Нижегородская ярмарка на востоке Европейской России. Охотники и рыболовы привозят сюда шкуры и рыбу, запасаются мукою, покупают себе кожу, гужи, растительное масло, пеньку, лен, мелочи и обновы для семейства. «Богачи», или «обдиралы», перепродают свой товар оптовым торговцам, а эти — торговцам Петербурга и других городов. Словом, Шуньга и до сих пор играет огромную роль в торговле Севера. В народных песнях и сказках Шуньга постоянно упоминается.

Однако на Выг-озере только очень состоятельные могут возить рыбу в Шуньгу, большинство же продает на месте.

В то время как происходит осенний лов, некоторые идут в лес на охоту, стрелять рябчиков, тетеревей и мошников. Но на Карельском острове плохие *полесники* (охотники) и предпочитают, когда озеро замерзнет, ловить рыбу по льду.

Для этого прежде всего *выпешивается*, то есть прорубается *пешней* — орудием, похожим на лом, *большой ердан* (прорубь), в него опускается невод. Направо и налево от ердана, по направлению тони, выпешивают отверстия, саженей на десять друг от друга. С помощью этих отверстий, длинной жерди и во́рота невод и тянут к берегу, где тоже приготовляют большой ердан.

Так ловят до декабря. С этого времени и до весны, до бурлацкой работы, производится вывозка леса к местам сплава. Лес, определенный для рубки и вывозки, иногда находится очень далеко. И вот местному труженику снова приходится покидать свою семью. Редко кто, разве самый бедный, возьмет с собой жену. Мало может оказать пользы женка на этой трудной, чисто мужской работе: побарахтается-побарахтается в снегу, а тут еще муж с досады толканет... Лучше от греха не брать с собой, лучше пусть они продолжают ловить по льду рыбу.

Мужчины же рубят, шкурят и возят лес всю зиму. Живут они в таких же точно лесных избушках, «фатер-

ках», в которых живут полесники, косцы, скрытники, пустынники — вообще все, кому временно приходится жить в лесу. Зимой на севере день короткий: поработали, померзли — и в избушку, отогреваться. Потом улягутся рядом и ждут, когда сам собой придет сон. Что делать в избушке в такие длинные вечера? Кажется, помереть бы от скуки. Но тут выручает сказочник Мануйло. При свете лучины он в этой лесной избушке рассказывает всем этим дремлющим на полу людям про какого-то царя, с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик. Этому царю мужики носят рябчиков, загадывают ему загадки, а царь ловко отгадывает, дает советы...

Все молча слушают сказки про царя, иногда смеются — и засыпают.

А Мануйло все рассказывает и рассказывает, пока не убедится, что все до одного человека спят. Для этого он окликает время от времени:

— Спите, крещеные?

И если хоть один откликнется, он поправит лучину и продолжает свою сказку про мужицкого царя.

Весной снова одни уходят в бурлаки, другие берутся за мережи, за соху. И так — круглый год беспрерывно трудится северянин, добывая себе пропитание в борьбе с суровой природой.

ПЕВЕЦ БЫЛИН

Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был...

Когда-то в русской земле жили «славные, могучие богáтыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них *старúны*, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.

Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможден-

ная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и *сказители* былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотого века.

Стало быть, та поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья — вот среда, в которой вырабатывается певец былин.

Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.

Еще далеко не доезжая до Выговского края, мне удалось услыхать об этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями.

Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду, когда мы ехали мимо Сенной губы на Онежском озере, я спросил его, нет ли у них сказителей.

— Как же, как же!— отвечал он. — Рябинушка-то у нас, в Гарницах живет... Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябинина? Да уж слышал, господа его знают, ездят к нему. Он за свои старины рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело!

— А другие в вашей деревне знают старины?— спросил я.

— Не-ет, где нам! Рябинка — старовер, вино не пьет, не курит. Строго у него это. И от пищи тоже не отступает: что на какой день положено, то и ест, оттого он и памятлив. Он ни в чем от своего не отступает. Вот когда его к государю возили, так что там наставлено было! Столы ломились. И его, Рябинку, с собой сажают, угощают. Он с ними сидит, бесёдует, а ничего не трогает, ни-ни... Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.

Иван Трофимович Рябинин — сын того самого знаменитого Рябинина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли.

Не знаю, отвлекли ли меня другие наблюдения, или сказители теперь уже стали переводиться, но только на

Выг-озере я долго не мог найти хорошего певца былин. Наконец, я встретился с ним, обжился в его доме, долго не подозревая, что это-то именно и есть сказитель.

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов. Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую *досюльщину* (старину) рассказать может».

Когда мы подъезжали, на берегу острова у большой избы играло в *рюхи* множество босых, полуодетых, но здоровых ребят.

— Дома ли старый *мошник* (глухарь)?— спросили ловцы.

— Ловит,— ответили ребятишки.

Вышла старушка, жена Григория, повела меня наверх в чистую горницу и все говорила:

— Гостите, хозяин скоро приедет, гостите...

Старушка, как принято на Севере, сначала напоила меня чаем, потом угостила обедом: сварила уху из сигов, поставила на стол простоквашу, тарелочку с морошкой, с сухими красными пряниками; тут был и рыбник из рябушки, и рыбник из окуней, и пирог из черники, калитки, шанежки, мякушечка хлеба. Старушка то и дело ныряла вниз, за новыми и новыми угощениями.

— Ловит старик, ловит,— говорила она.— Стара стала я, не могу уж с ним ездить. А по прежним временам уж я не усидела бы по такой тишине, сто сорок сетей, батюшка мой, было... Жила и с одной коровушкой, и с двумя, и с тремя, и с четырьмя, всяко жила. А вот теперь ноги болят.

Только под вечер приехал старик. За кого он меня мог считать? Уж конечно, за барина, имеющего отношение к лесному, межевому или полицейскому делу. Нужды в них человеку на острове, конечно, не было.

Но Григорий, подойдя ко мне, вежливо подал руку, поговорил немного, с достоинством, как хозяин, и ушел спать. Громадного роста, с кудрявыми волосами, с крепкими отчетливыми чертами лица, он походил на апостола Петра.

В лице его как-то не было ничего лишнего, и даже бесчисленные морщинки на лбу, казалось, все имели свое

назначение, словно каждая из них была продолжением его правильных, спокойных мозговых извилин.

Ругань и крик разбудили меня рано утром. Я выглянул в окно. По дорожке вдоль озера с громадным колом в руке бежал вчерашний, похожий на апостола Петра старик. А впереди него бежал без шапки совершенно такой же старик, только немного помоложе. Первый старик догнал второго и ударил его колом. Тот так и повалился. Ударил еще и еще...

Объяснилось это так. Старший сын Григория, мужик пятидесяти семи лет от роду, был послан в Повенец продать рыбу. Вернулся он выпивши, нагрубил старику, и тот его отколотил.

Водка и табак безусловно не допускались в доме старика, чай и кофе пили только с гостями, так что преступление было двойное. Раньше я думал, что воспрещение староверами водки, чаю и табаку имеет лишь религиозное значение. Но тут, беседуя со стариком, я убедился, что эта громадная семья и по своим достаткам не могла этого допускать. Если бы вся семья ежедневно стала пить чай и справлять праздники с водкой, то это поглотило бы весь мережный промысел и часть бурлацкого. А если прибавить к этому, что курящий табак вместе с тем как бы и отрицает высшую власть отца, то расправа старика становится будто бы и немного понятной.

— А как же с ними?— говорил мне немного спустя старик.— В суд, что ли, подавать? Так в суде этого разбирать не станут. Какие теперь суды, только деньгам перевод. Раньше так просто бывало: соберутся, повалят, отдерут, вот тебе и суд весь... Ничего, отлежится. Пойдем, с нами побесёдуем!

Отчасти по случаю воскресенья, отчасти потому, что гость был в доме, женщины старательно приготовляли все для бесёды. Стол покрыли белой скатертью, старуха хлопотала с кофеем, который здесь получается контрабандой из Финляндии и очень пришелся по вкусу, молодуха завертывала в тесто рыбу, приготовляя рыбники. Из сыновей Григория тут был только младший, бойкий парень лет двадцати, любимец старика, блондин, с открытым славянским лицом; старший «отлёживался»; остальные были в бурлаках. Кроме того, тут же на лавке сидел бородатый глубокомысленный зять, очевидно гость. Разобраться в женщинах и детях не было никакой воз-

можности,— казалось, что их было великое множество.

Стали угощать кофеем, старик пил горячую воду. Началась бесёда, немножко натянутая, как бы официальная, о жизни вообще. Говорил один старик, старуха вставляла замечания, а зять подавал глубокомысленно реплики: «Верно, верно». Остальные молчали.

Жизнь, о которой говорил старик, была, конечно, здешняя, выговская. В этой избе, в большой семье на острове происходила такая же драма, как и везде: старое боролось с молодым, новым. Старое пришло сюда, на Выг-озеро, с верхнего Выга, из погубленного Даниловского монастыря. Новое — с нижнего Выга, где сосредоточивались бурлацкие работы по сплаву лесов. Поэтому старик осуждал бурлачество и, вместе с ним, новую жизнь.

— В бурлаки, в бурлаки,— говорил он.— А придут к чему?

— Верно, верно, уж так,— вторил зять.

— Да что, господа, оставь поле без огороды, что будет?

— Да, что будет,— вторил зять.

Слушатели прихлебывали кофей молча, торжественно и долго.

— В наше время,— разливался старик,— жили советно, уж невестка в дверях не застрянет и не скажет: «Хочу, не хочу». А нынешняя молодежь: им слово, а они два.

— Верно, уж такие и есть.

— Да что далеко ходить!— вставила свое словечко старушка.— Годов десяток, не больше, у нас на всем Выгозере только и был самовар у койкинского батюшки, да на Выгозерском погосте другой, да у Семена Федорова третий, да у дьякона... всего девять самоваров было. А теперь у каждого, да еще по два.

— Старики наши,— продолжал хозяин,— гнильтиной кормились да воду пияша, а молодому давай хором, коня, да дом.

— Так и нужно,— раздался неожиданно молодой, свежий голос младшего сына хозяина.— Без коня в наших местах и жить невозможно.

— А что, кому поматерее себя, будто поперечить-то и неловко,— поправил старик.— Как же это старики-то *кережи* (ручные сани) на себе без коней возили?

— Старики только и знали, что свою душу спасали, о других и не думали.

— А об ком же еще и думать, как не о себе?

— Да что и в этом хорошего: уйти в лес да гнилью питаться?

— А пойди-ко, брат, уйди. Не-ет, не уйдешь. Ведь на страшном-то судилище господнем ты за себя за одного отвечать будешь, за других там не спросят?

— Ве-ерно, верно, за других не спросят,— вторил зять.

На этот раз мне так и не удалось сойти с официального тона бесёды. Она была длинная и утомительная. Потом я убедился, что старик был не совсем искренним, когда советовал сыну уйти в лес. Это был по натуре не пустынник, а крестьянин. Он любил землю, крестьянство, готов был идти на какой угодно каторжный труд, лишь бы не расстаться с землею. «Уйти в лес»— так учили пустынники, в это он верил, искренно всю жизнь собирался уйти, но все-таки не ушел, а устроил большую семью, дом, все хозяйство. В нем жил инстинкт хлебопашца. Однажды он мне рассказал такую, характерную для здешних мест сказочку:

«Старик один спасался, богу молился в лесу. Вот приходит к нему калика прохожий, господь уж только знает, кто он такой, приходит и говорит:

— Бог помочь, лесовой лежебочина!

— А какой я лежебочина, как я богу молюсь да тружусь, труды полагаю да потею...

— Да что твои труды! Вот благочестивый крестьянин на поле пашет, так знает, когда господь к обедне зазвонит и когда обедать пора приходит.

Старик и взял себе в разум: что это мне калика прохожий говорил. Пошел на поле, видит — мужик пашет.

— Бог помощь! А обедал ли ты, добрый человек?— спрашивает у пахаря.

— А я,— говорит, еще не обедал,— у господа еще благовеста не было.

Один сел на межу. Другой попахал, поставил лошадь и глаза перекрестил.

— А чего ты, добрый человек, глаза перекрестил?— спросил старец.

— А вот,— говорит,— благовест к обедне, так надо идти богу молиться и обедать.

Подивился старец... и пошли молиться».

Смысл этой сказочки старик сейчас же пояснил:

— Видно,— сказал он,— крестьянин у господа больше значит, чем старец. Старец-то все молился, да не домолился, а крестьянин все пахал, да в святые попал.

Но если старик не соглашался с требованием «уйти в лес», то бурлачество ему было совершенно непонятно.

— Дома,— говорил он мне,— крепче спишь, да скорее пообедаешь. А бурлаки уйдут, домашникам и есть нечего...— Там вольно,— во-первых, заботы нет: хлеб хоть не родись, домашники хоть не живи. Сперва охотой стали отбиваться от земли — деньги давали, потом и неволей. Вот придут домой голодные, изморенные, а денег не принесут. Деньги еще *лонись* (прошлый год) черту отдали. Много ли в полях хлеба родится! Бери, откуда знаешь. Вот он и пойдет к десятнику кланятися, продает себя на весну, а потом еще к богачу поклонится: дай муки, дай крупы. Сначала заберет под рыбу, потом под рябы — и дойдет до того, что душу продаст, праздники десятнику продаст.

— Эх, в старину-то было! На земле — как на матери жили. Тогда по двадцать пудов ржи в нивьях сняли. В нивьях не родится, на полях родится. Семейства душ по двадцать были, хорошо жили!

И какова же эта мать-земля, о которой так любовно говорил старик? С каким презрением отвернулся бы от нее наш крестьянин земледельческой полосы! Не мать,— сказал бы он,— эта земля, а мачеха.

Особенно поразила меня пашня на Карельском острове. Весь этот небольшой остров разделяется на две половины: одна низменная, *топкое болото*, другая повыше — сельга, сплошной каменный слой.

— Да как же вы пашете?— невольно спросишь, когда увидишь этот слой камней.

— Не пашем, а перешевеливаем камень,— ответят вам.

Такую землю за лето непременно нужно перешевелить раз пять, иначе ничего не родится. При этом бывает еще нужно постоянно стаскивать большие, выпаханные из земли камни в кучи, называемые *ровницами*. Скоро эти ровницы обрастают травой, и на полях, состоящих из

белого слоя мелких камней, резко выделяются зеленые холмики. Это так характерно, что крестьяне часто говорят, например, так: «У меня поле в девять ровниц». Убрать мелкий камень в ровницы нельзя, потому что нагретый днем камень предохраняет посев от зябели, а в засуху препятствует испарению воды. Так по крайней мере думают крестьяне. Не успеешь вспахать такую землю, как она снова в этом сыром климате зарастает травой, потому-то и приходится ее так часто пахать.

Но, кажется, это слово «поле» означает несколько не то, что в земледельческом районе. Это поле находится возле самой деревни, очень маленькое, как огород, и обнесено изгородью, огородой. Казалось бы, место это как раз пригодно для огородов, но здесь их нет: капуста не растет, не растет лук, даже картофель родится плохо, часто гниет. Местные люди не знают яблок, не имеют понятия о пчеле, никогда не слыхали соловья, перепела, не собирали клубники, земляники. Почти обо всем об этом они уверенно и любовно поют, но в обыденном языке этих слов не услышишь. Раз я заговорил о пчеле — меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это *медовик*, то есть шмель.

И в этом краю проходит детство, бывают романы. И романы с чудными песнями, каких уже не знают в центре России!

На таком «поле», да еще при необходимом редком посеве, в суровом климате родится хлеба немного: хорошо, если месяца на два, на три хватит. Вот почему теперь неизбежно нужно продать себя в бурлаки, и продать вперед.

Раньше, когда еще не было лесных промыслов в крае и когда разрешалось еще подсечное хозяйство в казенных лесах, хлеба хватало. С одной стороны, стеснение подсечного хозяйства правительством, а с другой — бурлачество, оторвавшее в самое нужное время лучших работников,— вот причины, почему осталась только жалкая постоянная пашня, «поля», а «нивья», то есть земля, разделанная в лесу, заброшены. Крестьянин и рад бы увеличить постоянную пашню, «поля», на которых хлеб получается с меньшим трудом, потому что тут уже не нужно вырубать деревья, жечь их и пахать между пеньями, а только положить навоз да перешевеливать каменья сохою. Но вот в навозе-то и дело. Для постоянной пашни

нужно много навоза, значит много нужно иметь скота, а для скота — корма; сено же здесь болотное, скот его не ест без муки. И получается общеизвестный сельскохозяйственный круг. Кроме подсеки, в старину этот круг разрывался еще работами для Даниловского общежития. Теперь же на место подсеки и работ для Даниловского общежития стало бурлачество, со всей его новой культурой.

Такова эта мать-земля. А теперь — снова к сказителю Григорию Андрианову.

В глухом лесу, на холмике против лесного озерка, *белой ламбины*, виднеется желтый кружок ржи, обнесенный частой косой изгородью. Вокруг этого островка стоят стены леса, а еще немного подальше начинаются и совсем топкие, непроходимые места. Этот культурный остров весь сделан Григорием Андриановым, и сделан не из расчета хозяйственного. Какой тут расчет, когда таким трудом он мог бы больше наловить рыбы или наплести сетей! Хорошо было работать так раньше, когда эти островки расчищало целое семейство душ в двадцать. А одному старику это непосильный, невыгодный труд. Нет, в этом лесу скрыты более высокие запросы Григория Андрианова, чем простой хозяйственный расчет. Нет, тут поэзия прошлого, когда все громадными семействами секли лес, когда духовно более сильные люди еще не продавали себя за грош в бурлаки, не курили табаку, не пили чаю и вина. Островок этот — памятник прошлому, золотому веку, священнодействие души старика Григория Андрианова.

Еще осенью, два года тому назад, старик заметил это местечко, когда полесовал. Он осмотрел внимательно лес — не тонок ли он, или не очень ли толст: очень тонкий не даст хлеба, очень толстый трудно сечь. О почве он уже заранее, по виду леса, составил себе суждение, теперь ему остается только проверить. Если лес березовый, ольховый, вообще лиственный, то под ним растут трава, цветы, почва ими удобряется. Если же это сосновый или еловый лес, то под ним ничего не растет, почва остается тощей. Он знает, что береза растет на крепкой земле, а ель — на слабой. Тем не менее он вынул из-за пояса топор и обухом разбил землю, осмотрел корни: они оказались сухими. Это хорошо, потому что «на сыром корне не бывает рождения». Слой почвы в четверть, значит

можно собрать четыре хороших урожая: каждый вершок почвы, по его мнению, дает один урожай. Окончив осмотр, он заметил местечко. Весной же, когда сошел снег и лист на березе стал в копейку, то есть в конце мая или в начале июня, он снова взял топор и пошел «суки рубить», то есть сечь лес. Рубил день, другой, третий. Хорошо, что близко коровы паслись и бабы принесли ему свежие рыбники, калитки и молоко, а то бы пришлось довольствоваться захваченной с собой сухой пищей и тут же ночевать в лесу у костра или в тесной избушке. Наконец, работа кончена. Срубленный лес должен сохнуть. Мало-помалу листья на срубленных деревьях желтели, и среди леса появился желтый островок.

На другой год в то же время, выбрав не очень ветреный, ясный день, старик пришел жечь просохшую слежавшуюся массу. Он подложил под край ее жердь и поджег с подветренной стороны. По мере того как сгорало, он подвигал жердь дальше, чтобы под деревьями был воздух и они горели. Среди дыма, застилающего глаза, искр и языков пламени он проворно перебегал с места на место, поправлял костер, пока не сгорели все деревья. В лесу на холмике, против белой ламбины, желтый островок стал черным — это *пал*. Ветер может разнести с холмика драгоценную черную золу, и вся работа пропадет даром. Потому-то нужно сейчас же приняться за новую работу. Если камней мало, то можно прямо орать особой *наловой* сохой, с прямыми сошниками без *присоха*. Если же их много, землю нужно *косоровать*, разделывать ручным косым крюком, старинной *копорюгой*. Когда и эта тяжелая работа окончена, то пашня готова, и следующей весной можно сеять ячмень или репу. Такова история этого маленького культурного островка.

Когда узнаешь эту историю, невольно приходит в голову такое предположение: не принесли ли эту любовь к земле еще далекие предки старика, когда они переселились сюда из более хлебородных мест?.

Так вот эта-то связь с землей и мешала старику «уйти в лес», спасать свою душу. Но теперь еще новое сомнение росло в душе старика: младший, его любимый сын, «парной, саблеватый» и грамотный малый, побывал в Поморье и заразился там новыми взглядами. С этими взглядами было не так легко бороться, как с пьянством и грубостью старшего сына.

А вернувшись на днях с лесопильного завода из Сороки, малый начал и вовсе плести чепуху. Он сказал, что завод лесопильный остановился, все рабочие забастовали и даже подговаривают бурлаков на Выгу и на Сег-озере. Старик был возмущен. Вот уже пятьдесят лет выговцы ходят по сплавам, тем только и кормятся. Хотя и ненавистно бурлачество, но им теперь только и кормятся выговцы. Не будь этого единственного заработка на стороне, пришлось бы умирать с голоду. И вот забастовали! К чему же это должно привести? Верить не хотел старик. Но слухи все росли и росли, время от времени на остров заезжали ловцы и каждый раз подтверждали эти слухи. Наконец, по всему краю только и говорили о забастовке. Слово неслыханное, непонятное в этом краю аскетизма, в этом населении, в борьбе с природой прошедшем суровую вековую школу терпения. Ежедневно, при возрастающем волнении в семье, мне приходилось наблюдать, как обострялись отношения старика с молодым сыном. Между женщинами тоже образовались две партии. И бог знает, чем бы это кончилось, если бы вдруг старик не был разбит таким оборотом дела.

Раз утром молодуха пошла за водой на озеро и сейчас же прибежала назад с криком:

— Едут, едут! Бурлаки едут!

Бабы уже давно дожидались бурлаков, потому что наступил сенокос, а страшное новое слово «забастовка» поселило беспокойство в сердцах молодых жен. Вот почему все, кто был в избе, бросились к берегу, когда услыхали, что едут.

Лодка шла на восьми веслах, и только уж близко от берега поставили парус, хотя почти не было ветра. Подкатить на парусе считается на Выг-озере особым шиком. Бурлаки, по-видимому, были очень весело настроены, доносились смех и заливистая песня:

Не ржавчинка, ой не ржавчинка все поле съедает...

Радостную весть привезли бурлаки. Все их требования были удовлетворены. К ним приезжал сам губернатор, кланялся и обещал все устроить. Тут же послали телеграмму хозяину в Петербург и получили ответ: «Удовлетворить немедленно».

Старик был сбит с толку и, насупившись, молчал, а бурлаки радовались. Первый день ничего не делали,

отдыхали. Потом стали приготовляться к сенокосу: кто точит косу-горбушу, кто кошель чинит, кто ружье чистит, кто готовит дорожки для ужения рыбы, крючки... Все это пригодится на сенокосе. Сенокосные места, *пожни,* находятся далеко, за двадцать верст, так что целую неделю нельзя возвращаться домой.

Когда вся эта шумная ватага уехала, большая изба опустела, остался один старик со старухой и малыми детьми. Тихо стало на острове и в избе. Слышно только, как скрипит зыбка и уныло звучит монотонная песенка старушки-пестуньи:

Баю-баю во добри,
На соломенном коври,
Бай на лыченьком, на тряпиченьком...

А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.

Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши. Старик взволновался и с радостью мне рассказал.

— Веку мне,— сказал он,— восемьдесят семь лет. Родился я на Корос-озере. Это хоть и недалеко отсюда, верст двадцать пять лесом, а уж хозяйство другое. Зябель там постоянная, другой раз по семи лет вымерзает хлеб. Как ясень на небе да три звезды, так и зябель. Болота, родники холодные, морянка задует — все к зябели. Да и немудрено: возле океана живем. На Выг-озере этого нет: острова, кругом вода, от водицы тепло, водица тепло дёржит. Пала раз весна, северная такая, ждать хлеба нельзя. Надумал родитель-батюшка перебраться сюда: «Куда, говорит, ни зайдешь, все солнышко по вершинкам задевать будет». Продали корову, купили лодку,— на острову нельзя без лодки жить. Пришли и начали хозяйствовать. Жили сначала под сосной. Вон она, матушка, стоит...

Старик показал мне рукой в окно на большую развесистую сосну.

— Эх! Уж я это тебе верно говорю: в наших местах без трудов не проживешь. Лес секли, камни выворачи-

вали, сети плели, рыбу ловили, полесовали. А родитель мой батюшка полесник! Я и сам полесник был. Эх, был конь, да заезжен, был молодец, да подёржан. Хвастать не буду, а еще и теперь на пятьдесят сажен в копейку попаду. Вот только мошников уж плохо слышу... Хорошо! Помалешеньку, помалешеньку, да и устроили вот эти хоромы. Запахали поля, засияли. Лет пять так прожили. Уж мне двадцать пятый год пошел. Поехали мы в Койкинцы на праздник, к Полеостровскому. Прихожу к Захару, смотрю: моя-то княгинюшка рыбу чистит, станушка в перст! Да вот она, княгиня моя, люба тебе? Ну, а мне так гораздо прилюбилась. Прихожу домой, говорю отцу: «Так и так, батюшка, кабы ты съездил».— «Какую?» — говорит. «Да вот тую, говорю, Захарову». Смотрю, одел батюшка тулуп, опоясывается. Жду... Да как жду! Веришь ли, на крышу раз десять слазил, не видать ли лодки. Гляжу: двое едут. Отец гребет, Захар сидит, правит. Ну, попал молодец! Свадьбу собирать, а денег нет. Всего-то рублей семнадцать и нужно было. Толкнулся я на погост, к Алексею Иванову. Так и так, повинился ему. Дал, век ему спасибо, слова не сказал. Вот так я и женился. А дальше жили в трудах. Я как женился, так и сказал: «Ну, жена, я хоть и худой муж, а против матушки и батюшки ногой не ступи». А она как завопит: «Матушка, благослови!..»

Старик отвернулся, оправился и продолжал:

— Матушка моя, Марья Лукична, хорошая старушка была, краснословая, из Данилова монастыря вышла. Как сказала жена тогда слово, так и не переменила потом. Варя моя неожурима была. А вот есть молодые, не скажу плохие, а... Эх, Михайло, ум не кошолка, не переставишь, моего ума держимся. Много горя видели, всего изведали, а семь молодцов, как семь яблоков, вырастили. Другой раз придешь, наморишься, станет словно и нехорошо. А отдохну — и опять за работу. Да так вот и живу да болтаюсь, все вперед да вперед... Про Алексея Ивановича я тебе забыл досказать. Через год я снес ему деньги, поблагодарил и не видел его лет десять. И вот раз перед самым светлым Христовым воскресеньем пáла погодушка великая. Озеро надулось, посинело, что мертвец. Смотрю, катит ко мне Алексей Иванов, гость дорогой. А на другой день ехать нельзя было: лед разошелся. Пришлось ему у меня праздник гостить. В великую пятницу я и го-

ворю княгине своей: «Чем гостя кормить будешь? Мошника бы убить, да боюсь, грех в великую пятницу».— «Ничего, говорит, сходи, попытай счастья». Советно мы с ней жили! Перекрестился я и пошел в лес. А снег уж в лесу повышел, талинки показались. Инде тало, инде суметно. Суметы подморозило, гладкие что бумага. Смотрю, большой сумет навален. Стал я его переходить, и вдруг как схватит меня у поясницы, не могу с места сдвинуться. Ну, ничего, справился, пошел по талинкам, как по скатерти.

И слышу, точится мошник. А уж рассветает, заря разгорелась, бор что гарево стоит! Вижу, далеко мошник противу зари, черный да большой, что бурак [1]. Я к нему по сушинкам да по лежинкам, да по кокорочкам пя-тю-гать, пя-тю-гать [2], чтобы сучья не заряцкали. А он посидит, посидит, да и заточится. Замолчит — и я стою, не шелохнусь, как заточится — я опять пя-тю-гать... С одним покончил, другой недалеко заточился... Да так вот в светлое Христово воскресенье гостя и накормил... Вот как мы в старину жили,— закончил старик.— Любо ли тебе?

И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие богáтыри.

— Какие же это богатыри? — спрашиваю я.

— А вот послушай, я тебе про них старинку спою,— отвечал старик.

И, продевая крючком в петли *матицы,* запел:

Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира..

Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз былину в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный

---

[1] Бурак — корзина из дранок, новгородская «мостина».

[2] Пятюгать — значит бесшумно подкрадываться на пятках.

мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно...

И умный хвастает золотой казной,
А безумный хвастает молодой женой.

Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.

— Слышишь ты, безумной-то хвастается молодой женой. И продолжал:

А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает,
И белой лебеди он да и не рушает...

Старик долго пел и все-таки не окончил былины.

— А что же сталось с Ильей Муромцем? — спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.

— Илья Муромец окаменел — за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.

— А Добрыня Никитич?

— Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.

— Какой скобой? — спросил я.

— Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.

Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:

— Да неужели же и в самом деле богатыри были?

Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:

— Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.

А потом, подумав немного, добавил:

— Да знаешь что,— они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!

— Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что́ пел.

ПОЛЕСНИКИ

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей...

А. С. Пушкин

Когда-то самым страшным врагом человека был зверь. Это мы все знаем, но думаем обыкновенно, что время это давно миновало. Между тем у нас в России достаточно двух-трех дней, чтобы попасть в такие места, где можно наблюдать эту борьбу человека со зверем. Медведь и волки уничтожают на Севере часто все, что было достигнуто громадным трудом человека, потому что без коровы и лошади немыслимо хозяйствовать. В этих местах в складах земских управ продаются не косы и плуги, а ружья и порох. За каждого убитого медведя и волка там выдается премия, причем охотник в виде доказательства представляет в управу хвост и уши, которые потом, как оправдательные документы, представляются на земское собрание.

Вот куда следовало бы ехать нашим охотникам-любителям и помогать населению в борьбе со «звирем». Но охотник-любитель обыкновенно прикован к другим, совершенно противоположным занятиям и не может ехать так далеко. Оттого-то, быть может, он и охотник.

Впрочем, об охотниках-любителях лучше может рассказать мой попутчик полковник-старичок, с которым мне пришлось ехать до Повенца по Онежскому озеру. На пароходе он обратил мое внимание тем, что беспрерывно фотографировал, а когда он узнал, что и я фотограф, то тут же воспылал ко мне дружескими чувствами. С ним ехал секретарь, который рассказал мне о страсти полковника следующее:

— Ну, сошлись вы с полковником! Вы знаете, полковник тратит в год до пятисот рублей на фотографию, снимает все и вкривь и вкось, лишь бы снять. И все это остается без всякой пользы, не все он даже проявляет. И знаете... вас удивит: эта страсть происходит от... медведя. Он страстный охотник на медведей и убил в своей жизни их, кажется, сорок три штуки, был даже раз под медведицей. Обратите внимание: у него на брелоке висит зуб этой самой медведицы. Но теперь охота на медведя

около Петербурга вздорожала: десять рублей с пуда за берлогу, да охотникам, да проезд, так что медведь ему стал обходиться в пятьсот — семьсот рублей. Наконец, даже при его средствах охота стала ему недоступной. Вот тут-то он и взялся за фотографию. Иногда мне кажется, что при каждом спуске затвора фотографического аппарата полковник испытывает маленькую частицу того, что при спуске курка. На днях он сделал такое изобретение: приспособил, видите ли, фотографический аппарат к рогатине. Зачем, вы думаете? Не подумайте, что я сочиняю,— но полковник полагает, что, когда он приготовится стрелять, мужик будет держать наготове рогатину с аппаратом и в тот момент, когда медведь поднимется на задние лапы, дернет за шнурок. Теперь мы едем на Север по делу — осмотр оружия, но я убежден, что полковник замышляет найти дешевые берлоги...

А сам полковник о себе рассказал мне так.

— Знаете, кто мой самый страшный враг?.. Газета. Я не боюсь ни пуль, ни медведя, но признаюсь, что газеты боюсь. Это враг страшный, коварный, ползучий. Он умеет пробраться в ваш праздник и в ваши будни, в вашу семью, испортить самое мирное, доброе расположение духа. И как я теперь счастлив, что целых два месяца не буду читать! Я убегаю на Север от газеты... У меня почти с детства была сильная страсть к медведю. Теперь старею, но медведь живет во мне, как в юности; даже крепнет. Вот, посмотрите...

На цепочке полковника висел огромный зуб зверя, немного испорченный на краю.

— Видите, и у них зубы гниют... Но знаете, почему страсть к медведю со временем крепнет? А потому, батюшка мой, что тут дух борется. Как станешь, бывало, за деревом с винтовкой, а он вылетит из берлоги, взроет снег клубом, пыль летит,— страсть, что тут поднимется! Против вас пасть раскрытая, красная, страшная, язык висит, зубы торчат. Встанет на задние лапы, еще секунда — и обнимет вас... Стоишь против него маленький: вот я тут, а вот ты, поборемся... Лютый зверь, страшный зверь. И бла-го-ро-ден! В нем нет коварства ни вот столечко! А какой он нервный! При малейшем шуме он вздрагивает и бежит, он никогда вас не тронет зря. Но если вы решительно ему мешаете, он не смотрит ни на что, он идет прямо, откровенно.

Все эти разговоры с полковником о медведе живо припомнились мне, когда я попал в эту местность, где люди занимаются охотой не по страсти, а по необходимости. Медведь страшен здесь тем, что «ро́нит скот», а сам по себе по отношению к человеку считается довольно безобидным существом. Тут люди выходят на него иногда с одной пешней, встречаются лицом к лицу в лесу, разговаривают с ним и бранятся. И на самом Выг-озере, на островах частенько бывает Михайло Иваныч, но настоящее его местожительство, как и всякого зверя, на восточном берегу озера, где несколько тронутые вырубкой леса постепенно переходят в первобытные леса Архангельской губернии. Тут всякий зверь: медведь, лось, олень — живут оседло, размножаются. Отсюда медведи и совершают свои набеги на выгозерские стада. Те люди, которые живут возле Выг-озера, занимаются отчасти охотой, но называются ловцами, потому что их главное занятие рыболовство. Здесь же, хотя все также занимаются рыболовством, но называются полесниками, то есть охотниками. Полесники живут маленькими деревнями в лесах у озер, сообщаются они с остальным миром по едва заметным тропинкам пешком, знмой — на лыжах, и возят маленькие сани *кережи* с поклажей. Летом часто можно встретить здесь человека, который по моховым болотам несет десятки верст на себе пятипудовый мешок муки. Ближайшие к Выг-озеру деревни такого типа — Пул-озеро и Хиж-озеро. Вот в них-то я и решил побывать, чтобы ознакомиться с жизнью настоящих полесников. Замечательно, что даже в этих глухих деревнях, до которых нужно идти пешком верст тридцать, есть маленькие школы грамоты с пятью-шестью учениками. Учителя в таких школах получают по десяти рублей жалованья и тоже занимаются охотой и рыбной ловлей. Я был свидетелем, как один из таких учителей женился на Выгозерском погосте и как потом молодая чета пошла пешком в высоких сапогах по мхам и болотам «на женихов двор».

Провожать меня в Хиж-озеро вызвался знаменитый полесник Филипп, типичный охотник на зверя. Я заметил, что все полесники разделяются на две группы: те, которые главным образом ходят на мелкую дичь, и те, которые бьют «звиря». Первые полесники часто балагуры, сказочники, вообще легкомысленные и часто худо-

жественно восприимчивые люди. Вторые — солидные, иногда угрюмые и молчаливые. Мой провожатый Филипп в обыденной жизни был, вероятно, малоразговорчивый, угрюмый старик. Но у всякого старика в прошлом есть живые струнки, обыкновенно скрытые для молодых. Троньте их,— и старик оживет, он будет вспоминать былое, станет рассказывать живо, как художник, и под конец будет вам глубоко благодарен, что вы пришли и оживили его умирающую душу.

— Эх, этта бывало! — начал мне рассказывать полесник Филипп про свое житье-бытье, когда мы с ним, с кошелями и ружьями за плечами, рано утром вошли в лес. И рассказывал всю дорогу. А дорога была с непривычки трудная. Сначала как будто бы и видно что-то вроде хорошей тропы, но потом, когда лес остался за нами, то и тропа исчезла; так только примятая трава. А вот словно и совсем исчезла, но полесник идет и не смотрит под ноги. У него превосходный компас — сами деревья: с северной стороны сучья на них растут плохо, и он безошибочно определит по ним север и юг. Посматривая на деревья, полесник выводит из леса на поляну. Что это? Светло, просторно, будто знакомое с детства широкое поле ржи. На мгновенье, после давящей тяжести угрюмого северного лесного пейзажа становится так свободно, легко и тепло. Но это только мимолетные, случайные и не здешние ощущения. И поляна, на которую выводит полесник, вовсе не поле ржи, но еще более глухое, топкое, почти непроходимое место: это моховое болото, моховина. На ней ясно виднеются следы ног, которые погружали и выдергивали из топкого места, видны даже кое-где, на очень топких местах, положенные для перехода деревья. То балансируя на этих деревьях, то по колено увязая в зыбкой моховине, мы переходим, наконец, это трудное место и вступаем в лес. Моховина тянется иногда на версту, на две, она — самое трудное для перехода место. От моховины до моховины считает полесник свой путь. А если нет моховин далеко, то он может определить время по тени. Тень он измеряет локтями и, став на полянку в лесу, сразу на глаз узнает, сколько в этой тени локтей: пять, шесть, больше или меньше; таким образом он и узнает, сколько времени прошло от «солностава» и сколько осталось до заката.

— Эх, этта бывало,— рассказывал мне Филипп,— и походил я на своем веку по лесу! От лыжной походки и посейчас ноги болят.

Начал ходить в лес Филипп еще мальчиком, с отцом, сначала лишь «по силовым путикам», или «по сильям», собирать запутавшуюся в этих сильях дичь. Отец его, хотя был тоже солидный, «самостоятельный» человек и потому предпочитал полесовать на «звиря», но ему, как и всем на свете, не всегда приходилось делать одно лишь любимое дело. Полесникам охота не забава, а дело, которым они живут.

Осенью рано утром, а то и в ночь выйдут, бывало, в лес полесник с своим сынишкой. Они берут с собой только нож, топор и огниво. Ни в коем случае не берут хлеба и вообще съестного. Дома они непременно съедят «по две выти», то есть поедят против обыкновенной еды вдвое. Это делается для того, чтобы в лесу, во время собирания дичи, не есть. Когда полесники ходят по сильям, они избегают есть в лесу.

— Почему так? — спросил я Филиппа.

— Бог знает! Но только так все делают, а Микулаич — наш колдун — говорит: у сила есть станешь, всякая нечисть, и зверь, и мышь, и ворон, будут клевать птицу.

Без колдуна полеснику вообще не прожить. От него он получает множество практических советов. Так, например, колдун никогда не посоветует выходить в лес в праздник. От этого может случиться много недоброго.

— Вот раз мой батюшка,— рассказывает Филипп,— полесовал по путикам в бору. А бор-то све-е-т-лый был! Видит: мужик идет впереди, Василий, с парнем. Батюшка и кричит: «Василий, Василий, дожди меня!» А они идут, будто не слышат, сами с собой советуют и смеются. Он их догонять, а они все впереди. Перекрестился батюшка и вспомнил, что праздник был, рождество пресвятой богородицы. Это ему бог показал, что в праздник нельзя полесовать.

Вот почему отец с сынишкой, съевши по две выти, выходят в лес непременно в будни.

Но перед уходом в лес мало того, чтобы съесть по две выти и выбрать будничный день; кроме этого, необ-

ходимо прочесть взятый у того же колдуна *отпуск* (заговор) от ворона, который иначе непременно расклюет пойманную в сильях птицу. С глубокой верой в священные слова отпуска полесники шепчут:

«Во имя отца и сына и святого духа. Выйду я, раб божий, в чистое поле. Стану на восток лицом, на запад хребтом. Прилетает ворон, нечистая птица. «Куда, раб божий, пошел?»— «Пошел силышки ставить!»—«Возьми меня с собой!» — «А есть ли у тебя топор? Есть ли у тебя нож? Есть ли у тебя огниво?» — «Нету».— «Есть ты мне не товарищ. Отлетай от меня за тридевять земель, за тридевять болот, там есть магнит-птица, кушанья составляет и обед приготовляет тебе, ворон, поганой птице. Аминь».

Сначала они идут по той тропе, по которой все ходят. Но, пройдя версты две, где-нибудь около замеченной кривой сосны свертывают в сторону. Саженей через двадцать, опять-таки у замеченного дерева, начинается чуть заметная тропа, силовой путик. По этому путику, кроме них, никто не смеет ходить, это великий грех. Этот путик, на котором расставлены тысячи сильев, достался им от покойных родителей, это их собственность и будет переходить из поколения в поколение.

По этому путику полесники скоро подходят к знакомому дереву, у корня которого виднеется расчищенное местечко величиной с тарелку, усыпанное желтым песочком и потому резко выделяющееся на фоне зеленого моха. Это *пуржало* — местечко, очень соблазнительное для косача, тетерки, мошника и копполы: на нем птице приятно отдыхать, кувыркаться и греться, особенно, если между деревьями скользнет солнечный луч. «Любо им тут топоржиться на теплом и сухом песочке»,— рассказывал мне Филипп, указывая в лесу такие пуржала. Птица отдохнет и хочет перейти на другое местечко рядом, но на пути ей стоит согнутая дужка, на которой висит волосяная петля. Ни вправо, ни влево птице пройти нельзя, там и тут искусно устроены препятствия из сухих сучьев. И птица идет в петлю. В этих сильях попавшейся птице еще остается надежда: сило может само собой расправиться, если она, усталая, перестанет биться. Но бывают такие силья, из которых уже невозможно выбраться: это *очап,* то есть жердь в виде безмена; ее легкий конец находится у самой земли и держится внизу таким

же приспособлением, как в западнях, к ее концу привязано сило; толстый же конец очапа висит в воздухе, всегда готовый рухнуть, если птица заденет крючок на легком конце. Когда падает тяжелый конец очапа, птица взлетает на воздух и висит в петле. Еще хуже *пасть,* в которой обрушивается на голову птицы камень.

Итак, полесники подходят к пуржалу, вынимают птицу, расправляют силышко и укрепляют его хвойными иглами как раз на ходу птицы. Они не забывают также повесить возле сила на ниточке маленькую дощечку, *стрелку,* от ворона, который боится всяких приспособлений и не станет клевать пойманную птицу. Наконец, покончив с одним силом, они идут к следующему. Они собирают так много дичи, что нести становится тяжело. Тогда они выбирают подходящую сосну, привешивают на ней дичь и идут дальше и дальше. Начинает вечереть, с трудом можно разглядеть и узнать место. Мальчик поглядывает по сторонам, он боится: какие-то подозрительные огромные мохнатые существа выделяются из деревьев, словно медведи со всех сторон выходят из леса и поднимаются на задние лапы. Но это мальчику только так кажется. Отец его, опытный полесник, знает, что медведь зря не станет на задние лапы. Это не медведи, а громадные *кокоры,* то есть корни поваленных ветром деревьев, захватившие при падении большой слой земли и обросшие мхом, грибами и лишаями. Это не медведи, но и старый полесник приглядывается к ним: нет ничего мудреного, что с другого конца путика идет Михайло Иванович и тоже собирает дичь. Полесники повертывают в сторону. Так и есть. Встретились лицом к лицу. Бежать назад нельзя, потому что медведь, узнав о трусости полесника, сейчас же догонит и задерет. А медведь рассуждает совершенно так же: и рад бы бежать, но боится.

«Будь ты проклят, нечистая сила, ты мне сейчас не надобен,— думает мужик,— ни ружья, ни собаки нету».

«Да и ты мне не надобен,— думает медведь,— а стану повертываться, ты меня и хватишь».

Так и стоят друг против друга: мужик — у сосны, с топором, и против него — медведь на задних лапах.

Стучит мужик неистово топором по сосне, кричит во весь дух: «У, супостат, немытое рыло, уходи!» А медведь стоит на задних лапах, язык высунул — пена бежит изо рта,— хватает лапой пену и бросает в мужика. И долго

стоят мужик и медведь, не хотят уступить друг другу дорогу, мужик до половины исколотит обухом сосну. Но бог покорил медведя человеку, он убегает. И снова идут вперед полесники. Совсем уже стемнеет, закричит в лесу *гугай* (филин), затявкает чья-то собачка, зашумят деревья, поднимется вся лесовая сила. Полесники уже не собирают дичи, им только бы добраться до своей лесной избушки, «фатерки». Наконец, добрались до нее. Это как раз такая же избушка, как в сказках. Правда, она не на курьих ножках и не повертывается в разные стороны, но в остальном она ничуть не уступает избе Ягишишны. В ней нет трубы, и дым выходит прямо из двери, почему вход кажется черной дырой; у самого входа обожженные камни и горшки, оставшиеся с весны, когда здесь полесовали на мошников с ружьем и варили пищу. Приходят полесники, разведут огонь в избушке для тепла, обогреются, улягутся спать. А в лесу ветер гудит, шумит вся нечистая сила. Вдруг отчетливо затявкают собачки.

— Батюшка, слышишь?

— Слышу, слышу... Не трожь, пущай подходят ближе.

Ближе и ближе тявкают собачки... Запрыгали горшки на камнях... Заскрипели доски... Посыпалось что-то с крыши в избушку.

Сразу выскочит из избушки старый полесник и начнет ругаться, и начнет!..

В лесу побежит, зашумит, захлопает в ладоши и захохочет: хо-хо-хо!..

Потом мальчик еще услышит, как кто-то, играя на свирели, подойдет к избушке и уйдет дальше в лес. Но отец ничего не слышит, он уже спит.

Утром полесники тем же путем возвращаются домой, берут с собой подвешенную на деревьях дичь и продают «богачу». Пройдя множество рук, эта дичь удвоится, утроится в цене и, наконец, попадает в Петербург, где и съедается в удобных, теплых, светлых комнатах.

Хотя пойманная силками «давленая дичь», по мнению полесников, лучше стреляной, потому что дольше сохраняется при отсутствии огнестрельных ранок, но «богач» ею брезгует, он требует стреляной дичи. Кроме того, в последнее время администрация стала, не без основания, стеснять силовой промысел, так как при этом много птицы гибнет напрасно. Походив некоторое время по

сильям, полесники оставляют промысел до следующей осени, а силья продолжают губить дичь уже совершенно напрасно. По этим причинам силовой промысел из года в год падает и сохраняется в своей первобытной чистоте только в глухих лесах Архангельской губернии. Зато охота с ружьем и собакой процветает по-прежнему и даже совершенствуется благодаря распространению земской управой дешевых дробовиков.

Впрочем, в тех местах, где я был, дробовиков было мало, большинство же ружей малопульные и даже кремневые.

— Эх, этта бывало! — продолжал рассказывать мне полесник Филипп про охоту... Бывало, станут собираться с отцом полесовать с ружьем и собакой. Теперь уже необходимо захватить с собой в кошели рыбники, калитки и другую пищу, так как ходить в лесу придется долго. Перед охотой мальчик чинит кошель, а отец чистит ружье. Иногда отец при этом вспомнит, что *лонись*[1] он убил из этого ружья ворона, ворону или другую нечистую птицу. В таком случае необходимо сходить к колдуну Микулаичу помыть ружье, иначе оно будет недострелливать или давать промахи. Когда все эти предосторожности приняты, то остается кликнуть собаку и идти в лес. Хорошая собака, карельская лайка, для полесника то же, что корова для пахаря; с хорошей собакой он не расстается ни за какие деньги. Хорошая собака должна ходить по всему, что попадется в лесу: по дичи, по белке, по медведю и по всякому зверю. Такую собаку нигде нельзя купить, ее нужно выбрать из щенков. Вот тут-то колдун снова может оказать услугу. Впрочем, и без колдуна каждый знает, что у щенков, которые должны ходить по оленю, во рту устроено так же, как и у оленя: у них, как и у оленей, такие же красные полоски на деснах; у тех же щенков, которые ходят по дичи, опять-таки во рту есть такие же бугорки, как у тетеревей; по белке ходит почти всякая собака, но у очень хороших собак во рту устроено так же, как и у белки. Одним словом, полесник верит, что бог при сотворении мира уже все предусмотрел относительно охоты с карельской лайкой.

Полесники выходят из дому непременно очень рано, потому что птица, поднятая собакой, садится на деревья,

[1] Лонись — то есть прошлый год.

когда еще роса не сошла и нет солнца, а «на ясеню» она не сидит. Входят в лес; пропадает собака, только ее и видели. Но полесник не беспокоится: у него свое дело, а у собаки свое. Если только уж очень долго не попадается дичи, она прибежит проведать хозяина, пригнет свои торчащие кверху, словно рожки, уши, визгнет, полежит немного, если полесник сел отдохнуть, и опять — прощай. Наконец, полесник прислушается и про себя скажет: «Облаяла». «Это по дичи лает,— соображает он, свертывая в сторону,— по белке лай реже».

— Квах, квах, квах!..— слышится беспокойный куриный крик.

Звук выходит из чащи и отдается по лесу; если бы не лай собаки, то трудно было бы определить и место, откуда он исходит. Но по собачьему лаю полесник угадывает, что птица сидит именно в такой-то кучке деревьев. И вот уже видна вся знакомая полеснику картина: на верху дерева сидит громадная птица коппола — самка глухаря — и смотрит, угнув голову вниз, на собаку. Собака отвлекает внимание птицы от полесника. Птица все время квохчет, подает голос молодым мошничкам и коппола́м, чтобы не разлетались далеко и смирно сидели на своих местах, пока минует беда. Долго такое напряженное состояние продолжаться не может, вот почему полесник, раздвинув сучья, торопится установить свою *шагарку* [1], на которую он кладет ружье, чтобы вернее прицелиться. Ему в этом случае своей меленькой пулькой приходится стрелять наверняка. Весной, когда мошник поет, *точится,* можно и промахнуться,— птица все равно не услышит звука выстрела и не улетит; но теперь беспокойная мать сейчас же улетит и уведет с собой весь *детник.* Полесник прицеливается долго, несколько минут, и стреляет наверняка. Когда коппола убита, нужно «собрать детей». Это уже простая механическая работа: нужно только очень внимательно присматриваться к деревьям. Вот сидит молодой глупый мошничок, угнул голову, словно напряженно слушает, ожидая опасности, и смотрит прямо на охотника. И если тот промахнется, то молодая птица еще смешнее изогнет шею, но не улетит.

---

[1] Шагарка, или пристав — подставка, с которой стреляет полесник и которую он берет с собой из дому.

Так мало-помалу бывает перебит весь детник, и полесник идет дальше.

По белке еще рано охотиться, в это время шкурка ее ничего не стоит. На нее охотятся позднее. Тут тоже трудностей немало. Прежде всего ее надо найти. Иногда для этого нужно очень много исходить. Наконец, собака облает. Лает, как бешеная, пробует прыгнуть на дерево, но все, что она в состоянии сделать, это стать на задние лапы и передними охватить ствол. Полесник спокойно подходит: белка никуда не уйдет и собака ее не бросит. Он подходит к дереву, смотрит на дерево, обходит его кругом, но белки не видит. Он знает наверное, что белка сидит на дереве, но где именно, он не видит. Пробует стучать топором по дереву, чтобы согнать, но белки нет и нет. Наконец, ничего не остается делать, как срубить дерево. Он достает из-за пояса топор и ловко, привычно срубает громадное семи-восьми вершковое дерево. Расчет у него простой: белка стоит двадцать копеек, а дерево ничего не стоит, пятнадцать минут рубки. Дерево валится, белка *пуйтает* (скачет) на другое дерево и исчезает, вероятно в дупле. И второе дерево валится. Бывает, что и десяток и больше деревьев свалится, пока белка будет убита. Каким это варварством кажется нам, с нашим хозяйственным глазомером! Но там, в лесу, в котором полесник с огромным трудом в день находит десяток белок, срубленные деревья — капля в море, они ничего не стоят в общей массе леса, не имеющего цены.

Белка убита, значит двугривенный в кармане, можно сесть отдохнуть. Собака ложится у ног, смотрит, как хозяин привычной рукой снимает шкурку, действуя финским ножом. Собаке достается мясо или, самое меньшее, лапки, если хозяин торопится и не снимает шкурку.

Так мало-помалу проходит день, полесники подходят к лесной избушке с десятком белок и несколькими детниками. Поедят, переночуют — и снова искать в лесу белок и детников.

Старый полесник Филипп, коренастый, с седыми нависшими бровями, совсем и не считает все это охотой. Ходить в лес за белками и дичью с собакой — значит «полесовать». Даже любимая всеми полесниками стрельба глухарей весной на току для него не охота. «Ведь она

за то охота,— говорит Филипп,— что по своей по доброй воле делается и по желанию». Настоящая охота — это только по зверю. Без любви, без особых способностей это занятие невозможно. Оно становится все менее и менее доступным теперешнему мелкому и слабому народу. «Они думают,— говорит Филипп,— что зверя меньше в лесу стало. Не верь им. Зверь весь тут, его только найти надо. Давай, тебе сейчас найду и лося, и оленя, и медведя. Эх, и походил, походил я на своем веку, от лыжной походки и посейчас ноги болят! Эх, этта бывало! В лесах ходючи, на всякую штуку набредешь, *он* пошутить-то любит».

И *он* частенько шутил, когда отец с сыном охотились на зверей.

— Было раз,— рассказывал мне Филипп,— ходили мы в лесах. День проходили, ничего не видели. Идем уж ночевать к фатерке. А бывает, что не сразу к ней попадешь, иной раз и верст на пять ошибешься. Идем мы зимником, нет фатерки и нет. И тут сзади нас ка-ак побежит да захлопает в ладоши! Мы его ругать, он и убежал. Отошли еще версты две, смотрим, олень бежит. Мы его стрелили, я — к нему. Вижу, батюшка стоит у оленя, оперся на ружье. Подхожу, смотрю: ни батюшки, ни оленя,— видно, так прико́хло. А тут те́мница заво́дит, и я маленько не толкую, куда идти. Хожу, кричу: «Батюшка, батюшка!» А пого́дища ро́дилась великая! Вижу, отец идет со псом и кричит, будто свой отец. Смотрю, с островинки выстал тоже отец, кричит мне, а другой-то словно протаял, провалился.

Таких случаев Филипп помнит бесчисленное множество, но он так твердо верит, с одной стороны, в силу молитвы, с другой — в ругань и в советы колдунов, что ничего не боится в лесу.

Отец с сыном выходят на лосей и оленей зимой. Летом этого зверя трудно найти: он скрывается где-нибудь по *канабрам* и *оргам*, в непроходимой глуши, у ручьев. Редко бывает видно, как пробежит олень, закинув назад рога, или выйдет на лесную полянку *важенка* (самка оленя) пощипать траву. Чуть только шевельнуть рукой, чтобы взять ружье, сейчас телятки вытянут мордочки, насторожат ушки, красные на солнце, как кровь. Щелкнул затвор в берданке, «ряцнул» сучок, и все несутся в свои орги и канабры. Редко летом увидишь и лося.

Разве случайно и всегда неожиданно. Едет иногда полесник на лодке по реке, вдруг из чащи на берегу выдвинется громадная рогатая голова и скроется. Только лес зашумит.

Нет, на зверя можно охотиться только зимой, около поста, когда солнышко начинает посветлее светить и потеплее греть, когда начнут «падать чиры», то есть на снегу образовываться корки, *насты*.

Отец с сыном выходят на лыжах по настам. Они ищут след. Разные следы бывают в лесу: от бисерного, словно растянутого ожерелья какого-то совсем маленького зверька — горностая, хорька, ласки,— до громадного, «в теплый сапог», следа Михайлы Иваныча, если его потревожили и выгнали из теплого логовища. Но все это не интересует охотников. Вдруг они видят черную полянку среди снега в лесу. Это значит, что тут было целое стадо оленей, которые разбивали ногами снег и доставали белый мох. На этом месте с деревьев уже не свешивается лесная шуба *капшица*, то есть лишайники, все это ощипали олени. А вот и большой лосиный след. Охотники предпочитают бежать за лосем. Тут и начинается настоящая охота. Они должны рано или поздно догнать лося. У них то преимущество, что лыжи не проваливаются в снегу, а ноги лося проваливаются и режутся о твердую, обледенелую кору снега. Охотники бегут и бегут на лыжах; где скатываются, где взбираются на горку. Начинает темнеть.

Очень редко случается, что на охоте по настам приходится ночевать в фатерке, как осенью. Обыкновенно же охотники ночуют у *нудьи*. Они срубают два дерева, кладут одно над другим и между ними сучья, хворост, *паккулу* (грибы) как можно больше. Этот хворост поджигается, и деревья по мере его сгорания сближаются и в свою очередь медленно тлеют. Такой костер может гореть очень долго. Охотники укладывают на снегу возле нудьи толстый слой хвои и на него ложатся, установив по другую от себя сторону, противоположную нудье, аллею из маленьких елок. «И так-то разоспишься в тепле у нудьи, что уж утром и неохота вставать»,— рассказывал мне Филипп.

Наутро снова бегут по следу. Случается, что на тот же след попадают и другие полесники, тогда бегут все вместе, и все получают равные части от убитых зверей.

Иногда лосей и оленей бывает так много убито, что для солки мяса не хватает соли. Тогда мясо выменивается на соль, фунт за фунт.

Кроме лосей и оленей, убивают росомах, хорьков, выдр, горностаев и, конечно, медведей. Впрочем, медведь стоит от них особо. С одной стороны, медведь-то именно и есть зверь, о нем именно и думает полесник, когда говорит «звирь». Но, с другой стороны, он будто и не зверь. Нечистый... Рассказывая мне про медведя, Филипп начал уверять меня, что бабу он никогда не тронет.

— Да почему же?— спросил я.

— Это уж ему ведать о том. Бывали случаи, только редко: когда баба полесника несет.

— А как же он узнает, что она несет полесника, а не будущую «женку»?

— Так, уж знает... нечистый...

Но зря медведь, рассказывал Филипп, никогда не тронет, господь его покорил человеку. Вот только если его задеть, рассердить, то тогда живо шапку снимет.

В особенности опасно бывает встретиться с медведицей, когда у нее маленькие медвежата; они бегут к охотнику и ластятся к нему, как собаки, а медведица за них боится и может растерзать охотника. С Филиппом много раз бывали такие случаи, но всегда он как-то изворачивался.

— Раз,— рассказывал он мне,— полесовал я по сильям. Ну, хорошо. Стою я на коленках, силки лажу, слышу — бунчит земля. Поглядел: два медвежонка, за ними пестун, а позади всех медведица стоит на задних лапах, верхними помахивает. Тут мне стало будто бы и немножко неладно. Встал я сразу с земли да закричу как во весь дух: «Серко, Серко!» А какой тут Серко, когда по сильям шел! Эти медвежонки ка-ак махнут, за медвежатами пестун. А медведица постояла-постояла, да на левое плечо — и ух! Побежала вслед за ними.

Случай этот, рассказанный Филиппом вскользь, как один из типичных, постоянно с ним повторявшихся, по контрасту напомнил мне разговор с полковником на озере Онего. Вспомнил я, как тот рассказывал о своих ощущениях, когда он стоял с ружьем и сзади него — мужик с рогатиной. Тут же без ружья, без собаки, почти верная

смерть, а все-таки от всех ощущений он передает только: «Мне стало будто бы немножко и неладно». Я рассказал Филиппу о том, что в Петербурге охотникам медведь обходится до пятисот рублей и что этих охотников множество. «Вот бы к нам-то их переманить!»— воскликнул старый полесник и стал мне рассказывать, как он убивает медведя в берлоге.

— Лонись о крещеньи это было. Мужик нанял мужика в казаки[1], бревна возить. Поехал этот казак лес рубить возле островиночки. Рубил-рубил, да и пал в берлогу. Молодой мужик, хаповатый такой: ухватился за сук, выскочил, господь его и спас. Ну, хорошо, рассказал он это нам, мы враз и согласились. Иван с оглоблей, Мирон с пешней, я с ружьем. Долго мы искали берлогу,— по чужим наказам не легко найти. Видим со стороны — над снегом парит. «Стой, ребята, берлога! Ты, говорю, Иван, становись на берлогу, где казак провалился, и потревожь сверху оглоблей, ты, Мирон, стой позади меня с пешней, а я стану сперва из ружья стрелять». Выход из берлоги обложил деревьями, чтобы не сразу выбрался. Вот и стал его Иван оглоблей выживать. Раз сунул — молчит, два сунул — молчит, на третий ка-ак вымахнет, показалась голова, хлоп! Ружье не сгорело. А Мирон стоит с пешней, как пришитый. Гляжу, пес бросился к медведю. Жаль мне стало пса,— сгребет медведь, спереди ухватиться ему не за что. Выхватил я у Мирона пешню да и шарнул ему в пасть. А Иван бросил оглоблю да топором его по переносице. Убили. Слышим, еще есть в берлоге, рычит помаленьку. Стали тыкать, зарычало посильнее. Вытащили из берлоги медведицу, смотрим, а с нею маленький, словно кот.

— Так разве может среди зимы медведица детей принести?— спросил я.

— Медведица всегда, как смерть зачует, среди зимы, о крещеньи родит,— ответил мне уверенно Филипп.

И много всего рассказывал мне о медведях Филипп. Рассказывал, как ему случалось бывать на медвежьих

[1] Возникновение странного выражения «нанять в казаки» мне хочется связать с преданием о панах (см. выше). Казаки долго грабили местных жителей, но потом, укрываясь от преследований, по-видимому, сами попали в зависимое положение от населения. Мне рассказывали, что в старину этих укрывавшихся в лесу людей крестьяне запрягали в соху вместо лошадей.

токах и видеть смертный бой между двумя медведями: один заел другого, вырыл яму и похоронил в ней убитого. Рассказывал, как осторожно, на пятках ходит медведь по лесу, так что ни один сучок не ряцнет, как он таким образом подкрадывается к полям и ест нежатый хлеб. И поскольку речь шла о его личных столкновениях с медведем, Филипп рассказывал спокойно, неизменно заканчивая свои рассказы словами: «Господь покорил его человеку». Но как только стал рассказывать о медведе как истребителе скота, тут уж встревожился. Тут, говорил он, нужен колдун, и каждый рассказ заканчивал: «Не-ет, без колдуна полеснику не обойтись». Впрочем, иногда помогает молитва, обещание. Раз как-то у Филиппа медведь ро́нил скотину, потом ро̀нил у Ивана и у Мирона. Поставили они «чинёные ружья» у падины, то есть ружья заряженные и так приспособленные, что при малейшем прикосновении медведя к падине должны выстрелить. Поставили ружья и тут же обещались шкуру этого медведя пожертвовать на церковь. Ночью все три ружья хлопнули, но медведя не оказалось. Думали, что это ворон зацепил. Но года через два пастух нашел недалеко от этого места медвежью голову, а шкура сгнила. Делать нечего, выполнить обещание было невозможно; Филипп, Иван и Мирон отслужили молебен, внесли по рублю на часовню, тем дело и кончилось.

Но самый обычный способ истребления медведя у «роненой скотины» посредством *кляпцов и ловаса*. Кляпцы — это две тяжелые железные дуги с острыми зубьями, захлопывающиеся в виде пасти, а ловас — помост, устраивается между двумя или тремя близко стоящими соснами. На этот ловас у ро́неной скотины и садится полесник с ружьем караулить медведя. Он садится наверх, конечно, не оттого, что боится, а для того, чтобы ветер не доносил до чуткого зверя человеческого духа. По мнению Филиппа, медведь не только хорошо чувствует присутствие человека, но даже знает его след. Чтобы отвести след, к ловасу непременно приходят двое; один взлезает наверх, а другой уходит и по дороге домой нарочно шумит, кричит, дает знать медведю, что полесник ушел. Другой же полесник, на ловасе, сидит, не шелохнется и зорко смотрит, потому что медведь идет так тихо, что услыхать его невозможно: ни один сучок не треснет. Медведь может почуять полесника, далеко не доходя до ловаса,

и полесник должен заметить его издали, следить за всеми его движениями. Наконец, полесник, часто прокараулив несколько ночей, видит, как он ползет на брюхе, подняв кверху голову и озираясь кругом. Подпустив его как можно ближе, полесник стреляет.

Но бывает так, что полесник просидит и неделю на ловасе, а медведь не придет. Почему это? А потому, что этот медведь «напущенный», верит Филипп. Какой-нибудь злой колдун, осердившись, напустил медведя на скотину.

Но колдуны играют такую огромную роль в жизни полесников, что мне о них нужно рассказать подробнее.

КОЛДУНЫ

Когда один из ангелов восстал на бога, а с ним и многие другие ангелы, то бог прогнал их с неба. Стесненные на краю неба, восставшие ангелы полетели вниз. Одни из них, страшно изувеченные, с своим начальником Сатаною упали в подземное царство, в ад, другие пали на землю и поселились кто в воде, кто в домах, кто в лесу.

Так объясняет себе олончанин происхождение лесовиков, водяников и домовых, в которых он верит беззаветно.

Уже в Повенце мне пришлось из-за этих верований иметь небольшие неприятности. В этом городке нет гостиницы, и мне пришлось остановиться на постоялом дворе, а так как это было ночью, долго стучаться. Наконец, мне отворили дверь и уложили спать. Ночью переполох в доме разбудил меня. Оказалось, что околела овца, и огорченные хозяева суетились. Проснувшись утром, слышу разговор хозяйки с кем-то в сенях.

— Пришел он ко мне страшный такой, большой. «Ой, Акулинушка, говорит, не сбыть без убытку...» Слышу, стучат под окошком. Кричу: «Что вам, крещеные?»— «Ночевать»,— говорят. Уложила я их. Только легла, а он опять пришел: «Ой, Акулинушка, не сбыть без убытку». Я тут выстала, зажгла лучинку да в хлев: смотрю, лежит овца гора-горой...

Вот так я и попал в колдуны с первых шагов. Хозяева на меня косились и хмурились.

Однажды я рассказал это приключение одному деревенскому фельдшеру, идейному, прекрасному молодому человеку.

— Это пустяки,— сказал он.— Если бы вы знали, что только мне приходится проделывать в борьбе с этими верованиями! У них в каждой деревне есть своя знаменитость: в Тиковницах рыбный колдун, в Коросозере — скотский, у нас — ружейный и свадебный. А сколько тут знахарей, ворожей!

— Как же вы с ними боретесь? — поинтересовался я.

— Да как придется. Вот на днях пришел ко мне мужик кровь унять: ему разрубили топором жилу, и знахарь ничего не мог сделать. Я сейчас же послал сторожа собрать всех наших знахарей и колдунов унимать руду. Собрались, никто не может. А я приложил арнику на вате, кровь сразу и унялась. Кажется, после этого можно бы сдаться колдунам. «Нет, говорят, в присутствии фельдшера заговоры не действуют»... А то вот еду раз на лодке, со мной человек десять народу. Вынул я из кармана «Олонецкие губернские ведомости», где напечатан был коровий заговор, так называемый «отпуск», и стал читать. Думаю, узнают, что это не только колдунам, а и всем известно, перестанут верить. Так что же вы думаете? Только кончил я читать, сразу несколько голосов: «Прочти, прочти еще раз, не запомнили, да пореже читай»... Вот и судите сами, как тут бороться. Заболеет ребенок оспой, все идут, кланяются больному: «Оспа матушка, говорят, смилуйся, уходи!» И разносят болезнь по своим детям. Ну, что я с своей медициной сделать могу? А какие расстояния! Иногда позовут верст за семьдесят. Едешь на лошади, едешь водой, идешь пешком. Пришел, посмотрел, дал порошок — и кончено. Я не уверен даже, что этот порошок не очутится где-нибудь за божницей.

Но самые лютые враги науки, по словам фельдшера, не местные колдуны, а мезенские коновалы. Как только осенью на Мезени закончатся работы, сотни этих знахарей расходятся по Олонецкой и Архангельской губерниям. Они лечат все: людей, животных. Они знают всевозможные заговоры. Колдуны — это жрецы, языческие священники, а мезенские коновалы — специалисты медики. И каким уважением они пользуются в народе! Двери всякого дома перед ними открыты, везде они едят, пьют,

живут на одном месте иногда месяц, два и нигде никогда не платят, да и в голову никому не приходит брать с них деньги.

Так рассказывал мне представитель медицины о колдунах. Скоро после этого разговора, благодаря знакомству со сказочником Мануйлой, мне удалось проникнуть к знаменитому колдуну Микуланчу Ферезеину. Но прежде чем говорить об этом колдуне, необходимо познакомиться с Мануйлой. Этот даровитый человек больше всех других моих знакомых на Выг-озере обладает чистой, непосредственной верой во все чудесное.

Сказочник Мануйло — человек высокого роста, с густой бородой, на вид серьезный, строгий. И только когда он начнет рассказывать свои сказки, «манить», в лице его мелькает что-то такое легкомысленное, такое неподходящее к этому строгому лицу и бороде, что становится смешно. Душа у Мануйлы не простая, а поэтическая, он испытывает приступы тоски, имеет неопределенные желания, его тянет куда-то. Ходит он в лес по мошникам не как простой полесник-ремесленник, а любитель-охотник. Охотой и сказками он до некоторой степени удовлетворяет себя. Но самая заветная мечта, которую он никак не может решиться осуществить, это сходить в Иерусалим.

— Почему же именно в Иерусалим?— спросишь его, бывало.

— А потому, что это пуп земли и там все,— скажет Мануйло.

Чтобы осуществить эту мечту, не нужно и денег, а только решиться идти и просить по дороге милостыню. Но решиться Мануйло не может, слаб.

Мануйло — человек необыкновенно общительный, любит людей. Живет он в полуразрушенной избушке у самой дороги, по которой идут соловецкие богомольцы. Они все находят радушный приют у сказочника. Для них Мануйло уже три самовара сжег. Вслушиваясь в их разговоры, Мануйло узнает о каком-то удивительно сложном и прекрасном мире. Все эти сведения в поэтической душе перерабатываются и потом подносятся односельчанам когда-нибудь в зимние вечера на вывозке в лесных

избушках. Мануйло мастер «манить», снисходительно говорят односельчане, не понимая, что эти сказки и есть единственная красота их «загнанной» жизни. Творчество Мануйлы достается им даром, они оставляют жить своего поэта в жалкой, полуразрушенной избушке. Сам Мануйло скромен; он думает, что для сказок нужна только «недырявая память». Однако были в его жизни случаи, которые убедили его, что сказка не совсем пустое занятие. Прежде всего она годится в бурлаках. Приказчики любят сказки и работы не спрашивают.

— Мне легко в бурлаках,— говорит он.— Сижу я на бревне да покуриваю. Подходит приказчик, раз посмотрит, два посмотрит. «Ты что, говорит, Мануйло?» А я ему в ответ: «Да ничего».—«Хо-хо-хо, засмеется, ну, приходи вечером сказывать». Вечером придешь, чаем напоит.

Может принести сказка пользу, и когда из-за озер и лесов, из больших блестящих городов в этой лесной глуши появляется барин. Он требует лошадей, требует лодку, покупает кур и яйца, снимает планы, вымеряет леса. Кто он такой? Бог его знает. Господа бывают разные.

— *Они* думают,— говорит Мануйло,— что господа одинаковые.

«*Они*» — эта вся серая масса крестьян, противоположная сказочнику Мануйле, *они* — это филистеры.

— *Они* думают, что господские одежи — и все тут. Не-ет, брат! Господа бывают разные. Другой раз на лодке сидишь день-другой, везешь его. И бывает такой барин, что сидит себе в лодке, на солнышке, поглядывает, в книжку записывает и молчит. Двое суток с тобой проедет и слова не скажет. Такие крепкие бывают господа! *Они* не знают, что из господ и немцы и поляки бывают. Зато попадает другой в разговор, он-то тебя повыспросит, напоит, накормит. Один попался, так суток трое мои сказки слушал. Всякие господа бывают.

«*Они*» не ценят сказок Мануйлы, а как дойдет дело рассказывать что-нибудь от общества барину,— сейчас Мануйлу. Вот тут только и сорвет Мануйло с них на бутылку.

В семейной жизни Мануйло был несчастлив: единственная его дочь — безумная. Всякого гостя эта безумная полуобнаженная девушка встречает диким хохотом и при-

стает к нему, пока отец не уймет. Эта девушка испорчена еще девочкой, с ней «что-то сделал лесовик», и даже знаменитый колдун Микулаич Ферезеин не мог отколдовать. Вот как рассказывает об этом сам Мануйло:

— В этот год у нас в Матк-озере рыбы совсем не было, вся перешла в Выг-озеро. Старухи рассказывают, будто видели, как на Поповом камне маткозерский водяник с выгозерским в карты играли. Вот и думаем, что наш хозяин свою рыбу проиграл. Не было рыбы весной, а летом так даже окуни на уду не шли. Осенью маялись-маялись с неводами, себя и баб замучили, а ничего не поймали. Ну, думаю, надо в лесу дело поправлять белками да мошниками. Взял собаку, ружье, надел кошель и пошел в лес. А девчонка моя и говорит: «Тятенька, позволь, я с тобой малешенько по лесу пройду». Да так и увязалась со мной. Только вошли в лес, слышу, собака так-то часто и гораздо лает. Ну, думаю, белку облаяли. За беличью шкурку в тот год по двугривенному платили, где тут о девчонке помнить! Как услыхал, что по белке лает, сейчас в лес. Лает, как бешеная, а белки нет. Нечего делать, срубил дерево, срубил другое. Смотрю, сидит на чистом месте на веточке, хвост на спине. Расставил я шагарку, стал прицеливаться. Хлоп! Нету ни белки, ни сука, и дерево это на другом месте стоит, и собака не лает. Тут-то я и вспомнил про девчонку. Оглянулся назад — нету ее. Ну, думаю, домой ушла, сотворил молитву — и в лес. Дня два проходил, прихожу домой, жена ругает: «Что ты, говорит, девчонку по лесу водишь?» А она с тех пор домой не приходила. Тут я и понял: *он* белку-то мне показал, а девчонку закрыл. Делать нечего! Посоветовали, посоветовали со старухой, и поехал я к Микулаичу, к колдуну, отведать девчонку. Сутки я к нему плыл да сутки пеший шел... «Ничего, говорит старик, он ее восемь суток водить будет, на девятые нам только попасть туда нужно». Пришли мы с ним в лес на девятые сутки в полночь. «Становись, говорит, за вересиной, а я за камнем стану. И что бы ни было, стой, не шевелись, не бойся». Не мне бы ему говорить: в лесу ходишь, так нужно, чтобы запятая была твердая... Стою... Вижу, будто волокут мою девчонку два мужика, ножик вынимают... Стою, молчу... Кричит: «Тятенька!» Стою, молчу. А потом вижу: карета едет, везут девочку мимо. Тут старик вышел из-за камня. «Пойдем, говорит, она теперь дома». Пришли,

девчонка дома, вся синяя, дрожит. Девять суток он ее водил, а уж что с ней делал, не знаем. Так и осталась немая и глупая.

Вот этот-то Мануйло и познакомил меня с колдуном Микулаичем. Ему зачем-то нужно было в Корос-озеро, да кстати он хотел и ружье *помыть* у колдуна, а то оно стало недостреливать. Только что мы отплыли верст пять по Выг-озеру, вижу, Мануйло встревожился, стал приглядываться вдаль, наконец уверенно произнес:

— Пакость!

Скоро и я увидал, что на маленьком голом острову стояла кучка лошадей, она-то и возбуждала внимание Мануйлы. Этих лошадей, очевидно, перегнал с Янь-острова медведь. В это время в стороне показалась лодка, нам кричали, можно было ясно разобрать слова:

— Па-а-кость! На Корос-озере четырех ро́нил!

Когда лодка подъехала, между Мануйлой и двумя ловцами начался непонятный для меня разговор:

— У нас вся скотина в отпуску. Сам Микулаич отпущал... Пакость! Четырех из отпущенного стада ро́нил... Ослеп. Видно, у него путаться началось... Дьявола́-то жмут... Напущенный... Максимка напустил...

Кое-как мне удалось установить такой смысл этих слов: скотина, которую ро́нил медведь, была заговорена знаменитым колдуном Микулаичем, или «отпущена». И вот, несмотря на это, случилось что-то неслыханное: медведь съел заговоренную, «отпущенную» скотину. Объяснялось это тем, что Микулаич стал стар, ослеп, дьяволы его жмут, и оттого в голове его начало что-то путаться.

— Эх, а хороший колдун был Микулаич!— сказал мне Мануйло.— По всем деревням от Данилова до Поморья отпускал скотину. Привезут-отвезут на своей лошади, поят, кормят, соберут рыбников, калиток целый воз, надают денег... Пастухи к нему со всех мест за отпусками ходили.

Мануйло не верил, что у Микулаича путаться начало, и объяснял это тем, что «он», то есть медведь, напущен другим завистливым колдуном Максимкой и что следовало бы опять попробовать его утопить. Оказывалось, что этого Максимку уже не раз топили, но не удавалось,—

он всплывает и начинает со злости пакостить, то есть напускать «звиря».

Наконец, мы добрались до колдуна Микулаича.

Он сидел возле своей избушки, грелся на солнце. Этот старый слепой старик, с благообразным лицом и седой длинной бородой, вовсе не походил на колдуна; скорее это был пастырь, священник. Узнав о том, что у Мануйлы ружье недостреливает, он сказал:

— Ну, давай ружье, я тебе наставлю.

После этого мы пошли к озеру. Старик стал на колени у самой воды, разобрал ружье и, продувая ствол, три раза погрузил его в воду.

Старик совершал обряд с полной верой в его значение, у него было торжественное, серьезное лицо. Мануйло смотрел на него, как смотрит простой верующий человек на священника. Озеро было тихое, красивое, и во мне шевельнулось что-то, требующее уважения к обряду.

— Это, видишь ли,— объяснял мне потом в своей немного мрачной избе Ферезеин,— больше от себя. Когда с ружьем ходишь полесовать, так нужно вести себя строго. Другой раз нагрешат, трудно бывает поправить, ну раз и не сделаю, а другой уж наставлю.

С большой осторожностью я перевел разговор на медведей, скот и, наконец, на то, что медведь съел отпущенную им скотину. Микулаич просто и спокойно объяснил мне, что медведь этот не простой: если бы он был простой, то пришел бы на то же место и стал бы есть скотину; а если он не пришел, то для чего же он ее рóнил? Нет, этот медведь напущенный. Но кто напустил, он не знает; говорят, что Максимка, но это неизвестно, а он теперь не может *отведать* колдуна, потому что ослеп. Для того чтобы отведать, нужно собрать из трех мест лагунной воды и смотреть в нее, пока не покажется враг.

— Я,— говорил старик,— годов с полсотни скотину отпущал, и никто не слыхал, чтобы мою скотину медведь сшиб. Эх, если бы глаза, я б ему показал! Не по разуму стряпню затеял. Вот раз это было... годов уж пятьдесят прошло. Тоже, как и теперь, каргопольский колдун стал повенецкому пакостить. Сошлись они на Корос-озере. Наш-то и говорит: «Видишь вон чугун в печи? Пусть подойдет ко мне».

Бился-бился каргопольский, чугун ни с места.

— А вот тебе шуба на пороге,— говорит он нашему,— пусть сюда придет...

Не успел сказать, шуба и поползла и поползла...

С тех пор шабаш, потерял силу каргопольский колдун.

— Эх, если бы не глаза, показал бы я этому Максимке!

Положение старика было, в самом деле, печально: всю жизнь он занимался отпусками, тем и кормился, и вот на старости приходится дело бросать. Он погрузился в воспоминания и рассказывал мне, как он отпускал скотину.

Бывало, троица подходит, со всех мест шлют, успевай только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж ждут, скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич ставит в землю батожок и дает пастуху записку с отпуском. Если пастух грамотный, то читает ее, обходя скотину три раза вправо от батожка; если неграмотный, то за ним идет кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берет хлебный колобок, режет его на кусочки, чтобы каждой скотине досталось.

Но теперь старик ослеп, его несомненно ждут дьяволы, и он ничего не может поделать с пакостником Максимкой. Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука бумажку и заставил меня три раза прочесть вслух. И нужно было видеть торжественное лицо старика, когда я читал. Он словно благословлял меня.

— Этот отпуск хороший,— говорил он,— этим отпуском сто коров отпущено и сорок лошадей. Теперь пиши, верно пиши.

ОТПУСК

Во имя отца и сына и святаго духа!

Выйду я, раб божий, пастырь (имярек), благословясь из двери в дверь, из ворот в ворота. Стану я лицом на восток, хребтом на запад и помолюсь Христу небесному.

Господь сотворил небо и землю, реки и озера, и земную тварь, и человека, и меня, раба божия, с моим любимым скотом, любимым животом, со скотинкой разношерстной, доморощенной и новоприведенной, с коровами, быками, с телками рогатыми и комлатыми.

Праведное солнце и праведный господи! Поставь вокруг моего стада тын железный от земли и до неба и к тому тыну поставь двери стальные, ворота хрустальные, замки булат-

ные, ключи золотые, чтобы не мог никакой дикий зверь видеть моего любимого стада, чтобы казалось мое стадо рысю, волку и широколапому медведю диким серым камнем.

И как катится солнце праведное с лучами ясными с утра до вечера всякий день и час, так чтобы и катилось мое любимое стадо по всей поскотине на мою трубу и на мой голос.

И как собирается в божью церковь народ к пению церковному и ко звону колокольному и как муравьи сбегаются в свой муравейник, так чтобы и мое любимое стадо собиралось к своим дверям во все красное лето, отныне и до века. Аминь.

— Так пиши, верно пиши,— говорил мне старик.

Когда я простился и вышел из избы, он тоже ощупью добрался до порога. Я был уже на другой стороне улицы, а старик все кричал вслед:

— Смотри, верно пиши!.. Пиши!

Вскоре мне удалось познакомиться и с колдуном Максимкой, счастливым соперником престарелого Микулаича. Какая противоположность знаменитому патриарху, хранителю скота! Если тот походил на благообразного священника, то этот был просто лесной зверь. Лицо его обветренное, темно-красное, почти черное, с морщинами, похожими на трещины, скошенный лоб; узкие маленькие глаза. Увидать такого человека в лесу, особенно, когда ему вздумается залезть на дерево, чтобы сдирать бересту или резать прутья,— и можно навсегда поверить в существование лешего, похожего на человека.

Как и с Микулаичем, мне удалось с ним разговориться по душе. Раньше он был деревенским пролетарием, которого все презирали и били, а потом мало-помалу превратился в колдуна. Другому пойдет во всем удача: наловит рыбы больше других, настреляет дичи. Подивятся односельчане и станут говорить: ему помогает лесовой и водяной, он знает. Немножко фантазии, веры в себя — вот и колдун.

Но у Максима дело шло другим порядком.

— Эх, и навопелся я,— рассказывал он мне,— навопелся да находился, да наклепали на меня, да потрепали. А как дошел до правов — теперь хорошо, боятся. Да я и дело свое знаю: у меня шерстинка не теряется. Сяду

на лошадь, все за мной в струнку идут. Захочу, так коровы с места не тронутся, как пришитые стоять будут. А захочу, так и попугаю, закрою[1].

Микулаича он отвергал.

— Лесом пасет,— говорил он про своего соперника.— Не божеские отпуски дает, а диявольские, лесом пасет.

Мы разговорились про коросозерского медведя. Но Максим тут был ни при чем. Виноваты сами: нужно было одного отпуска держаться, а они четыре взяли,— из четырех-то один может и худой попасть. Вот она откуда пакость, а Максимка всего раз только и поиграл. Подогнал он скотину к ржавому болоту, чтобы легче было медведю поймать, а сам стал за березку. Вышел медведь из лесу. Скок на коровушку, обхватил ее лапами, а другие стоят, не шелохнутся, как придавило! Мог бы все стадо решить медведь, но Максим не допустил. Привели корову, стали лечить. Истопили баню жарко-жарко, да в баню корову. Сразу на тех местах, где медведь поцарапал, и вздуло, она и околела.

— Дураки! сами виноваты. Им бы нужно раны перевязать да жар *из по волечки пущать*. После этого Максима опустили в прорубь. Да не удалось... Где им справиться!

С тех пор дела Максима пошли в гору: что бы ни случилось, все он виноват, а тронуть боятся и деньги дают.

Я не берусь сказать, есть ли где еще такое место, как Выговский край, где бы языческий мир так близко соприкасался с христианским. В этом краю до сих пор еще живут пустынники, которые стремятся воспроизвести жизнь первых христианских аскетов, и в их избушки приходят иногда случайно такие полесники, как Филипп, всю жизнь имевшие дело только с лешими, колдунами и медведями.

Чтобы передать здесь свои впечатления из религиозной жизни обитателей Карельского острова, мне, однако, необходимо рассказать интересную и крайне поучительную историю Выговской пустыни.

---

[1] Закрыть корову на языке колдуна означало сделать ее невидимой.

ВЫГОВСКАЯ ПУСТЫНЬ

В Петербурге, возле Волкова кладбища, есть беспоповская моленная. Если прийти в нее после шумных улиц столицы, то становится так же странно, как ночью в вагоне, когда пробудишься от остановки поезда. Где мы? Что с нами? Иногда проходит довольно много времени, пока в сознании не установится необходимое равновесие и все объяснится так просто.

И тут, в моленной, мысль, оторванная от улицы, мечется из стороны в сторону, забежит вперед, унесется назад и, наконец, найдет себя где-то далеко в допетровских временах.

В полумраке из темных рядов икон смотрит громадный круглый лик Христа на людей в длинных черных кафтанах с большими до пояса бородами и со сложенными руками на груди. Три возвышения, покрытые черным, стоят перед иконостасом; на среднем от свечи блестит большой металлический восьмиконечный крест, у боковых стоят темные женские фигуры. Одна женщина быстро читает из большой книги. Возле правого и левого клироса стоят два старца, и мимо них проходят женщины в черном, кланяются глубокими поясными поклонами и наполняют оба клироса. Собравшись, они выходят на середину церкви, сразу, неожиданно для посторонних, вскрикивают и поют в нос уныло и мрачно. Время от времени люди в длинных кафтанах падают вперед на руки, поднимаются и снова падают. Один из двух седых старцев берет кадило и перед каждым кадит, все разводят при этом сложенные на груди руки. Неловко в этой моленной постороннему человеку: люди здесь молятся и свято чтут свои обряды.

Почти рядом с этой моленной есть православная церковь. Сначала станет легко, свободно и радостно, как перейдешь туда из мрака. Все знакомо, светло, алтарь, певчие, священник в блестящей ризе. Но, вглядевшись в иконы, замечаешь, что они те же самые, старинные и даже такой же темный громадный лик Христа смотрит здесь уже на обыкновенную толпу. Оказывается, эта церковь была отобрана у беспоповцев и переделана в православную. Потом подробности в толпе: барыни в шляпах шепчутся, другие улыбаются, певчие откашливаются, задают тон, священник искоса разглядывает прихожан.

В одной церкви давит какое-то непосильное окаменение духа, в другой скучно, обыкновенно.

Эти церкви — памятники той трагедии духа русского народа, когда западный «ратный» закон встретился с восточным «благодатным» и произошел раскол. Вот в это-то времена и осветила религиозная идея мрачный край леса, воды и камня. В нем закипела умственная жизнь. Основные вопросы религии здесь обсуждались, разрабатывались теоретически и испытывались в жизни. Тогда Выговский край покрылся дорогами, мостами, пашнями, селами. И так продолжалось полтораста лет. Потом снова все стихло, угасла умственная жизнь, разрушились дома, часовни, пашни заросли лесами. И край остался словно величественной и мрачной могилой, свидетелем тех «мимошедших времен».

Соловецкий монастырь для Выговского края когда-то был такой же святыней и экономическим центром, каким стал потом Даниловский (Выговская пустынь). Вот почему ужас, трепет охватил всех, когда в январе 1676 года войска проникли в осажденный, ставший раскольничьим Соловецкий монастырь. Виновники были наказаны беспощадно: сотни казненных были брошены на лед.

В это время на Севере почти беспрерывная ночь. И словно над всею русскою землей на десятки лет повисла такая же беспросветная, страшная ночь. Глядеть в эту бездну тьмы — страшно. Что там видно? Сожжение еретиков, костры самосожигателей? А может быть, уже начинается? Может быть, уже горит небо и земля, архангел затрубит, и настанет страшный, последний суд! Казалось, что вся вселенная содрогается, колеблется, погибает от диавола. Он, этот диавол, «злокозненный, страшный черный змий» явился. Сбывалось все, что было предсказано в апокалипсисе. Верующие бросали все свои земные дела, ложились в гробы и пели:

Деревянен гроб сосновый,
Ради мене строен,
В нем буду лежати,
Трубна гласа ждати;
Ангелы вострубят,
Из гроба возбудят...

А на покинутых полях бродила скотина и жалобно мычала. Но этот ужас перед концом мира был только в бессильной душе человека. Природа по-прежнему оставалась спокойной, звезды не падали с неба, светили луна и солнце. И так годы шли за годами. Над человеком будто кто-то смеялся.

Гонения все усиливались. Правительство Софьи издало указ: всех нераскаявшихся раскольников жечь в срубах. Тем, кто отказывался причащаться, вкладывали в рот кляп и причащали силой. Оставалось умереть или бежать в пустыню.

А в пустынях Выговского края беглецы встречали радушный прием. Там, у озер, в лесных избушках жили старцы, рубили лес, жгли его и, раскопав землю *копорюгой*, сеяли хлеб, ловили рыбу. Эти старцы иногда выходили из леса и учили народ. Они учили его старинному дониконовскому русскому благочестию и рисовали ему ужасы наступающего страшного суда. Народ их слушал и понимал, потому что здесь он издавна привык к таким учителям.

Из этих старцев-проповедников особенно славился Игнатий Соловецкий. Долго он укрывался от преследований одной из тех карательных экспедиций, которые посылались для розыска раскольников в лесах. Наконец, измучившись, не будучи в состоянии укрыться от преследователей, которые пошли в пустыню, «яко песия муха на Египет», он решил погибнуть славною смертью самосожжения.

«Куйте мечи множайшие, изготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радость виновнику проповеди будет сладчайшая!»[1]

Как гонимый зверь, бежал Игнатий с своими учениками на лыжах по озеру Онего. Прибежав в Палеостровский монастырь, он выгнал оттуда несогласных с ним монахов, заперся в монастыре, а учеников послал по «селам и весям» возвестить благоверным христианам, чтобы все, кто хотел скончаться огнем за древнее благочестие, шли к нему на собрание.

---

[1] И. Филиппов. История Выговской пустыни.

И со всех деревень народ толпами пошел к своему знаменитому проповеднику. Собралось около трех тысяч человек. Преследующему раскольников отряду казалось опасным подступить к монастырю, и потому послали в Новгород за подкреплением. Великим постом войско в пятьсот солдат со множеством понятых двинулось к монастырю. Впереди везли возы с сеном для прикрытия от пуль. Думали, что будет сильное сопротивление. Но в монастырь не стреляли.

Скоро и люди, стоявшие у стен, куда-то исчезли. Отряд подступил к самым стенам. Солдаты по лестницам взобрались на стены, спустились во двор. Там не было ни души. Бросились к церкви, но ворота были заперты и заставлены крепкими бревенчатыми щитами. Тогда поняли, что готовится страшная смерть. Пробовали рубить стены, но это было бы долго. Втащили на ограду пушки, и в деревянную церковь полетели ядра.

А люди там сидели, сбившись тесною кучей, обложенные хворостом. Последние два дня, а некоторые и неделю, не пили, не ели, не спали. Историк сообщает, будто они молились так: «Сладко ми есть умерети за законы церкви твоея, Христе, обаче сие есть выше силы моея естественныя».

Неизвестно, сами ли староверы подожгли хворост или же от удара ядра свалились свечи и зажгли его, но только церковь вспыхнула сразу, пламя вырвалось, зашумело и высоко поднялось к небу столбом.

Стены попадали внутрь и похоронили всех...

«Рыдательная и плачевная трость» историка Ивана Филиппова, современника этих событий, передает нам, будто бы при этом было такое видение:

«Когда разошелся первый дым и зашумело пламя, то из церковной главы вышел отец Игнатий с крестом в великой светлости и стал подниматься к небу, а за ним и другие старцы и народа бесчисленное множество, все в белых ризах рядами шли к небу и, когда прошли небесные двери, стали невидимы».

Но дело Игнатия не погибло с ним.

Еще в Соловецком монастыре один благочестивый старец Гурий убеждал Игнатия уйти из монастыря и основать новый.

— Иди, иди, Игнатий,— говорил он,— не имей

сомнения, хочет бог сотворить тобою велию обитель во славу его.

Странствуя по деревням в Поморье, Игнатий искал подходящих людей для основания новой обители. Скоро он встретился с шунгским дьячком Данилом Викуличем, который тоже укрывался в Выговских лесах, и близко сошелся с ним. Этому Даниле старец Пимен, окончивший свою жизнь так же, как и Игнатий, самосожжением, предсказал руководящую роль в будущей обители. Случилось это при таких обстоятельствах. Данил однажды посетил Пимена в карельских лесах. Долго они беседовали, а когда Данил стал уходить, старец пошел его провожать. Садясь в лодку, Данил взялся было за весло на корме, но Пимен сказал Данилу:

— Ты, Данил, сядь на корму, ты будешь кормчий и правитель добрый христианскому последнему народу в Выговской пустыни.

Но самая важная услуга Игнатия по отношению к Выговской пустыни была в том, что он подготовил к религиозному подвигу даровитое семейство повенецкого крестьянина Дениса, потомка князей Мышецких.

«Итак,— говорит историк,— малая сия речка (Выговская пустынь) истекла из источника великой Соловецкой обители».

Андрей Мышецкий, впоследствии знаменитый организатор Выговской пустыни и теоретик раскола, вырос в Повенце на берегу бурного Онега, у края тогда еще первобытных повенецких лесов. Село Повенцы было тогда тем центром, от которого отправлялись в леса карательные экспедиции. Здесь истязались пойманные раскольники. Казни, самосожжения, горячая проповедь Игнатия — вот с чем встретилась юность блестяще одаренного Андрея и что направило его на религиозный подвиг.

В декабре, в самую стужу, когда на Севере ночь лишь немного бледнеет для дня, юноша с своим другом Иваном уходит в лес: «Оставляет отца, презирает дом и вся настоящая, яко не суща, уничтожает... Лыжи вместо коня, кережи вместо воза, сам себе бывает и подвода, и извозчик, и вождь, и водимый».

И вот начинается «богорадное и самоозлобленное житие». Юноши скитаются в тьме, в чаще лесов и ночуют

у костров, питаясь взятой с собой скудной пищей. Когда, наконец, стаял снег, они выбрали себе местечко возле горы у ручья для постоянного жительства: «Гору точию сожительницу и ручей соседа себе избраша».

Молодые пустынники часто ходили к Данилу, который жил недалеко от них. Вместе с пожилым аскетом они пели духовные стихи, молились, беседовали с ним и возвращались домой, все более и более «разгораясь ревностью божественной».

Наконец, видя, что они во всем сходятся, решили перебраться к Данилу, жить с ним вместе и устроить большую избу для новых, приходящих к ним пустынников.

Когда жизнь более или менее устроилась, Андрей отправился в Повенец, поселился у кого-то из друзей и потихоньку подготовил побег своей сестры Соломонии. Старик отец сначала был в страшном гневе, но потом, убедившись, что новое общежительство — дело нешуточное, сам переселился туда вместе с двумя другими сыновьями, Семеном и Иваном.

Не так далеко от Андрея и Данила, по реке Верхний Выг, укрываясь от преследований, жил крестьянин Захарий с семейством, занимался земледелием. Берега реки Выга, хотя и сплошь покрытые еловым и сосновым лесом, были хороши для земледелия. Тут издавна селились пустынники. Так, повыше Захария жил очень почитаемый старец Корнилий, пониже — Сергий.

Однажды на святой Захарию пришлось побывать у Данила и Андрея. Тут ему и пришла счастливая мысль звать их к себе на Выг. Возвратившись к отцу домой, Захарий рассказал про новое общежитие и об их замыслах.

Старику так это понравилось, что они тут же вдвоем и отправились туда на лыжах. Гостей приняли с радостью, каждый день пели духовные стихи и после службы читали священные книги.

Основатели Выговского общежития не сразу сдались на убеждения Захария и решили для опыта послать туда двенадцать трудников сечь деревья и посеять хлеб. Трудники сейчас же и отправились.

Пока они работали на Выгу, случилась беда: в общежитии сгорели все запасы и все постройки. Тогда забрав с собой все, что осталось, они отправились на Выг, где

происходили работы. Данил и Андрей, прежде чем окончательно решиться основать общежитие на Выгу, пошли посоветоваться относительно этого со старцем Корнилием.

Побеседовавши с ними о всех несчастиях и разных переменах в церкви, Корнилий не только советовал им, но настойчиво убеждал и благословлял переселиться к Захарию на Выг. Он предсказывал для Выговской пустыни блестящее будущее: «Места эти распространятся и прославятся во всех концах. По умножении же поселятся с матушками и с детками, с коровушками и с люлечками». Вообще Корнилий был полною противоположностью ученому ригористу фанатику Игнатию, он проповедовал мирный, здоровый труд, простоту, любовь к людям. Когда, вернувшись к братии, Данил и Андрей передали им ответ Корнилия, то все были очень рады. Но скоро пришел и сам Корнилий, чтобы благословить их. Все собрались вместе, помолились и тут же принялись за работу. Так основалось Выговское общежитие (в 1695 году).

Из построек прежде всего поставили столовую и хлебную в одной связи, келии для мужчин и для женщин. Мужчины жили сначала в столовой, а женщины — в хлебной. Богослужение совершалось также в столовой, причем посредине вешалась завеса, разделяющая мужчин и женщин. В это время собралось уже около сорока человек. Но слух о новой обители быстро распространился, и общежитие стало расти. Самое трудное — это было завести постоянную пашню, перейти от неблагодарного подсечного хозяйства к постоянной пашне, к трехполью. Для этого нужно было завести скот, чтобы удобрять постоянную пашню. Мало-помалу это и удалось: устроили двор конный и коровий.

Между женскими келиями и мужскими поставили стену и в ней небольшую келию с окном, где могли бы видеться родственники; вокруг всего монастыря поставили ограду. За отсутствием свечей совершали службу при лучине и вместо колокола стучали в доску.

По мере того как развивалось общежитие, нужно было все больше и больше думать об организации труда и вообще об устройстве новой жизни. Конечно, Андрею было очень трудно спасать свою душу возле горы у ручья, но для юноши-энтузиаста, быть может, такой подвиг был лишь удовлетворением своей потребности. Теперь же

в общежитие стали приходить всякие люди: и сильные, и слабые. Бежать от мира было основной идеей Андрея, но тут возникал новый мир. И этот новый мир нужно было устроить так, чтобы он не походил на старый.

Только что удалось кое-как устроиться, обзавестись всем необходимым для хозяйства, как новая беда постигла собравшихся на Выгу пустынников. Наступили «зяблые и зеленые» годы. На Выгу почти крайний северный предел правильного земледелия, и урожай там целиком зависит от каприза погоды. Подует *морянка*, то есть ветер с моря, хватит во время налива зерна мороз, и весь урожай погибает,— это «зяблые годы». А бывает, что хлеб до зимы не успеет вызреть,— это «зеленые годы». Такие годы, особенно в начале существования общежития, могли быть для него гибельны, потому что запасов еще никаких не имелось. Однажды Андрей даже поколебался и уже решил было идти к морю искать новых мест. Но отец его, Денис, прекратил эти колебания «простой речью»: «Живите,— сказал он,— где отцы благословили и кончалися. Хотя и много ищешь и ходишь, да тут сорока кашу варила, таковское сие место по времени».

Пришлось помириться. Чтобы не умереть с голоду, построили повыше на Выгу мельницу-толчею для изготовления муки из соломы и из сосновой коры. Однако хлебы не всегда удавалось испечь из такой муки: они часто рассыпались в печи, и их выметали оттуда помелом. Наконец, надумали для устранения такого рассыпания хлеба печь их в берестяных коробочках. «И такая скудость бысть тогда, что днем обедают, а ужинать и не ведают что, многóжды и без ужина жили».

Тогда собрали все, чтó у кого было: деньги, серебряные монисты, платье, и отправили Андрея для закупки хлеба на Волге. Частью на вырученные от продажи этого имущества деньги, частью же на подаяние благочестивых, сочувствующих расколу людей Андрею удалось закупить значительное количество хлеба. Он привез его в Вытегру, и оттуда в Пигматку,— место, ближайшее к Выговской пустыни на Онежском озере. От Пигматки носили хлеб в крошнях [1] по лесным тропинкам, потому

[1] Крошни — приспособление для носки тяжестей на спине.

что дороги тогда еще не было. В глухих местах Повенецкого уезда и до сих пор носят хлеб именно таким образом.

Кое-как справились с бедой. И только хотели было вздохнуть свободно, как новое бедствие грозило обрушиться на обитель. Недалеко, всего в пятидесяти верстах, по лесам и болотам проходил с войском Петр Великий.

Обе сплошные стены леса на Сумском тракте в нескольких местах вдруг расступаются, широкая просека, заросшая лишь мелкими чахлыми деревцами, кажется в этой глухой, безлюдной местности следом громадного существа. Ямщик здесь останавливает лошадей и говорит: «Осударева дорога!» И поясняет: «Тут осударь Петр Великий проходил с войсками». Когда это было, он не помнит. «Было давно, никто из стариков отцов, дедов и прадедов не помнит».— «Но почему же не зарастает дорога?» — «А уж этого не знаю,— отвечает ямщик,— видно, уж так определил господь этому быть, и так оно и есть». Какой бы прекрасный, величественный памятник ни поставили бы в этом месте наши культурные потомки, путешественник не будет испытывать того, что теперь, глядя на этот след в диком месте. Потом дальше около Петровского яма покажут вырытую канаву, сложенные камни, ясные признаки привала войск. Еще дальше в глушь, около Пул-озера, где до сих пор не существует никаких дорог и люди ходят пешком по едва заметным тропинкам, укажут затянутый моховым болотом мост, конечно, сгнивший, но все-таки знаменитый. И везде скажут: тут шел осударь, это Осударева дорога.

— А знаешь ли, кто был Петр Великий? — спросил меня один скрытник-пустынник, показывая остатки моста на болоте за Пул-озером. Он опасливо посмотрел мне в глаза.

Я поспешил сказать: «Знаю», и он успокоился. Петр Великий был антихрист, хотел мне сказать пустынник.

Этот антихрист, страшилище всех приверженцев древней Руси, шел по этим лесам и болотам в 1702 году с войском и с двумя фрегатами, которые тащили посуху от самого Белого моря до озера Онега. Это было во время Шведской войны, и Петр Великий во что бы то ни стало хотел отбить вход в Балтийское море из Финского

залива. Карлу XII, конечно, и в голову не могло прийти, чтобы Петр, находившийся с флотом на Белом море, мог провести войско по дебрям Выговского края и затем доставить к крепости Нотебург (Шлиссельбург). Кто видал эти онежско-беломорские дебри, тому мысль Петра могла бы показаться безумной, если бы блестящее осуществление ее не стало теперь историческим фактом. Впрочем, и сам Петр не сразу решился на такой шаг. Сначала он наметил было путь по морю до реки Онеги, затем по Онеге и сухим путем до Новгорода. Для разведок в этом направлении указом 8 июня 1702 года был командирован писарь Преображенского полка Ипат Муханов. Неизвестно, остались ли поиски Муханова безрезультатными, или, быть может, разведки в другом месте дали более хорошие результаты, но только проложение дороги было поручено не Муханову, а сержанту Преображенского полка Михаилу Щепотьеву, тому самому знаменитому «бомбардирскому уряднику», который умер потом геройской смертью под Выборгом. Как известно, он с горстью солдат на пяти малых лодках подкрался к неприятельским кораблям, атаковал адмиральский бот «Эсперен»; на котором находились четыре пушки и сто три человека экипажа при пяти офицерах. Весь экипаж бота был частью перебит, частью заперт под палубой, а бот взят. Но сам Щепотьев при этом погиб и был доставлен домой мертвым на палубе взятого им неприятельского корабля.

Этот Щепотьев приступил к проведению дороги в конце июня. В помощь ему было дано от шести до семи тысяч человек крестьян Соловецкого монастыря, Сумского Острова, Кемского городка, обширного Выгозерского погоста, и, кроме того, крестьяне онежские, белозерские и каргопольские, то есть тут был собран народ из трех нынешних губерний: Архангельской, Олонецкой и Новгородской. Все крестьяне были с лошадьми.

Можно себе представить по этим фактам, чего стоила населению эта дорога! До сих пор в народе сохранились тяжелые воспоминания. В Выговском краю мне рассказывали старики, что для устройства дороги согнали крестьян со всей России.

Щепотьев начал прокладывать свой путь от усолья Нюхчи, где теперь находится селение Вардегора. Тогда там были лишь избушки солепромышленников. Быть

может, эти солепромышленники и помогли Щепотьеву в его разведках, указали ему проложенные ими тропинки. От этого места до селения Вожмасалма на Выг-озере сто девятнадцать верст, из них шестьдесят шесть верст совершенно топких, болотных, непроходимых мест, которые нужно было застилать мостами. Это было самое трудное место для устройства дороги; дальше, по мере приближения к Масельгскому хребту, местность была суше, удобнее. Для того чтобы сделать мосты на топких местах, приходилось в летнее время по болоту возить лес за пять, десять и даже за двадцать пять верст. В то же время нужно было рубить деревья, делать просеки, через речки строить мосты, у Вардегоры и в Повенце пристани. Когда одни делали грубую первую работу, другие, вероятно, приводили просеку в проезжий вид, очищали от камней, пеньев, поваленных деревьев, настилали мосты на топких местах. В августе вся эта колоссальная работа была уже закончена, Щепотьев доносил государю из Повенца: «Извествую тебя, государь, дорога готова и пристань и подводы и суда по Онеге готовы, а подвод собрано по 2-е августа 2000, а еще будет прибавка; а сколько судов и какою мерою, о том послана к милости твоей роспись с сим письмом».

16 августа вечером, под начальством Крюйса, к усолью Нюхче с Соловецкого монастыря пришел флот и остановился частью под горою Рислуды, а частью у Вардегоры. К последней пристали на двух малых фрегатах, которые предполагали взять с собой. Пустынный край оживился. На берегу был государь с царевичем Алексеем и многочисленной свитой, духовенство, пять батальонов гвардии (более четырех тысяч человек) и множество рабочих с подводами. Пока разгружали корабли, государь угощал соловецких монахов, подносивших ему образ святителей соловецких. В то же время было получено донесение о победах Шереметева и Апраксина. Наконец, когда была окончена разгрузка кораблей, начался знаменитый поход через онежско-беломорские дебри: фрегаты были поставлены на полозья, и к каждому было определено по сто лошадей и подвозчиков и по сто человек пеших. Для удобства передвижения под фрегаты подкладывались катки. Государь, свита и духовенство, конечно, ехали, вероятно, частью в местных одноколках, а частью верхом. Места остановок назывались *ямами* и сохранили до

сих пор это название. Слово *ям* здесь употребляется, вероятно, в смысле остановки. Для государя и для свиты на местах ночлега ставились зимушки, а народ ночевал кто у костров, а кто взбирался на помосты на деревьях — ловасы. По преданию, Петр не любил ночевать в зимушках и больше все был на свежем воздухе...

Нужно думать, что Щепотьев сделал дорогу лишь в грубом виде и что работы по очистке дороги производились во время похода. Вот почему углублялись в дебри медленно, шаг за шагом, днем работали, мокли в воде и грязи, а ночью дрогли в мокрой и холодной одежде. Рассказывают, что у Нюхчи, а потом и везде по ямам «первую мостовину, благословясь, клал сам осударь, вторую давал класть сыну своему возлюбленному, а там и бояр на это дело потреблял». Чтобы избежать тридцативерстного обхода Выг-озера, из лодок и плотов навели через пролив плавучий мост и переправились через реку Выг в пятидесяти верстах от Даниловского общежития. Дальнейший переход через Масельгский хребет к Повенцу был несравненно легче: здесь местность более сухая, лесистая, здесь, наконец, проходил и путь соловецких богомольцев. Можно предположить, что, когда шли по берегу длинных узких озер, фрегаты спускали на воду. В Повенец прибыли 26 августа, пройдя в десять дней сто восемьдесят пять верст. Отсюда Петр писал польскому королю Августу: «Мы ныне в походе близ неприятельской границы обретаемся и при помощи божией не чаем праздно быть». Отсюда же он послал Репнину указ о сосредоточении его отряда под Ладогою «без замедления». Немало осталось тут народа в лесах, но результатом похода было взятие Шлиссельбурга. «А сим ключом,— говорил Петр,— много замков отперто». Весной следующего после похода 1703 года был основан Петербург.

Когда Петр Великий, в котором раскольники видели антихриста, появился в выговских дебрях, то их охватил такой ужас, что некоторые хотели бежать, а некоторые, по примеру отцов, принять огненное страдание. В часовне уже были приготовлены смола и хворост. Все пребывали в неустанной молитве и посте.

При переправе через Выг Петру, конечно, донесли, что тут недалеко живут раскольники.

— А подати платят? — спросил он.

— Подати платят, народ трудолюбивый,— отвечали ему.

— Пусть живут,— сказал Петр.

«И проехал смирно, яко отец отечества благоутробнейший»,— радостно повествует скоропишущая трость Ивана Филиппова.

Точно так же и против Пигматки донесли Петру о пустынниках, но он опять сказал: «Пускай живут». «И вси умолчаша, и никто же смеяше не точию что творить, но и глаголати».

Но Петр не забыл о пустынниках. Вскоре в Повенце был князь Меншиков для устройства железоделательного завода. Место завода было выбрано возле Онего на реке Повенчанке, а в Выговскую пустынь был послан указ, в котором говорилось: «Его императорскому величеству для Шведской войны нужно оружие, для этого устраивается завод, выговцы должны исполнять работы и всячески содействовать заводу, а за это им дается свобода жить в Выговской пустыни и совершать службу по старым книгам».

Пустынники согласились. Это была первая крупная уступка миру, ради удобств совместной жизни. Раскольники должны были изготовлять оружие, которое прокладывало путь в Европу. Этим они покупали свободу. «И с того времени начала Выговская пустынь быть под игом работ его императорского величества и Повенецких заводов».

Петр вообще не стеснял раскольников. Отчасти ему не было времени этим заниматься — он был поглощен войной, отчасти же смотрел практически и извлекал из них выгоду, обложив особой податью «за раскол». Лишь в 1714 году он переменил к ним отношение, когда узнал из донесения митрополита Питирима, что в нижегородских лесах раскольников до двухсот тысяч, что они государственному благополучию не радуются, а радуются несчастию, что за царя они не молятся и так далее. В это же время Петр, занятый розыском по делу царевича Алексея, узнал, что у него в деревне живут раскольники и все они любят его. Ввиду всего этого он предписал: «Учителей раскольничьих буде возможно, вину сыскав, кроме раскола, с наказанием и вырвав ноздри ссылать в каторгу».

Но, пока было свободно, сотни тысяч людей, устрашенных, обездоленных реформами, бежали в пустыни и устраивали жизнь по старинным русским законам. Пустынь была тем клапаном, который предохранял народ от тяжести петровских реформ.

Беглецы стали населять и выговские пустыни. Стали «собираться и поселяться на болотах, по лесам, между горами и вертепами и между озерами в непроходимых местах, скитами и келиями, где кому возможно».

В общежитие принимали всех без разбору и спрашивали только: помнит ли приходящий Никона. Тех, кто помнил, принимали прямо; кто родился после Никона и крестился двумя перстами — исповедовали и перекрещивали, а кто крестился тремя перстами — сверх того обязывали креститься двумя.

Общежитие так быстро росло, что в 1706 году решили устроить отдельный скит для женщин. Место выбрали в тридцати верстах от Данилова, на реке Лексе. Выстроили кельи, столовую, больницу и часовню и все это обнесли оградой. Кроме того, были поставлены коровий двор и мельница с «мелеей и толчеей». Для более тяжелых полевых работ на Лексу присылались трудники, которые жили за монастырской стеной. В то же время в Данилове были устроены маслобойная и молочная, портомойня и челядная. Все это, вместе с коровьим двором, было обнесено оградой,— здесь жили женщины.

Но сколько ни старались выговцы устроиться прочно, им это не удавалось. Время от времени повторялись «зяблые и зеленые годы», которые повергали всех в отчаяние, потому что каждый раз приходилось питаться сосновою корою, соломою и даже травою. После ряда неурожаев Андрей решил уничтожить самую возможность голодовок. С величайшей энергией пустынники начинают разыскивать себе удобной земли. Они побывали в Мезенском уезде, осмотрели Поморье, побывали в Сибири, побывали на «низу», то есть в поволжских губерниях. Но на севере была такая же неудобная для земледелия земля, а на низ было слишком далеко. Наконец, остановились на казенной земле в Каргопольском уезде в Чаженке и купили ее с торгов. Земли было много, по шестнадцати верст во все стороны, и она была такая удобная, что выговцы подумали даже туда переселиться. Послали даже Семена Денисова в Новгород похлопотать о разре-

шении. Но в Новгороде Семен был арестован как расколоучитель, и попытка окончилась неудачно. Пришлось ограничиваться лишь посылкой туда трудников во время полевых работ.

Эта земля стала огромным подспорьем. Теперь уже можно было жить, не думая о зяблых годах. Стали прокладывать дороги, строить мосты. В Повенецком уезде и до сих пор поминают добрым словом всякого, кто повалит несколько деревьев и уложит их через топкую моховину или из тех же деревьев на ручье устроит мостик. А тогда, при полном отсутствии дорог, деятельность общежития была благодеянием для края. Проложили дороги из Данилова на Чаженку и Лексу, Вол-озеро, Пурн-озеро, к Онежскому озеру, к Пигматке и к Белому морю. Везде при дорогах ставили постоялые дворы, кресты и верстовые столбы, на Онеге, Выгу, Сосновке и других реках устроили мосты. В самом же общежитии выстроили новую большую столовую с кухней для печения хлеба, а также большую избу для извозчиков, новые большие мастерские: кожевню, портную, чеботную, мастерскую для живописцев, кузню, меднолитейную и другие. Выстроили также большую конюшню с сараем для экипажей, несколько амбаров, рабочую избу. Наконец, поставили большую избу для Андрея с семейством и для близких ему лиц, другую избу — портовому приказчику с товарищами «для приезда» и «для счету».

Последнее указывает на то, что в это время общежитие имело значительную торговлю.

Эта мысль, вероятно, пришла Андрею в голову, когда он ездил на низ в неурожайные годы за хлебом. Как раз в это время строился Петербург, и сотни тысяч людей постоянно нуждались в хлебе и хорошо за него платили. Попробовали доставить хлеб с поволжских губерний через Вытегру в Петербург. Дело оказалось выгодным. Тогда завели свои суда, свои пристани на Вытегре и на Пигматке. Суда ходили по Онежскому озеру между Вытегрой, Пигматкой и Петровскими заводами, ходили и в Петербург. Данилов стал богатеть, скопился капитал, запасы хлеба, устраняющие всякую возможность голодовок.

К концу жизни Андрея Данилов процветал. Вокруг него по *сузёмку* были пашенные дворы, множество лошадей и коров стояло на его конных и коровьих дворах, на

Онежском озере была целая флотилия судов. Широкая благотворительность далеко по всей стране разносила славу этого «беспоповского Иерусалима». Насколько прочно было положение общежития, можно судить из того, что пожар, совершенно уничтоживший Лексинский скит, не нанес существенного ущерба общежитию. В скором времени были возведены новые постройки, причем Андрей, несмотря на свои постоянные умственные занятия, как чисто теоретические, богословские, так и практические, по наблюдению за внешней и внутренней жизнью общежития, вместе со всеми работал на постройке.

В сущности Данилов представлял собою тогда небольшой городок. В нем было несколько сот жителей на пространстве шести — восьми квадратных верст. Вокруг него был вырыт глубокий ров и сделаны высокие ограды. Две высокие часовни с колокольней возвышались из множества простых, но прочных двух- и трехэтажных построек. Всех келий, то есть вместительных изб на десять и более человек, было пятьдесят одна; кроме того, было шестнадцать меньших изб, пятнадцать амбаров, громадные погреба, две большие поварни, двенадцать сараев, четыре конных двора и четыре коровьих, гостиный двор и пять постоянных изб, пять риг, две кузницы, меднолитейная, смолокурня, портняжная, сапожная, иконописная, рукодельная, мастерская для переписчиков и другие мастерские, две школы и две больницы. Затем были мельницы, кирпичные заводы,— одним словом, все, что необходимо для городской жизни. К этому центру тянулись разбросанные по суземкам многочисленные пашенные дворы и скиты.

Все это раскольничье общежитие выросло на почве протеста старого мира новому, вот почему его общественное устройство представляло образец старинного русского самоуправления. Во всех важных случаях представители множества скитов Выгореции собирались вместе. В исключительно важных случаях к ним присоединялись выборные и старосты соседних с Выгорецией волостей. Что же касается исполнительной власти, то тут главная роль принадлежала представителям Данилова, духовно-религиозного центра, хотя во внутреннем устройстве скиты Выгореции пользовались полной самостоятельностью. В этом отношении особенно тщательно были разработаны формы Даниловского общежития, с которыми

отчетливо знакомит нас «Уложение» братьев Денисовых.

Во главе общины стоял большак, он назывался киновиарх. Ему принадлежала верховная руководящая роль и власть над всеми другими выборными должностными лицами. Он выбирался из людей выдающихся качеств. Сначала эту должность выполнял Данил, потом Андрей и Семен Денисовы. Киновиарх, однако, был подчинен в свою очередь *собору,* то есть общему собранию даниловцев и представителей Лексы.

За большаком «Уложение» разграничивает обязанности келаря, казначея, нарядника и городничего. *Келарь* заведовал внутренним хозяйством общины, он должен был наблюдать четыре службы: трапезную, хлебную, поварную и больничную. *Казначей* должен был тщательно беречь все выговское имущество и, по «Уложению», смотреть на него как на вещи, принадлежащие самому богу. В кожевнях, в чеботной и портной швальнях, в медной и других мастерских он наблюдал за работами. В помощь ему во всех мастерских были старосты. Казначей мог действовать только через старост; с другой стороны, и старосты не могли что-либо предпринимать без ведома казначея.

Ведению и попечению *нарядника* подчинены были: земледелие, плотничество, ковачество, рыболовство, возачество, молочение, мельницы, скотные дворы и всякая домовая работа и работные люди. Он также действовал через выборных старост.

Наконец, *городничий* обязан был иметь надзор над сторожами, над обеими гостиными — внешнею и внутреннею, наблюдать над приходящими и отходящими странниками, посматривать за братиею при часовенных дворах, во время книжного чтения, в келиях и при трапезе. Кроме этих должностей, были стряпчие для сношения с официальным миром: на Петровских заводах, в Олонце, в Новгороде, Москве и Петербурге.

Вместе с хозяйственной стороной развивалось и духовное просвещение братии. В этом отношении, как и во всем остальном, общежитие обязано все тем же четырем выдающимся людям, которых историк характеризует так: «Данил — златое правило Христовы кротости, Петр — устава церковного бодрое око, Андрей — мудрости мно-

гоценное сокровище. Симеон — сладковещательная ластовица и немолчные богословские уста».

Но неизмеримо большее значение из всех этих вождей имел Андрей. Он сочетал в себе удивительно разнообразные способности. Вначале юноша-энтузиаст, потом и ловкий торговец, и блестящий оратор, и ученый богослов, и писатель. Его не удовлетворяло то, что обитель имела за собою «срытые горы», «расчищенные леса», монастырские здания, благочестивую братскую жизнь, обширные связи при дворе и в самых отдаленных городах России. Он хотел также раздвинуть и умственный горизонт раскольников посредством систематического школьного образования. Имея обширные связи, находясь постоянно в общении с миром, он чувствовал недостаточность своего образования, полученного от начетчика Игнатия. Вот почему, когда материальное существование братии было более или менее обеспечено, он под видом купца проникает в самое сердце вражеского стана, рассадника ереси, в Киевскую академию, и там учится богословию, риторике, логике, проповедничеству под руководством самого Феофана Прокоповича. Свои знания Андрей передавал брату Семену и некоторым другим близким лицам непосредственно; кроме того, им написано множество сочинений. Между прочим, он является и автором знаменитых «Поморских ответов». Вообще его значение как образованного человека, знатока древнерусской письменности, было очень велико; есть указания, что он имел сношения и с иностранцами; достоверно известно, что его знали в Дании.

Основанные Андреем школы играли огромную роль в раскольничьем мире. Сюда раскольники привозили своих детей для обучения со всех концов России. Особенно много привозилось сюда девочек, которые обучались здесь грамоте, письму, пению, домохозяйству, рукоделию. Эти *белицы* жили в особых избах, которые им строили богатые родители.

В больших светлых комнатах псалтырной постоянно переписывались старинные книги и новейшие произведения раскольничьей литературы. Отсюда они расходились по всей России. Библиотека Даниловского скита, которую с величайшей энергией собрали раскольники при своих поездках, представляла богатейшее собрание русских церковных древностей. Вместе с материальной

обеспеченностью и умственным развитием в Данилове развивалось и своеобразное искусство. Иконы даниловского письма высоко ценятся знатоками. Литые кресты и складни из серебра и меди паломники Данилова разносили по всей России.

И все это удивительное создание самостоятельного народного духа, просуществовав более полутораста лет, погибло без следа. Картину прежнего величия можно себе нарисовать теперь лишь с помощью книг, рассказов стариков, свидетелей прежнего благополучия, наконец по множеству вещей, икон, рисунков, книг, которые встречаются особенно часто у заонежских крестьян. Эти даниловские вещи находили даже за тысячи верст, на далекой Печоре...

На месте когда-то цветущего городка теперь жалкое село-волость; в нем есть православная церковь, живут попик, и диакон, писарь, старшина. Можно и не обратить внимания на полуразрушенные ворота на берегу Выга, несколько раскольничьих могил на кладбище и несколько старых даниловских домов. Впрочем, старичок Лубаков, бывший когда-то, кажется, нарядником, а теперь по традиции называемый большаком, может еще порассказать о былой славе Выгореции: со слезами передает он путешественнику о всех ненужных жестокостях при разрушении народной святыни.

Вообще нельзя сказать, что́ было труднее раскольникам: победить ли суровую природу Выговского края, или уметь избегнуть падения постоянно висевшего над ними дамоклова меча в лице правительства.

И вначале правительство имело некоторые основания преследовать раскольников: они не молились за царя, увлекали в раскол народ, укрывали беглецов. Как известно, беспоповцы порвали радикально с миром Никоновых новин. Ожидание близкой кончины мира, невозможность найти попов, помазанных до Никона, наконец северная глушь, где народ издавна привык обходиться без попов,— все это вместе привело к тому, что эти раскольники отвергли таинства, исповедовались старцам, крестили детей сами, не признавали брака.

Такая замкнутая группа людей, хотя и в дебрях лесов и болот, но с огромным влиянием, конечно, должна была

смущать правительство. Вот почему у историка Филиппова, мы постоянно читаем главы «о поимке» Семена, Данила и других злоключениях. Но аскетическая монастырская идея, заложенная Андреем и Данилом в основу общежития, постепенно, по мере вживания раскольников в общую жизнь, как бы облекалась плотью и кровью, входила в неизбежные компромиссы с миром. По приказу Петра раскольники изготовляли оружие для войны. Потом, во время господства иноземцев при Анне Иоановне, когда на выговцев посыпался целый ряд правительственных кар, они согласились даже молиться за царя. То же и относительно брака. При невозможности устранить соприкосновение «сена» с «огнем» решено было желающих вести семейную жизнь отправлять в скиты, а потом и вовсе признали брак. По мере того как выговцы богатели, они теряли совершенно характер мрачных аскетов. Вот почему на всем протяжении короткой истории общежития поморского согласия от него отделился целый ряд более радикальных беспоповских фракций: федосеевцы, филипповцы и другие.

Из этих жизненных фактов, казалось бы, сама собою должна вытекать немудреная политика и по отношению к выговцам. Правительство иногда понимало это. Особенно хорошо жилось раскольникам во время царствования Екатерины II. В это время был даже уничтожен установленный Петром I двойной оклад податей. По этому поводу один из современников Екатерины пишет: «Прежде все раскольники платили двойной оклад, но в наш благополучный век, когда совесть и мысль развязаны, двойные подати с них уничтожены».

Благополучно просуществовала Выгореция вплоть до суровых николаевских времен, когда, совершенно не считаясь ни с интимными сторонами народного духа, ни с экономическим значением общины в таком глухом краю, правительство ее уничтожило. Дамоклов меч опустился именно тогда, когда раскольники были только полезны.

На протяжении всей этой драмы разорения скитов можно проследить борьбу министерства внутренних дел с министерством государственных имуществ. Последнему министерству было выгодно существование богатого общежития, и оно боролось, пока могло, но, наконец, усту-

пило, и общежитие было разрушено самым варварским способом. Сначала под предлогом «округления дачи», а на самом деле просто для удобства надзора отобрали лучшие земли на Выгу, потом переселили на Выг православных крестьян, отпущенных одним псковским помещиком на волю без земли в надежде, что они сплотятся в борьбе с «сими отдаленными племенами».

7 мая 1857 года, как рассказывает Е. Барсов, «выговцы собрались вечером в часовню на всенощную ко дню Иоанна Богослова. Большак вынес из келии свою икону, чтобы петь перед ней величание; в это время чиновник Смирнов, со становым приставом, волостным головой и понятыми, явился в часовню, объявил собравшимся, чтобы прекратили служение и вышли вон; потом запечатал часовню и приставил к ней караул». Наутро «целые горы икон, крестов, книг, складней были навалены и увезены неизвестно куда». Говорят, что чиновники нарочно садились на воза, чтобы показать свое презрение к тому, на чем сидели. Часовни и другие здания потом были сломаны на глазах раскольников.

— А слышали вы,— спросил я старика-раскольника, о манифесте, данном семнадцатого октября, о свободе совести?

— Как же, слышали, слышали,— отвечал старик,— спасибо государю, он милостивый.— А потом в раздумье прибавил: — Да только на что ж теперь свобода? Теперь уж нам не подняться.

Один из путешественников (Майонов) обратил внимание на одну старушку на Карельском острове, Любовь Степановну Егорову, дочь последнего большака. Он упоминает в своих путевых очерках о ней как о мастерице петь былины, и только. Другой путешественник (Н. Е. Ончуков) в самое последнее время (1903) приобрел написанный ею дневник (пока неизданный) и посвятил памяти умершей уже старушки в своем описании несколько теплых строчек. Наконец, мне хочется на основании того, что я узнал из рассказов обитателей Карельского острова, установить, что с именем этой замечательной женщины связан и конец Даниловского раскола в Выговском краю. Даниловский раскол доканчивал свое существование на Карельском острове в моленной Любови Степановны Егоровой.

На Карельском острове, прямо против той избы, где мне пришлось жить, из группы высоких елей выглядывает темная своеобразная крыша часовни. Возле часовни под елями в беспорядке торчат столбики с врезанными в них крестами или медными складнями. Некоторые столбики повалились, из некоторых выскочили кресты и складни. Вообще на кладбище беспорядок, нет ничего, что указывало бы на связь умерших людей с живыми.

Совсем другое в часовне: там у старинных икон, обвешанных белыми полотенцами, у старинных книг, аккуратно сложенных на столике, угадывается заботливая любящая душа. Тут лежат подобранные на кладбище кресты и складни, там остатки свечей, кадило — все в величайшем порядке. На кладбище — беспорядок, небрежность, презрение к человеку, в часовне следы любовного отношения ко всему, что связано с богослужением, с богом. Очевидно, это раскольничье кладбище и часовня.

Прежде чем передать здесь, как оканчивал свою жизнь Даниловский раскол на Карельском острове, я позволю себе сказать несколько слов о значении вообще часовни на Севере, этой невзрачной на вид, полуразрушенной с внешней стороны церкви, полной в то же время внутренней религиозной жизни.

Некоторые исследователи, изучая такие часовни и северные деревянные церкви, находят черты самобытности в русском зодчестве. Утверждают, что как бы ни было сложно русское хоромное строение или храм, в основе их всегда можно найти клеть, то есть известной ширины и вышины четырехугольный сруб из бревен, положенных друг на друга в несколько рядов, или венцов, и связанных по углам. На нашем Севере можно проследить, как эта клеть, смотря по надобности, превращается то в избу, то в часовню, то в церковь и, наконец, в сложное хоромное строение.

Все это припомнилось, когда, по дороге из Повенца в Данилово, в деревне Габсельга я наблюдал там маленькую старинную церковь. Она представляет из себя самую обыкновенную избу, связанную из двух клетей. У одной клети, под шатровым покрытием, висит колокол — это колокольня. На противоположном конце избы, над второй клетью возвышается покрытие бочкою, как для большей красы покрывали в старину терема. В этой

части избы происходит богослужение — это и есть собственно церковь.

Такие часовенки сохранились здесь часто с очень отдаленных времен и возникли благодаря своеобразным природным условиям. Здесь в суровом климате с бесчисленными озерами, реками, лесами, болотами священник не мог вовремя явиться для совершения обряда и народ обходился без священника, выбирая из своей среды благочестивого человека для совершения обряда. Вот почему беспоповский раскол так легко был усвоен населением Севера, кажется даже, будто это учение именно и развилось благодаря таким своеобразным природным условиям. Вот все это и вело к тому, что на Севере вместо церквей стали распространяться часовни.

Каждое воскресенье я видел из своего окна на Карельском острове, как солидный религиозный Иван Федорович, выбранный обитателями острова на должность хранителя часовни, совершенно так же, как это делалось и двести и триста лет тому назад, шел в часовню и звонил в небольшой колокол. Мало-помалу в часовню собирались одетые по-праздничному «ловцы». Иван Федорович зажигал свечи, брал в руки кадило, и, подходя к каждому присутствующему, кадил их кресты, вынутые для этого случая из пазухи. Так — по воскресеньям. Но в большие праздники, как, например, в Петров день, с погоста на лодке приезжал батюшка. Он служил уже по всем правилам, как в православной церкви, а благочестивый Иван Федорович становился возле батюшки и с величайшим благоговением выполнял обязанности псаломщика и дьячка.

Иван Федорович, внук последнего большака Даниловского общежития Степана Ивановича, сын замечательной женщины, последней деятельницы раскола Любови Степановны, а батюшка православный, назначенный епархиальным начальством священник. Так в этой тесной часовенке, в глухой деревеньке время соединило когда-то непримиримые начала русской духовной жизни [1].

Раз, проезжая через одну деревню, я спросил у собравшегося народа на улице, где живет батюшка.

— А куды тебе с батюшкой,— сказали мне,— не ходи к нему.

---

[1] Автор, конечно, не придает этому факту общего значения.

Оказалось, что батюшку не любят, он скупой, странников не принимает, пьет, курит. И вот, чтобы как-нибудь показать свое неудовольствие, вся деревня сговорилась не ходить к обедне. А раньше, когда был в той же деревне какой-то удивительной доброты священник, все ходили в церковь постоянно. Выходит так, что местное население на распутье, примкнет оно к православию или будет пользоваться остатками раскольничьих традиций, зависит от личности священника.

Вот, например, пожилой человек, лет шестидесяти, на Карельском острове он называет себя православным, но на самом деле совершенно равнодушен к религии. Отец его был старовером.

— Почему же перешел в православие? — спросил я его.

— Да так... Неловко как-то. Соберутся к празднику, а ты ешь, пей из своей чашки. Теперь жизнь такая, нельзя быть старовером. Первое дело, как покойников спрячешь? Нужно заявить попу, а заявил, вот тебе и конец. Отец и мать были староверами, а я перешел... Случай был со мной, чуть не засудили. Поехал я в Крещенье в Шуньгу на ярмарку с рыбой. А мамаша — старушка хворая была, без меня и помри, царство ей небесное. В то время у нас многие хоронили без попа, да и теперь, кто подальше от погоста, хоронят. Бывало, помрет кто, сейчас к попу на покор: так и так, батюшка, помер родитель, хочу схоронить. Знать же надо попу, куда пропал человек. Ну, поп возьмет у нас там сколько полагается на бутылку ли, на две, тем дело и кончалось. А как я уехал, так некому было сходить к попу. Приезжаю: матушка в могиле, а в избе поп сидит, десятский, понятые. Так и так, говорю, батюшка, виноват, рыбу продавать ездил. Слышать ничего не хочет. Мы тебя, говорит, для примера в Сибирь сошлем. А десятский-то шепчет: «Сходи, Гаврила, принеси ему бутылку». Я сходил, да несу на виду, чтобы видно было. Увидал поп бутылку. «Десятский, говорит, и вы, понятые, ступайте, мы потом дело решим». Выпил бутылку, сел в сани и уехал.

Это было давно. Про теперешнего же батюшку, того самого, который на Карельском острове служит по праздникам вместе с Иваном Федоровичем, никто худого слова не скажет. С этим молодым, искренно религиозным, но болезненным священником мне удалось близко позна-

комиться и узнать много интересного. Вот его коротенькая биография.

Первое время, попав прямо из семинарии в центр раскольничьей культуры, он решил вступить в борьбу. Он поставил себе задачу на первых порах, хотя это было совершенно невозможно в таком громадном районе, лично встречать каждого родившегося и провожать каждого умершего человека. Приход его раскинут на громадном пространстве, некоторые деревни лежат в глухих местах, окруженные едва проходимыми болотами, реками и озерами. По едва заметным лесным тропинкам, постоянно спотыкаясь о лежины, сушины и пни или по колено вязнув в топких моховинах, этот болезненный человек проходил десятки верст от деревни к деревне. За ним носили подвижной храм, когда нужно было совершать богослужение. Раз он встретился с медведицей, раз на озере в бурю разбило лодку и выкинуло его на берег, раз провалился он на озере под лед. Наконец, он понял, что в таком приходе задача его невыполнима. Чтобы обратить внимание на это, он подал жалобу на одного раскольника, похоронившего ребенка без его ведома.

Этим шагом он, конечно, восстановил против себя население, но делу не помог. Приехал владыка, убедился, что исполнять обязанности священника в таком приходе невозможно, и дал слово, что приход будет разделен на два. Но владыка умер или его перевели, а приход по-прежнему остался неразделенным.

Пришлось помириться, смотреть сквозь пальцы на раскольников и отпевать уже похороненных людей. Стало жить легче, проще, население стало относиться хорошо.

— А знаете,— говорил он мне,— я теперь убедился, что в нравственном отношении раскольники куда, куда нас выше... И сравнить нельзя!..

Иван Федорович — хранитель часовни на Карельском острове — сам по себе не представляет ничего особенного. Это солидный, религиозный, очень скромный человек. Впрочем, в биографии его можно бы указать то, что он с одной пешней [1] выходил на медведя. Но мать его,

[1] Пешня — орудие вроде лома, употребляется для пробивания льда во время рыбной ловли зимой.

Любовь Степановна Егорова, была по здешним местам очень значительной женщиной. Когда был окончательно разорен Даниловский скит, то центр раскола перенесся благодаря ей на Карельский остров и тлел здесь, как искорка, десятки лет, пока совершенно не погас.

Любовь Степановна была дочерью последнего даниловского большака Степана Ивановича, уроженца Каргопольского уезда. Еще в детстве он пришел в Данилов, начал с пастуха и благодаря своим способностям достиг степени большака. Дочь его Любовь выросла при монастыре и, по-видимому, усвоила себе все, что могла дать раскольничья культура женщине.

Она перечитала множество книг в монастырской библиотеке, знала прекрасно рукоделье, рисовала на пергаменте акварелью, вышивала шелком рисунки, сочиняла стихи. В числе рисунков, взятых одним исследователем у сына ее Ивана Федоровича, был такой: в глубине леса виднеется домик, на полянке стоят две женщины, внизу стихи:

О дружба, жизни украшенье,
Дар лучшим смертным от небес,
Ты съединяешь разлученных,
Отчаянных миришь с судьбой,
Улыбку возвращаешь скуке...

Любовь Степановна вышла замуж за старшину Даниловской волости Федора Ивановича, вскоре переехала с ним на Карельский остров и в этой трущобе провела всю свою жизнь, терпя иногда великую нужду. После полного уничтожения скита вокруг нее собрались все выговские староверы, у нее наверху была моленная, где хранились укрытые при разгроме вещи: иконы, книги и т. п. Рассказывают, что однажды зимой из Данилова к Любови Степановне привезли вещи на семи подводах. Вслед за тем на Карельский остров нагрянула «комиссия», как здесь называют всякую группу время от времени приезжающих сюда из-за озер и лесов чиновников. Но отец успел предупредить Любовь Степановну, и все вещи были вовремя спрятаны на островах. Крестьяне, конечно, не выдали и на допросе отвечали: «Знать не знаем и ведать не ведаем». Комиссия уехала ни с чем.

Но дела Любови Степановны с тех пор как-то пошатнулись, жить стало нечем. Решили продать ценные книги

в Поморье, Федор Иванович выпросил у кого-то лошадь и повез даниловские драгоценности. Но на озере лед под ним провалился, и потонули не только все вещи, но и лошадь. Вот тогда-то и началась настоящая нужда. Но и тут замечательная женщина не теряла присутствия духа. При всех невзгодах она заботливо воспитывала детей, а главное, продолжала и сама жить и развиваться духовно. Еще до замужества она начала писать дневник и продолжала его вести всю жизнь. В этом дневнике, частью написанном стихами, заключается много ценного материала для выяснения тех настроений, которые существовали в скитах ко времени их закрытия.

Внутренняя работа религиозной мысли, по-видимому, не угасала в ней до конца жизни. Иначе чем же объяснить, что она под конец перешла в православие[1]. Говорят, последние годы своей жизни старушка целые дни проводила в школе грамоты на Карельском острове. Мне рассказывала учительница этой маленькой школы, что слушание уроков было для нее священнодействием. Она следила за всеми мелочами преподавания, выучилась читать по новым книжкам, все учебники знала чуть ли не наизусть.

Быть может, в воображении этой старушки раскольницы, когда она вслушивалась и вдумывалась в светское обучение, на этом глухом острове развертывалась широкая, свободная, не стесненная расколом жизнь...

И вот она кончила тем, что перешла в православие.

СКРЫТНИКИ

В глухих, еще не тронутых топором лесах Архангельской губернии, в этих «пустынях» живут поодиночке в маленьких избушках или же небольшими группами пустынники, которые называются здесь скрытниками, или странниками. Полесник иногда наткнется на такую избушку в лесу у озерка, постучится, войдет. Живет старичок или старушка, висят темные образа, старинные книги лежат на полочке, у стены кровать. Бывает и не-

[1] Автор, склонный смотреть на староверство, как на усиленное православие, противополагает ему «раскол» лишь в условном значении.

сколько избушек, иногда маленький огородик, где растет картофель. Полесник летом отдохнет у избушки, зимой обогреется. Он хорошо знает, что у этих людей нельзя спрашивать, кто они и откуда. Но по здешним местам это даже и не удивит никого. Живут себе люди, скрываются, спасаются.

Эта странническая секта стремится воспроизвести ту самую жизнь, которой жили первые выговские пионеры. Их учение так похоже на учение тех аскетов, что кажется, будто бы и не было столетий опыта. Словно этих старцев рубка леса испугала и заставила перейти в более глухие места. Подойдет бревенная вывозка сюда, и они уйдут еще глубже в Архангельские леса вместе с медведями, лосями и оленями.

Хотя Выговская пустынь уничтожена и недавно, но выговцы, или поморцы, давно уже не были господами всей беспоповщины. По мере того как они вживались в общую жизнь и шли на соглашение с окружающей средой, от них отделялись те, которые не шли на уступки и основывали новые секты.

Прежде других отделились федосеевцы. Разногласие вышло из-за брака. Устроители Выговского общежития, как известно, приняли монастырский устав: члены общежития должны были всю жизнь оставаться безбрачными. Но хорошо это было выносить первым идейным и сильным аскетам, когда между идеей и жизнью оставалось лишь истощенное, изможденное веригами и постом тело. По мере же того, как гонения ослабевали, в общежитие со всех сторон стал стекаться обыкновенный люд, который искал лишь точки опоры, занятий. Удержать от соединения «сена с огнем» стало невозможно. «И у нас, в Выговской пустыне,— пишет Иван Филиппов,— стали умножаться грехи беззакония и всякие неправды, их же и писати невозможно срама ради». Андрей Денисов, как человек очень практический, сохраняя монастырский устав в самом Данилове, стал отсылать брачущихся в скиты, а после него мало-помалу поморцы и вообще признали брак. Но другая группа беспоповцев, с Феодосием во главе, не пошла на соглашение и, не признавая брака в принципе, на деле допускала вопиющие отступления. Вместе с вопросом о браке было, конечно, много и других разногласий, разделивших беспоповщину на два враждебные толка,— поморцев и федосеевцев. Много

было споров и доказательств с обеих сторон. Из всех этих попыток разрешить величайший жизненный вопрос замечательно учение Ивана Алексеева. Так, желая доказать, что беспоповщинская церковь должна признавать браки, венчанные в никонианской церкви, он рассуждает так. Брак отличается от других таинств тем, что в нем передача благодати не связана необходимо с совершением известного обряда. Потребность плодиться и размножаться заложена самим богом в природу живых существ. Сущность таинства и составляет эта заложенная богом потребность в связи с любовным согласием брачущихся. «Церковное действо» есть только формальность, простой «общенародный обычай», дающий браку «общенародное согласие», а иерей лишь свидетель союза от лица общины. Раньше, независимо от всякого «чина», действовал «закон естественный», а потом, чтобы сделать брак прочным, появился «закон писаный» и вместе с тем «чин». Это сознавала и древнехристианская церковь, которая не повторяла таинства брака над семейными людьми, переходившими в нее из других вер. Беспоповская церковь должна следовать этому примеру и признавать браки, венчанные в никонианской церкви, что есть лишь публичное засвидетельствование брака, а самое таинство совершается богом и «взаимным благохотением жениха и невесты».

Иван Алексеев, однако, при своей жизни не мог провести свою идею. Лишь мало-помалу его учение было усвоено в Выгореции, и образовались два толка: поморский — брачущихся и федосеевцев — девственников. Третий толк филипповцев возник в то время, когда выговцы, под давлением правительства, принуждены были признать молитву за царя. В это время Филипп, основатель толка, бросил кадило и вышел из часовни с своими последователями. Он стал проповедовать, что не только Петр, но и все последующие за ним императоры русские — антихристы. А когда его стали преследовать, он сжегся с своими учениками. На пепле сгоревших возник самый мрачный и непримиримый толк беспоповщины — филипповский.

Но, вероятно, в самой жизни уже не было тех условий, которые создали когда-то раскольничье учение. Не успевал возникший толк просуществовать некоторое время, как начинал уже дробиться на новые и новые фрак-

ции. Дело дошло до того, что в настоящее время в Поморье, как мне рассказывали, в одной и той же избе и семье на печке лежит представитель одного толка, а на лавке сидит — другого.

Очевидно, «в мире» не было места всем этим учениям. Нужно создать такое учение, которое бы исключало всякую возможность соглашения с «миром». Нужно сделать так, чтобы в миру человеку не было никакой возможности укрепиться, устроиться, отнять у него возможность долго оставаться с людьми; нужно, чтобы он вечно переменял места, вечно странствовал или жил в одиночку в пустыне, как жили первые отцы.

Все эти идеи и охватили основателя страннической секты Евфимия, человека убежденного, религиозного, с железной энергией и вечно непримиренной совестью. Искания пылкой души были в его природе, но неблагоприятные жизненные условия еще более обострили его требования к жизни; всю свою жизнь он только и думал, «где бы найти место спокойное для души своей». Он был из духовного звания, певчим в Переяславле. Потом его взяли в солдаты. Условия военной жизни были совсем противны натуре Евфимия, и он бежал. Он сначала сошелся с филипповцами, но после ряда неудачных попыток повлиять на них с большими для себя неприятностями должен был оставить их скит и уйти в Ярославль.

Тут он начал проповедовать свои идеи и скоро достиг некоторого влияния. Беспокойной душе Евфимия в какой-то бесконечной дали рисовалась прекрасная спокойная райская жизнь. На земле же, по его убеждению, царствует антихрист и нужно бежать, бежать, как бежал Лот, не оглядываясь назад, не справляясь с прошедшим. Разве может быть спасение там, где царствует зверь, первый рог которого был царь Алексей Михайлович, а второй — сын его Петр. Алексей Михайлович помог Никону нарушить благоверие, а Петр ввел народную перепись, разделил людей на разные чины, размежевал земли, реки и усадьбы; он завещал «каждому наблюдать свою часть, не дав другому ничего», учредил цехи и другие богопротивные установления, восстановил междоусобную брань, свары и бой... Царская власть — это икона сатаны, а все воинские и гражданские власти — его бесы, все, повинующиеся царской власти, кланяются иконе сатаны. Мир близится к концу: для чего распахивать

нивы, сеять семена, когда не удастся пожать их, для чего созидать города, когда нельзя будет в них жить! Один только и есть исход: бежать от антихриста. Сам бог сказал: «Всяк, иже остави дом, или брата, или сестру, или отца, или матерь, или жену, или чада, или село имени моего ради, сторицею приемлет и живот вечный наследит».

Странники не должны иметь личной собственности, а жить во имя Христа. Евфимий на основании священного писания доказывал, что даже слово «мое» происходит от диавола и что бог все сотворил общим для всех людей.

В жизни учение Евфимия, однако, должно было примириться с некоторыми отступлениями. Так, последователи страннического учения разделяются на две группы: странники, или скрытники, пустынники в полном смысле слова, и странники-христолюбцы, которые живут в миру обыкновенной жизнью, но под конец должны перейти в первую группу.

Прежде чем оставить Выговский край, я стал расспрашивать, как бы мне сойтись со скрытниками. Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христолюбцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия была мне не по душе. Наконец, один батюшка посоветовал мне так:

— Придете вы в Пул-озеро, остановитесь у Мухи. Это интересный, оригинальный человек, скрытник-христолюбец. Он очень начитан по-славянски, религиозный, прекрасно и по-своему устраивает семью. У него отличный новый дом, будет удобно. Но только, чтобы табаку ни-ни! Вам даже от чаю отказаться придется, у него самовара нет. Вы про охоту разговаривать любите, так он у нас первый истребитель зверей. Он расскажет и про скрытников, если сойдетесь с ним.

Я так и решил сделать. По дороге в Пул-озеро, чтобы завести разговор о Мухе, я сказал провожавшему меня старому полеснику Филиппу, тому самому, с которым я познакомил читателя в очерке «Полесники», что хотел бы остановиться у Мухи, да не привык без чаю жить, а, говорят, у него самовара нет.

— У Мухи самовара нет! — воскликнул Филипп.— Да кто это тебе сказал, да в уме ли он! У Мухи все есть. Муха вот за этакой безделицей не пойдет кланяться к соседу. У Мухи самовара нет! У Мухи два самовара. Сам он не пьет, дети не пьют, а если гости придут, пей, сколько хочешь! Муха у нас первый человек. Посмотришь, какую хоромину себе выстроил. А какой полесник! С Мухой все бывало в лесу, он наперечет все суземки знает, он может и зверя и птицу бить.

Странно было слушать такие слова после знакомства с жизнью выгозерцев. Обыкновенно там мало хорошего говорят друг про друга. Да и в самом деле, людей хозяйственно устроенных, не жалующихся на свое скудное житье и в то же время со стойкими взглядами, почти не приходилось встречать. И вот в стороне от всех, в невылазных дебрях, прекрасно устроился человек, да так, что все завидуют; и еще исповедует религиозное учение, которое отвергает всякую собственность. Но почему же разбогател Муха?

— Полесник он...— неопределенно ответил Филипп.— Сына в Поморье посылает...

И замялся, словно почуяв возможность вопроса: да и ты же полесник, и у тебя дети есть? «Что же! — верно, думал он.— В самом деле, подняться у нас нечем: лес, вода и камень, а вот Муха поднялся...» Мялся, мялся Филипп, наконец сказал:

— Муха, видишь ли, скуп.

Разгадка найдена, дальше можно уже говорить полупрезрительно:

— А что и жизнь-то в лесу без людей: чайку не попить, да и водки не выпить. Пустынник он, вот и может жить. У себя в доме что царь, а посмотри на него, как попадет куда-нибудь на свадьбу. Сидит себе один, горячую воду нальют ему в стакан и пьет. Да ску-у-у-ш-но же так!.. Ну и так сказать: скуп не глуп, себе добра ищет.

Уж после моего визита к Мухе сказочник Мануйло рассказал про его разживу такую легенду.

В глухих лесах, окружающих деревни Пул-озеро и Хиж-озеро, в разных местах живут пустынники. Одни из них живут на месте, но другие скитаются, переходят в Поморье, из Поморья опять назад, в Ярославль, в Москву. И ни один из них не пройдет мимо Мухи, все они находят у него приют. Кроме того, Муха, как полесник, знающий все суземки и все орги и конабры, доставляет им в лес муку, книги, новости... И вот раз будто бы Муха провожал в лес богатого скрытника, а он и умер по дороге. Муха схоронил его и после того выстроил дом тысячный.

Это, конечно, выдумки, потому что никто же не видал, как хоронил Муха скрытника и брал деньги, но роль Мухи среди скрытников указана верно, вот почему я и привел здесь это объяснение.

Деревушка Пул-озеро очень маленькая: несколько маленьких изб, несколько изб заколоченных, очевидно покинутых хозяевами, не выдержавшими условий жизни в этой залесной, заглушной сторонушке. Из темных домиков особняком выдвигается большой красивый двухэтажный «тысячный» дом Мухи.

Когда мы подошли, на крыльце этого дома стояла пожилая женщина, босая, с подтянутой высоко юбкой, как вообще здесь принято. Она взволнованно кричала, глядя на возвращающееся стадо:

— Нет уж, нет, если не вернулась, то уж и не видать больше. А кто виноват? Звирь? Нет, не звирь. Ему тоже есть нужно, звирь тоже богом создан, звирь без толку есть не станет. А это колдуны проклятые друг другу пакостят, а за них отвечай. Топили этого Максимку, не утопили, пакостника.

Успокоившись, хозяйка стала ставить нам самовар. Хозяин должен был скоро возвратиться с озера. Вот тут-то я и совершил непростительную ошибку, за которую потом поплатился ночным покоем.

У староверов курить нельзя. Я это знал и выходил курить в сени, не скрывая своей привычки и стараясь показать, что я хотя и курю, но уважаю их правила. Ту же систему принял я и у Мухи. Вышел на крыльцо, да и покуриваю, любуясь закатом солнца на озере.

Вижу, подъезжает лодка, на корме кто-то с большой

бородой, двое гребут. Тут мимо меня пронеслась хозяйка с берданкой в руке и с собакой на вязке. Бородатый кормщик взял ружье, собака прыгнула в лодку, и через минуту лодка чуть чернелась на той стороне губы у леса... Кормщик был хозяин, и — узнал я после — только страх за пропавшую корову в лесу, необходимость немедленно ехать и искать удержала его от того, чтобы не выгнать меня, «табашника», из дому. А я, ничего не подозревая, курил себе да курил.

Было уже поздно, старушка хозяйка предложила мне отдохнуть на кровати за пологом. Я лег и уснул. Разбудил меня какой-то неопределенный шум. Вдруг вижу, полог мой раздвинулся и показалось бородатое лицо с лохматыми волосами.

— А кто у меня тут лежит на кровати? — послышался сердитый голос.

Молчу. И что я мог сказать!

— Сейчас же говори: где родился, откуда идешь, куда и по какой надобности.

А я и не понимал, какое величайшее оскорбление наносилось мне, как гостю. Скрытники ни в каком случае не спрашивали друг у друга, откуда они родом. Вообще и по отношению к другим эта привычка считается у них дурным тоном. Подчеркивая вопросы и разбивая их на категории, он усиливал их действие.

Но как раз то, что считалось особенно обидным, мне и понравилось. Чувствовалось, что это не обыкновенная мещанская брань, а мотивированное недовольство. Что отвечать на такие вопросы? Я встал и начал одеваться.

Старику, видимо, это понравилось, он начал помягче:

— Ведь я тебя не знаю, может — ты мой дом спалишь, а дом тысячный, ребят нету, жена одна, мало ли что ты можешь сделать. Наши женки что понимают... Ну, ложись, завтра разберем. Ложи-и-сь! А то как хочешь...

Я лег, и мы расстались до завтра.

Утром я осмотрел комнату. Везде чисто, аккуратно. На стене два ружья и пороховницы, на полке большая книга и на ней очки, в углу икона, вернее — черная доска. Хозяин вошел и остановился у двери. Он посмотрел на меня косым, подозрительным, неприятным взглядом. Так, вероятно, подстерегает медведя этот истребитель зверей,

знаменитый полесник. Но в то же время лицо его с аккуратным пробором посередине головы, с допетровской бородой, которой не касались ножницы и которая, оканчиваясь скрученными прядями, делает всякое лицо похожим на лицо Никиты Пустосвята,— говорило о чем-то совсем ином. Возьмет такой человек ружье со стены, наденет шапку, комарник, кошель — и будет полесник; расчешет волосы, наденет очки, развернет старинную книгу — и будет староверческий начетчик. Такому человеку нужно быть всегда настороже: то он ожидает медведя, то прислушивается к словам, чтобы дать ловкий ответ.

Начали мы разговор, конечно, с медведей. Корову удалось ему благополучно доставить домой. К моему удивлению, Муха, этот начитаннейший по здешним краям человек, тоже объяснил мне, что колдуны пакостят, и пуще всех Максимка. Сам же Муха не только не берет отпуска скотине, но и вообще презирает всех, кто у них берет.

— Это слабым людям нужно,— говорил он мне.— Я-то прямо к господу, а они, от слабости, к колдунам. Колдуны же разобрались, в чем дело, и пакостят.

Желая расположить к себе Муху, я рассказал ему о полковнике, который ищет на севере дешевых берлог, и сообщил ему адрес.

Муха был очень доволен.

— Конечно,— говорил он,— это занятно господам. Только страшного тут, как тебе говорил полковник, ничего нет. Бил я медведей без счета, и ни разу он меня не поранил. Медведя господь покорил человеку.

Поговорили о нужде, о камнях на поле, о зябелях, о том, как земство жмет и казна. С каждым словом Муха убеждался в моей осведомленности. Наконец, не выдержал и воскликнул: «Ну и башка!»

С этого момента мы и стали друзьями. Муха начал уже спокойно рассказывать о всех недочетах местной администрации. Оказывается, и тут политика, да еще какая! Тут, в этой же деревушке, живет лесник. Он должен охранять казенные леса. Этот лесник, как и всякий человек, кажется счастливцем для всех: такой же мужик, как и все, он получает сто рублей жалованья в год и может ничего не делать. Но субъективно он несчастлив: жалованье отучает его от работы неблагодарной,

больше чем каторжной, он начальство, и вот он вечно боится за себя и за семейство, что в случае чего его прогонят с места. У лесника огромная власть, он может очень стеснить всех, и все должны являться к нему «на покор», кто с чем. Любопытный и характерный для этих мест эпизод рассказал мне о леснике Муха.

Один полесник в то время года, когда стрелять лосей запрещено, убил лося, как говорят здесь, «свернул кокору». Потом он подтащил его к деревне и закрыл хвойными ветвями. Лесник заметил это и, когда охотник ушел домой, подтащил лося к своей избе, снял кожу, а мясо посолил и уложил в кадку. Охотник, узнав об этом, не только не пошел «на покор», но даже подал жалобу на лесника. Поднялся было скандал. Приехал лесничий, и дело уладилось просто: на охотника был составлен протокол задним числом, а лесник получил домашнюю нотацию от лесничего. Кончилось тем, что охотник отсидел за убитого лося.

— Дармоеды! — заключил свой рассказ Муха.— А был я в Повенце,— продолжал он,— о господи, сколько их там: дармоед на дармоеде. Для чего они?

Понемногу я убедился, что «дармоед» в устах Мухи относился не только к плохому чиновнику, леснику, а вообще ко всем, кто извлекал свои доходы не так, как он, великий труженик, непосредственно из леса, воды и земли. В Повенце дармоеды, а дальше-то? Но дальше Муха нигде не бывал. Он знает только по книгам, что дальше начинается бесконечно огромное тело антихриста.

Так с политики наш разговор постепенно перешел на религиозные вопросы. Как только Муха заметил, что я этим интересуюсь, он забыл свою подозрительность и преобразился. Передо мной сидел не полесник и не начетчик-старик, а юноша-энтузиаст с пламенной верой. Он рассказывал мне, как он только в пятьдесят лет понял от скрытников «душевную» науку, стал учиться грамоте по славянским книгам и в течение пятнадцати лет перечитал все, что можно было достать в лесах.

— Эх, Михайло,— говорил он,— есть гражданская наука, а есть душевная. Это тоже наука. Я тебе вот что скажу: что ты знаешь, того мы близко не знаем; что мы знаем, того ты близко не знаешь. А если ты хочешь по этому делу идти, то все узнаешь, мы тебе все укажем, на все дадим ответ. Я тебе не отвечу, найдутся умнее

меня. Здесь не найдутся, из Ярославля ответ дадут, без ответа не оставим... Вот недавно в Каргополе беседа была, привезли полтораста пудов книг от нас и полтораста от них...

Такие беседы стало возможным для скрытников устраивать лишь после 17 Октября, а раньше было опасно. Старик рассказал мне, как однажды их собрали на беседу, да тут же перевязали и отправили в Сибирь.

— Мы благодарим государя, что дал свободу, мы по нем скорбим... Вот и Алексей Михайлович сначала какой был, а под конец жизни и покорился... Говорить стало свободнее, а из лесов выйти невозможно.

— Да почему же?— спросил я.

— А паспорта-то! Им же дадут петровские паспорта... Ведь Петр паспорта завел, а кто был Петр?..

Муха умолк и значительно посмотрел на меня. Петр был, по мнению Мухи, антихрист.

Скрытники, по смыслу учения, конечно, не должны были иметь паспортов, и, таким образом, выйти из лесов, в самом деле, для них дело почти невозможное. Но не только паспорта им запрещены, а даже за простой ответ на вопрос «откулишний» полагается восемнадцатидневный пост, то есть — почти полное голодание. Однажды, рассказал мне Муха, один пустынник от постоянного чтения книг ослабел глазами. Что делать? Купить очки в больнице? Но там фельдшер, акушерка первым делом спросят: откуда? Странникам только и можно сказать: «Мы странники божьи, ни града, ни села не имам». Наконец, удалось потихоньку растолковать доктору дело, он понял, и когда скрытник пришел в больницу, то ни один человек не спросил его, откуда он.

— Ты говоришь: из лесов выйти. Хорошо, позовут нас к государю. Ведь тогда уж надо рассказать все... до конца... А разве он выдержит? Не-ет, брат, не выдержит. То же будет, что с соловецкими монахами, каких солдаты на лед выводили, да в ердан окунали, да за ребра вешали. И все тут видели, как ангельские душки в сорочицах на небо отлетали... Все это в книгах прописано, все есть в челобитной. Ай сходить в сарай за книгой? Схожу.

Муха принес распространенную между староверами челобитную соловецких монахов Алексею Михайловичу и заставил читать, но, так как я читал плохо, поправлял меня, забегал вперед, очевидно зная наизусть содержание

книги. Бесконечная вера в букву написанного, очень понятная не только потому, что Муха раскольничий начетчик, но и потому, что он выучился грамоте уже пятидесяти лет от роду, делала наш богословский диспут скучным. Кое-как удалось перевести разговор на семью. Муха очень жалел, что не мог мне показать своих молодцов: все были на сенокосе.

— Главное дело в семье,— говорил он,— распоряда хорошая, тогда всем хорошо. А у меня распоряда справедливая, оттого и всем нам хорошо и вот своими руками дом тысячный состроили...

Хотя Муха и обещался меня проводить к скрытникам в лес, но у меня не оставалось времени. При прощанье старик вдруг смутился, вспомнил, как он встретил меня в своем доме. «Прости ты меня»,— сказал он. И тут же признался, что смутил его табак. Расстались мы большими друзьями, и не помню, когда еще веяло на меня от человека такой свежестью, чистотой, искренностью и силой.

Скрытниками я заканчиваю свои очерки. На обратном пути в Петербург со мной как-то не случалось ничего такого, о чем хотелось бы рассказать, вероятно потому, что желание побывать в краю непуганых птиц было уже удовлетворено. Впрочем, помню, как радостно было увидать на Ладожском озере, после непрерывного дня, первые звезды на небе и ночь. А потом — это ошеломляющее движение и шум Невского проспекта! В голове еще свежи все разговоры с скрытником Мухой, свежи впечатления от этой бесконечно простой и суровой жизни среди леса, воды и камня — и тут это движение...

Есть что-то общее в этом гуле Невского проспекта с гулом тех трех водопадов, который мне пришлось слушать на каменном островке между елями. Там божественная красота падающей воды стала понятна только после довольно долгого всматривания в отдельные брызги, в отдельно танцующие в тихих местах столбики пены, когда все они своим разнообразием сказали о единой таинственной жизни водопада. Так же и тут... Гул и хаос! Темная масса спешит, бежит, движется вперед и назад, перебирается из стороны в сторону между беспрерывно мчащимися экипажами и исчезает в переулках.

Утомительно смотреть, невозможно себе выбрать отдельное лицо: оно сейчас же исчезает, сменяется другим, третьим и так без конца.

Но вот мысленно проводится разделяющая линия. Через нее сейчас мелькают люди и застывают в сознании: генерал в красном, трубочист, барыня в шляпе, ребенок, толстый купец, рабочий. Они друг возле друга, почти касаются.

Вдруг становится легко, разделяющая линия больше не нужна, все понятно. Это не толпа, это не отдельные люди. Это глубина души одного гигантского существа, похожего на человека. Мелькают, сменяются его желания, стремления, ощущения. Но само неведомое существо спокойно шагает вперед и вперед.

1905

Осударева дорога

Роман-сказка

ОТ АВТОРА

«Осударева дорога» написана по материалам, освещенным личными переживаниями автора. Не скрою от читателя, что опыт сплетения истории, автобиографии и современного строительства для меня был нелегок.

В повести я хочу показать рождение нового сознания русского человека через изображение души крестьянского мальчика — помора.

Если человек прожил долгую жизнь и ему все еще хочется жить, то прошлое складывается в его душе неминуемо, как роман или сказка. Столько есть на свете таких людей, что жизнь, пережитая в них, ищет себе выхода, и они говорят о себе:

— Если бы мне свою жизнь пересказать, то это был бы роман замечательный!

Я принадлежу сейчас к этим людям, и мне всегда кажется так, что если я о себе рассказываю, то это не есть простодушное удовольствие показать себя самого людям, а действительно мой лучший роман или сказка. Больше! Мне кажется, в этом деле освобождения себя от пережитого есть не только поэзия, но и еще что-то больше поэзии...

Всегда я понимал при чтении книг, что автор и есть настоящий источник его героев, но как это делается, что он забывает себя и превращается в кого только ему захочется, я и до сих пор понять вполне хорошо не могу.

Не раз удавалось мне описывать неплохо собак и разных животных. Разбираясь в условиях происхождения образа каждого положительного героя своего среди

животных, я находил, что сам я увлекался, влюблялся, забывая о себе, и героя своего любил временно больше себя. По-моему, вот это «больше» и превращается в положительного героя. И то же, наверно, так и во всяком труде: всякая новая небывалая вещь создается, когда творец забывает о себе и входит в нее. О героях же отрицательных беспокоиться нечего: они сами непременно являются, если кого-нибудь любишь больше себя.

Такова моя домашняя теория.

Раз было на моих глазах: по тонкому, запорошенному первым снегом льду пробежала осторожно гонная лисица, а через несколько минут на этот след налетел безумный выжлец. Лисица осторожно, по-лисьему прошла тонким льдом, а грузный костромич провалился среди озера. Лед на краях провала обламывался под его лапами, и вылезть ему было невозможно: лучший гонец в нашей округе был обречен на гибель в гонный день первой великолепной пороши.

Но прибежал его хозяин и, увидев своего друга в таком положении, быстро изорвал свою рубашку, связал веревку, сделал петлю, дополз на четвереньках по льду до собаки, накинул петлю и вытащил. Так охотник «вышел из себя», чтобы спасти своего выжлеца. Но спасенный выжлец, тоже не помня себя, помчался за той же лисой. Охотник без рубахи, изорванной на веревку, в одном ватнике, перехватывая лису с круга на круг, наконец встретился с ней и убил.

Мелькнет ли когда-нибудь даме, с горжеткой из этой лисицы, догадка об истинной цене ее наряда?

Этот охотник любил свою собаку и всю охотничью жизнь больше себя. И вот из этого-то самого «больше», по-моему, и должны создаваться положительные герои.

И мой герой в этой повести, мальчик Зуек, должен выйти из того самого, что больше меня, и в то же самое время присутствовать в моем чувстве жизни как возможность.

Так тоже спящая почка иного растения много лет дремлет и остается почкой. Но при хороших условиях почка «выходит из себя» и обращается в зеленый росток.

Это моя домашняя теория творчества, и я не знаю, почему укрывать ее от читателя, почему не пригласить его к участию в творчестве моей сказки-были, или, назовем, исторической повести.

Из себя самого я буду выводить Зуйка и в то же время буду смотреть туда, на хорошо знакомый мне берег, где поморы ловят рыбу сетями. Чайки-зуйки носятся там, как снег на ветру, и мальчики-зуйки всюду снуют, и среди них мой Зуек. Думаю о себе, а гляжу на него. Думаю о нем — и себя самого раскрываю.

С самого раннего детства мой внутренний мир разделялся надвое: один мир — это все, что мне самому хочется, другой мир, который больше меня, больше того, что мне самому хочется и что для меня выступает как «надо»: надо и надо, а не то, что я сам хочу. Очень рано это самое «надо» пробудилось во мне как требование матери моей: чего-то я сам хочу и что-то требует мать.

С этой далекой горы моего прошлого и текут все родники моей нынешней жизни. Темной стороной представляется это мое прошлое, и мне все хочется при свете яркого дня современности туда заглянуть и там все понять.

Очень давно я стал так понимать и поэзию, что это луч нашего дня, свет современности, брошенный на то отдаленное прошлое.

Пусть очень многое в нашей жизни теперь умело записывается и складывается в архивы и книгохранилища. Очень многое тоже и так остается и постепенно погружается в темное прошлое.

Бывает, однако, такой яркий день современности, что из него виднеется самое отдаленное прошлое, уже многими забытое, а для самых молодых и совершенно неведомое.

И вот в этом-то свете современности рождается сказка, и старые люди, свидетели забытого новым поколением, начинают сказывать о том, что было когда-то, в некотором царстве, в некотором государстве, при каком-то царе Горохе.

Было мне лет тридцать, когда я отправился в тот самый край, где мои предки-старообрядцы боролись с царем Петром и в государстве его великом создавали свое «государство» — известную Выгорецию. Мне до смерти захотелось подышать тем воздухом народной жизни, где не было жестокости крепостного права и где в дебрях тайги, наверно и до сих пор, сохранились сказания о былых героических временах простого русского народа.

Действительность оказалась больше моих замыслов, больше моей мечты, больше меня самого. Мне было, как

если бы человеку взрослому вернулось бы его детство и он, сохраняя где-то вдали в запасе нажитой свой разум и образование, восхищенно стал бы отдаваться природным детским силам доверчивости и особенному, проникновенному вниманию к подробностям жизни природы и человека.

Я родился с верой в какой-то лучший мир, чем где я живу, в какую-то страну, лучшую, чем наша, с уверенностью, что если сильно захотелось, то ее можно открыть всем и даже так, что долг каждого из нас открыть для всех эту свою страну.

Еще девяти лет я пробовал из гимназии убежать в эту страну, и не я один был такой, а одно время гимназисты массами бежали. После моей неудачной попытки вера моя не умерла, а попала в положение семени, переживающего в земле зиму, чтобы раскрыться весной.

Так вот и вышло, что девяти лет я бежал в какую-то чудесную страну, а ровно через двадцать лет открыл ее на Карельском острове озера Выг, и был уверен, и вел себя, как будто это была та самая страна, куда я в детстве бежал.

Как, бывает, влюбленному кажется, будто все люди в существе своем прекрасны и ему, влюбленному, даже злодеи желают добра, так и в моей стране детства, в этом краю непуганых птиц, все люди мне были хороши, и так много хороших в одном месте я никогда нигде не видал. Это не был самообман. Ведь я не был хищным колонизатором или мистификатором-миссионером, а искал у них только былин, сказок и песен.

Много они мне пели былин и сказывали всякой «досюльщины». Но всего интересней мне были остатки людей, боровшихся когда-то по-своему за свою веру с царями.

Среди этих людей трудней всего досталось мне добиться душевной беседы у «бегунов» или «скрытников». У большинства прежних борцов за веру их вера теперь перешла просто в быт, в строгость нравов сравнительно с бытом «новолюбцев». Но бегуны продолжали искренно верить, что антихрист уже овладел почти всей землей и спасаться от него можно только в бегах. Чтобы не искушаться соблазнами, не застревать в человеческом болоте, они считали для себя необходимым вечно менять место, вечно бежать и не давать себе отдыху. Только на корот-

кие дни в случаях болезни или необходимости что-то свое открыть другу они позволяли себе останавливаться в великой тайне у «христолюбцев», имеющих в своих домах особые тайные светелки. Они берегли свое имя в великой тайне и на все вопросы о себе встречных людей отвечали:

— Мы странники божьи, ни грады, ни веси не имамы.

Вот, наверно, тогда еще пришла мне эта мысль, и до сих пор я ею живу, что истинный наш современник не тот, кто для себя потребляет достижения нового времени, а для кого современность открывает свет на свое прошлое.

В свете современности как понятны мне были эти люди, презирающие место своего пребывания и собирающие дух свой в пространстве. Мы сами, революционеры того времени, готовые идти на какие угодно страдания, чтобы только поднять дух своего народа, привести его в движение, дух, остановленный косностью царя и его чиновников, мы сами отчасти были похожи на бегунов: мы были странники в своем народе, мы не держались ни села родного, ни города, правда нам была дороже родного села.

Конечно, я отлично понимал, что движение роволюцин ничего общего не имеет с движением сектантов-бегунов, но законы истории не всегда совпадают с законами сердца. Мне очень захотелось найти в лесах какого-нибудь бегуна, постараться самому раствориться в его вере с тем, чтобы темному человеку попробовать открыть новый свет, помочь ему не тратить движение своего духа просто на передвижение тела по грешной земле, захваченной будто бы антихристом. И еще, самое главное,— мне хотелось своими глазами посмотреть на такого человека.

И я увидел такого человека, и не одного. При первых их нападениях на мою веру в революцию я поступал, как молодой волчонок, когда к нему приближается и хочет напасть борзая собака: волчонок ложится на спину, поднимает вверх ноги и открывает живот. Так я в разгаре нашего спора повертывался вверх животом и соглашался проклинать царское правительство, как антихриста, и царских чиновников, как бесчисленное отродье антихриста. Тогда оказывалось, что мы люди близкие и что нам остается только сговориться в подробностях о нашей борьбе с царями.

Так много я находил себе друзей на островах и в глухом сузёме, но не могу сказать, чтобы я хоть одного человека из них мог бы сделать современным борцом за правду без всяких химер пережитого прошлого.

Теперь издалека мне представляются мои раскопки в душах представителей прежнего прошлого поисками выхода из этого темного мира к свету современности. Я не уставал в своих поисках только потому, что верил и по себе чувствовал в каждом человеке какой-то современный смысл и не мог бросить всех этих людей в могилу без всякого смысла.

И вот тут же на самом Карельском острове я однажды пришел в дом покойной старушки Любови Степановны и услышал рассказы о жизни этой замечательной женщины, выведенной у меня под именем «мирской няни» Марии Мироновны.

В тайной светелке ее, предназначенной для бегунов, еще доживал свои дни свидетель ее жизни. Он и сам был в бегунах, но, перебывая какой-то денек у Любови Степановны, захворал, долго не мог уйти, да так, перебывая день за днем, «обмирщился», осел, начал сам ходить за водой, за дровами, потом стал и рыбку ловить вместе с ловцами, и все стали звать его почему-то Максимычем.

Вот он и рассказал мне много о жизни Любови Степановны, и это открыло мне какой-то свет в это темное царство нашего прошлого. Любовь Степановна была такой большой ревнительницей старой веры, что в свое время собрала все ценные остатки Даниловского монастыря и перевезла их к себе на Карельский остров. Тут она выстроила небольшую часовенку, служила в ней сама, и ее везде почитали как последнего «большака» Выгореции. Но что-то произошло в душе этой женщины, и это происшествие осталось необъясненным: будучи уже очень пожилой, Любовь Степановна почему-то пристрастилась к чтению светских книг и стала их всюду себе доставать. Но мало того! На Карельском острове она открыла настоящую светскую школу для детей и до конца жизни своей оставалась в ней учительницей.

После, вернувшись домой, я и у другого путешественника и исследователя севера нашел в его книге о былинах на севере восторженные слова о жизни Любови Степановны.

Но если вспомнить русскую историю, то разве одна Любовь Степановна, воспитанная в суровой школе старообрядчества, внесла пламень души своей в нашу современную жизнь. Мало ли ручьев из темного царства прошлого влилось в море нашей современности. Мало ли воды этого прошлого принесли камней на устойчивость нашего дела, и не этим ли путем из темного царства прошлого бежит на свет ручеек моей собственной жизни.

Так на лавочке возле дома Любови Степановны на Карельском острове мы беседовали с Максимычем, обмирщенным бегуном, и нам приходило в голову, что, может быть, и всегда, если правда какая-то есть в побежденной стороне, то она потом одним человеком переходит на другую сторону, потом другим, третьим, многими по одному и не пропадает, а неминуемо остается с нами, в нашем строю борцов.

Понимаю, что можно вникнуть в чужую жизнь и представить ее как картину, но просто чудом кажется, когда берешься за жизнь свою собственную и видишь ее, как в ней без всякой помощи художника все само собой расставлялось по правилам труднейшей композиции. Вот отчего простодушный человек, заглянув в себя самого, и восклицает в душевной беседе:

— Если бы мне жизнь свою пересказать, то это был бы роман замечательный!

Разве, правда, не замечательно сложилось в моей жизни, что девяти лет от роду я пустился на розыск страны, где все устроено лучше, чем было у нас. И как это могло случиться, что через двадцать лет, всему как следует наученным, я забросил всю свою «науку» и открыл себе второе детство на Карельском острове огромного Выг-озера, и место переживаний этого второго детства назвал и описал как вновь открытую страну непуганых птиц.

И с тех пор, куда ни поеду, куда ни пойду, на что ни погляжу, мне кажется, я гляжу первым взглядом и никто на это еще никогда не глядел.

Еще удивительней кажется мне, что когда наконец борьба с царями стала делом всего народа и революция свергла царя,— на том самом месте, по той самой Выгореции прошел Беломорско-Балтийский канал, и знаме-

нитая Осударева дорога царя Петра очутилась на дне озера-моря, и над ней пошли чередом морские корабли.

И вот теперь, когда и этот канал, похоронивший открытую мною страну непуганых птиц, стал эпизодом в сравнении с делом победы в Великой войне и всем строительством новой жизни после войны, как же мне самому вместе со всеми простодушными людьми не воскликнуть:

— Если бы мне свою жизнь пересказать, то это вышел бы роман замечательный!

Канал еще строился и Выгореция не была еще под водой, когда я опять приехал в край своего второго детства. Книгу мою «В краю непуганых птиц» строители тут читали с большим интересом, она ходила здесь по строительству из рук в руки, удивляя всех тем, что было раньше здесь. Каждый новый человек, каждый руководитель строительства находил на своем участке как бы свою новую родину. Новые люди, тоже как, бывало, и я, увлекаясь своей новой родиной, забывали о старом. Вот почему, не обращая внимания на старое, они книгу мою читали, будто описанное в ней было назад тому уже лет двести, и дивились мне, как бы воскресшему в наших днях. Когда же я уверил их, что все описанное было всего только двадцать пять лет тому назад, они дивились быстроте преображения края.

Совсем другими глазами смотрел я, участник прошлого этого края. На том же самом Карельском острове во время строительства я знал очень пожилую женщину. У нее было клятвенным решением не уходить с острова перед затоплением из-за того, что мир, по писанию, должен сгореть, а не утонуть, и этот «мир» для нее был ее Карельский остров. Некоторых героев своей старой книги я застал еще в живых. Был жив скрытник, таившийся в светелке Любови Степановны. Он был глубоким, но легким старичком. И называли уже теперь его не Максимычем, а Куприянычем.

Теперь он вовсе «обмирщился», но, как сам говорил, «духа своего не угашал». И тоже обещался, что ежели не светопреставление, а затопление, то он найдет в себе силу уйти и скрыться в немереных лесах.

— А есть еще немереные? — спрашивал я.

— Мало ли их!— отвечал Куприяныч.

Очень мне понравился встреченный мною на строительстве мальчик, прозванный за живость свою паозерами Зуйком, маленькой чайкой. Этот славный мальчишка был семнадцатым внуком одного рыбака, знакомого мне еще двадцать пять лет тому назад. У этого Сергея Мироныча, сильного большого хозяина, я и ночевал в Надвоицах двадцать пять лет тому назад, пил у него настоящий финский кофей, ел его всякие калитки и рыбники, слушал его былины и всякую «досюльщину».

У него было чуть ли не десять человек сыновей, из них были некоторые «ловцы», занимались больше рыбой, другие были «полесники», значит — охотники. Лучшим охотником в краю из его сыновей был Герасим, отец Зуйка.

Я видел на каждом шагу, как старое умирало и как новое рождалось. И я буду рассказывать теперь о том, что было и делалось не мною самим. Я на себя беру только показать, что старое умирало и новое рождалось не просто. Мало мне надо выдумывать.

Часть I

ЛЕС

I. МИРСКАЯ НЯНЯ

Холодный родничок возле нашего костра бежит в ту сторону гор, где вишни цветут, и соловьи поют в яблонях, и, может быть, люди, если верить песням и сказкам, где-нибудь там нежно любят друг друга. Мы ночевали в лесу, и родничок нам журчал о благодатной южной стране. Утром затоптали костер, прошли немного, и вот он опять, родничок, бежит, только не в ту сторону, южную, а в нашу, беломорскую, где, пусть бывает, между людьми и еще нежнее любовь, но где только в песнях поют о благоухающих садах, и никто никогда не видал цветущей вишни и не слыхал соловья, и вся жизнь у всех нас проходила с малолетства в суровой борьбе с суровой природой.

Шли мы долго этим ручьем, и все он усиливался, и все громче лепетал на камнях. Вдруг лес расступился и показался незарастающий след далекого от нас военного похода.

— Осударева дорога!— сказал отец.

Остановились. Отец шапку снимает.

Это была незарастающая дорога со времен Петра Первого. Этим путем царь народом, собранным с трех губерний, волоком тащил флот свой на шведа.

— Что тут народа легло!— говорит отец.

И шапку как снял, так все и не надевает.

На кладбищах, на священных местах наши отцы всегда шапки снимали: Осударева дорога для них была местом

священного народного труда, где нам, маленьким, нужно было чего-то бояться, пристойно вести себя и слушаться старших.

Мы спускались ручьем все ниже и ниже, пока он не стал речкой в спокойной долине. Тут мы сели в карбас, и вода нас понесла. Отец правил и подгребал. Я с ружьем наготове сидел на носу. Вижу, из заводи выплыла впереди нас пара лебедей.

— Не стреляй!

Я поглядел на отца.

— Потому,— говорит он,— что они от нас не летят, а почему не летят, сыночек, сам догадайся.

Не успел это он выговорить, как из травки выплыли лебедята.

Речка была неширокая, лебеди не смели нас пропустить, не могли нам и довериться, и тоже не могли бросить детей и улететь. Им оставалось только плыть поскорее вперед. И маленькие так спешили, что лапки их, вытянутые назад, виднелись и вода между ними шумела. А большие лебеди и хотели бы, и могли бы много скорее плыть, но оглядывались на малышей и поджидали.

Что тут делать? Птицы стесняли ход нашей лодки, мы же птиц стесняли. Так все плыли и плыли медленно из-за птиц до самого Выг-озера. Тут мы поставили парус, и хорошая поветерь взяла нас на Карельский остров, а лебеди по этой речке, Телекинке, поплыли обратно одной тесной кучкой со своими лебедятами.

На Карельском острове в то время на берегу было столько бань, сколько во всем селе домов. У каждого хозяина была своя банька, тут каждый рыбак у себя и парился, весь красный, из-под веника, выходил на порог и бросался в холодную воду.

Возле каждой баньки, так тесно, что вода была серая, плавали дикие утки: староверы их не трогали, принимая в пищу только горную дичь. Мне казалось тогда — это был остров непуганых птиц. Тут были утки разных пород и с ними гагары, чайки, зуйки. Отступая от бань, повыше стояло село с узкими улицами. Перед иными домами были тогда восьмиконечные деревянные кресты, такие большие, что на них можно было бы и теперь распять человека.

Особенно большой и крепкий крест стоял перед двухэтажным домом бабушки нашей Марьи Мироновны, где мы с отцом останавливались и ночевали.

Только не так-то просто было войти в ее дом. Отец издали начинал шаркать ногами о траву; к бабушке нельзя было прямо ввалиться рабочему человеку, как это сплошь да рядом бывает в крестьянских домах: с улицы — прямо в избу в рабочей одежде.

Прежде чем ступить на чистый половичок и подняться наверх по лестнице, надо было хорошо ноги почистить, надо было обмыть лицо и руки в уголку, поливая воду из глиняного умывальника-чайника, подвешенного на веревочке: носик в одну сторону и носик в другую.

Поднявшись наверх, мы долго крестились по-староверски двумя перстами на старинные иконы с неугасимыми лампадами. Марья Мироновна не сразу к нам выходила. Был такой слух, и мы этого ужасно боялись, будто бабушка Мироновна спит всегда в гробу, ждет конца света — какого-то *светопреставления*, и что гроб ее сделан из карбаса, покрашен в черный цвет с белыми костями накрест на одном борту и с белым черепом на другом.

Мироновна на Выг-озере была *мирской няней*. Когда заболеет у кого-нибудь дитя и слух об этом добежит до Мироновны, она садится в свой черный карбас и уплывает с Карельского острова. На пороге того дома, где заболело дитя, вскоре появляется высокая властная старуха и спрашивает голосом, вместе строгим и ласковым:

— Не улетела еще ангельская душка?

Тогда в доме больного все идут из дома спокойно на работу в поля или рыбу ловить, а мирская няня делается хозяйкой, и ее слушаются все в доме и боятся, и всем она распоряжается как только ей вздумается, пока не отходит дитя.

Вот то и было всем на Выг-озере дивно и непонятно, как это она ждет светопреставления, проповедует конец света, а только где заболеет ребенок — вся убьется, вся изведется, только бы жило дитя. С одной стороны — свет кончается: лежит в гробу в ожидании конца для всех людей, с другой стороны — у того же самого человека душа так образуется, будто свет только что начинается: сидит у постели ребенка.

Выходила к нам Марья Мироновна, высокая, прямая, с лестовкой в руке. Мы ей чинно кланялись, спрашивали, не нужно ли для нее поработать. И работали, бывало, и не один день. Сигов ей наловим, накоптим, насолим, щук распластаем, навялим впрок на солнце желтое щучье прочное мясо. Ей, постнице, этого хватит надолго. И мы не одни ей помогали. Этим мирская няня кормилась и больше ничего за свой труд нигде никогда не брала.

Кто много пожил, тот не удивится, как могла уцелеть до нашего времени Марья Мироновна. Так похоже, будто мысли и помыслы наши не исчезают сразу, а остаются долго вертеться, как маховики на холостом ходу. Мало ли чего такого не бывает! Поют же и по сю пору на севере былины о Владимире Красном Солнышке, о древних русских богатырях, и о соловьях на вишнях, и о яблоньках, каких у нас не бывает, и о цветах, виденных нашими предками еще в Киевском княжестве.

II. СКАЗАНЬЕ О ВЕНИКЕ

Многие из нас, ребят, конечно, в детстве болели, и у всех у нас таких побывала Мироновна. У кого она была и кому о чем-нибудь рассказывала, так тому на всю жизнь ее слова и оставались в поучение. Зимой в долгие вечера мы, ребята, слышали от мирской няни, как в старинное время здешние люди боролись за старую веру. Страшно было слушать эти правдивые рассказы о том, как люди собирались в деревянные срубы и, когда царские солдаты подходили — поджигали смолье.

Так распалит, бывало, Марья Мироновна, так настроит наше детское доверие, что вот взял бы сейчас и сгорел бы за старую веру. И так робко спросишь, бывало:

— А нельзя ли нам, бабушка, взять и сейчас вместе с тобой сгореть за старую веру?

— Не спешите гореть,— отвечает она,— успеете. Придет время, все вместе сгорим. Весь свет будет гореть: кто за старую веру, кто — за новую.

Мы только одно знали про старую веру, что у нас в старой вере крестятся двумя пальцами, а не тремя, что

у нас в старой вере люди живут строго, а в новой — как кому только самому захочется.

— Так слабость родилась в людях,— поясняла нам няня.

И всегда рассказывала нам одну и ту же свою сказку-быль о заколдованном венике, соблазнившем пустынников-староверов на легкую жизнь.

Было это еще в те времена, когда в гонениях за веру сильные люди разбежались по лесам на берегах реки Выга и в ожидании неминучего светопреставления лежали в гробах. Так, был один такой пустынник отец Корнилий. Лежал он в своей маленькой келье в гробу, молился. Конечно, время от времени он вставал поглядеть, не показывается ли чего-нибудь на небе, нет ли признаков конца земных мук.

И так было раз, встав из гроба, отец Корнилий выглянул на свет в свое маленькое окошечко. Увидав, что комары столбами стоят над рекой, Корнилий живо скинул рубашку, вышел из кельи и сел, голый, на камень у самого бе́рега.

Сколько времени так мучил себя пустынник — неизвестно. Скорее всего мученье это он не сам себе выдумал, а взял в пример из древних книг. Сам по себе Корнилий был живой человек, из крестьян. Искусанному комарами, и злой таежной мошкой, и слепнями сладко вспомнилось прежнее крестьянское житье, когда, бывало, каждую субботу добрый крестьянин парился в бане и стегал себя до беспамятства березовым веником.

— Вот бы попариться!— прошептал он.

И только-только он это прошептал, вдруг видит, будто что-то мелькнуло в белой пене порога, покружилось на плесе, и по заводи медленно к ногам пустынника подплыл обыкновенный банный веник. После говорили об этом, что не царствами, не дворцами, не золотом, не серебром ухитрился прельстить нечистый старого крестьянина, а этим самым обыкновенным березовым веником.

Подивился добрый крестьянин венику, подержал в руках. Никто в пустыне, кроме птиц и зверушек, не мог видеть, как пустынник хлестнул себя голого мокрым веником по искусанной спине.

— Грех какой!— перекрестился он и бросил его обратно в реку.

Провожая глазами уплывающий веник, Корнилий подумал и сказал:

— Значит, повыше еще житель есть.

И захотелось ему, вот как захотелось, как в старину, просто попариться в бане. А еще больше захотелось повидать, побеседовать по душе с тем простым человеком, там повыше на Выгу, кто не думал о близком светопреставлении и во все свое удовольствие мог париться в бане.

— Прости, боже!— сказал Корнилий.

И, прибрав немного у себя в избушке, отправился к верхнему жителю в гости.

А пониже отца Корнилия на Выгу спасался поморец Лука. Веник, брошенный отцом Корнилием, скоро приплыл к нему и тоже обрадовал его. И тоже стало ему на душе полегче. И представилось, будто там наверху есть жизнь невинная, простая и прекрасная. Попросту говоря, старику, измученному комарами, захотелось попариться. И тоже он, как и отец Корнилий, не задумался об искушении.

— Прости, боже!— сказал Лука.

И отправился к верхнему жителю в гости.

Тоже и пониже Луки, спасаясь от новолюбцев, проживал добрый инок Серапион с матерью своей старицей Нимфодорой. Серапион, увидев плывущий веник, сказал своей матери:

— Матушка, видно, там повыше тоже есть житель.

Нимфодора поглядела на веник, пожевала губами, и старухе тоже очень захотелось попариться.

— А ничего это, матушка?— спросил Серапион.

— Бог простит!— ответила Нимфодора.

И, убрав все в своей келье, наготовив лучинок, труту, дровец, на случай, кто заблудится, они оставили на двери знаки о том, что ушли к верхнему жителю.

Да недалеко по Выгу от впадения речки Ковжи жил Архип Авраамов, да пониже того на два перехода, да за большими порогами, да у Березовой заводи, да у Лисьей норы. Так от низу и до верху, от избушки к избушке, понимая условные знаки,— что хозяин келейки отправился к верхнему жителю,— собрались все пустынники у отца Даниила, в сердечной простоте пустившего вниз по реке банный веник.

— У тебя, отче,— сказали ему,— все есть. И банька

и рыболовные сети. Видно, ты живешь по желанию и мало думаешь о близком конце.

— Милые мои други,— ответил отец Даниил,— о конце своем помышляю неустанно, но помышляю тоже угодить господу и телесной своей чистотой. Вода-матушка, она ведь чистая бежит. Ни в ней мышки, ни таракашки.

— Да что есть вода?— спросил отец Ферапонт.

— Вода-матушка, — отвечал инок Серапион, — есть, как и мы, тоже грешница. В чем-то она согрешила там, на небе. И падает к нам вниз на землю на доброе дело, на работу для нас всех. Смотрите, вот как она бьется, размывает скалистый берег, а вон там намывает, и где намоет, поднимается всякое растение на плодородной земле. Кончит работу вода, сделает свое полезное дело — и получает прощенье, подымается вверх облачками-тучками, ходит по ветру. Так и мы, грешные люди, и падаем, и работаем, и подымаемся.

— Вот это правильно,— сказал Ферапонт.— Вода нам, грешникам, первый пример: капелька с капелькой соединяются на общую работу. Так и мы, человек с человеком, должны сходиться на труд. Я так понимаю, отец Даниил?

— Не надо бояться людей, если сходиться на доброе дело,— кратко ответил отец Даниил.

И с этим все согласились, что пустынникам париться можно, и с тем тоже согласились, что рыбу тоже ловили и святые апостолы. Значит, если и теперь вместе сойдутся,— в этом нету никакого греха.

Греха-то, конечно, и не было, только одно упустили добрые пустынники: забыли они о близком конце, о том, что все пророчества сходились на близости дня светопреставления, что по вере отцов все мученики, сгоревшие в срубах, с этой верой поджигали смолье: не себя самих они так кончают, а господь их рукой весь мир поджигает.

А нынешние пустынники, забыв это, согласились на легкую жизнь, в том, что вместе им жить будет лучше.

И хорошо бы, и все бы на пользу, только уж что-нибудь бы одно: или конец, или начало жизни. А пустынники с тех пор стали хромать на оба колена: и жить-то хочется, и гореть надо. Вот отчего и началась эта слабость.

Перед тем собирались вместе, чтобы умирать, а теперь собрались, чтобы жить, и тут же принялись искать удоб-

ное для хлебопашества место. После долгих поисков по реке Выг и по его притокам вернулись к старому месту, где жил отец Даниил.

— Нет лучше этого места,— сказали искатели.

Добрый старец Корнилий, первый пустынножитель, увидевший веник, на эти слова ответил:

— Место, может быть, и есть лучше нашего, да что в том хорошего, когда много ищешь да разного хочешь. Есть места много лучше нашего, да тут сорока кашу варила.

После этих слов отец Даниил благословил начать здесь общежитие, и прозорливец Корнилий сказал напослед:

— Тут сорока кашу варила: мы поселимся здесь, а возле нас со временем соберутся хорошие люди с люлечками и с мамушками.

Слова прозорливого старца сбылись очень скоро: со всех сторон стали стекаться измученные гонением люди на то место, где вначале жил один только отец Даниил. От соединенных усилий из-под рук человека скоро вышла из дикого леса, из-под камней плодородная земля. Народились большие стада. Явились корабли для торговых поездок в Норвегию и на юг. В женском общежитии на реке Лексе стали процветать выгорецкие тонкие рукоделия — северное наше искусство. В мужском, на Выгу, братья Денисовы сочиняли свои знаменитые «Поморские ответы», ходившие в списках по рукам и на севере, и на юге вплоть до Киева. Свой историк Иван Филиппов писал «золотою тростью» свою известную историю Выгореции. В то же время невозможно стало при множестве людей следить за строгостью нравов, беречь «сено от огня»: общение мужского пола и женского. И вокруг монастыря, как предсказал прозорливец Корнилий, стали жить не подвижники, а самые обыкновенные люди с мамушками и с люлечками.

Так мало-помалу на севере внутри великого государства Петра стало расти другое не совсем дружественное ему государство Выгореция.

Можно понять Марью Мироновну, что скорее всего она к тому, наверное, всегда и вела свою сказку о ве-

нике, что пустынники, соединившись вместе, слишком уже направили свое внимание к устройству жизни земной и тем возбудили внимание и зависть людей, не имеющих никаких стремлений к жизни небесной. Вот это пристрастие к жизни земной, наверно, она и называла *слабостью.*

Осударева дорога проходила очень недалеко от того места, где жили выгорецкие пустынники в двух своих монастырях: в мужском на Выгу и в женском на Лексе. Великий ужас напал на староверов, когда прошел слух, что сам царь-Антихрист с сыном Алексеем, с большим народом, с кораблями приближается к ним. Многие бросились к прежним приемам борьбы: натащили из лесу смолье, заложили его в деревянные строения, чтобы не сдаваться живыми,— сгореть вместе со своим нажитым добром. Одни хотели гореть, другие бежать, как прежде, и расселяться поодиночке в глухих местах.

Время жизни нашей летит быстро, но если пристально смотреть на часы, так оно, кажется, не идет даже, а стоит. Так точно и в прошлом, если считать время годами, далеко кажется от нас то время, когда Петр со своим сыном Алексеем во главе свиты своей и народа, собранного с трех губерний, подходил к Даниловскому общежитию на Выгу. Но если время не годами считать, а по человеческой жизни, то оно окажется совсем недалеким от нас. Восемьдесят лет тому назад родилась в Надвоицах наша Марья Мироновна, а еще за восемьдесят лет от нее был жив последний большак Выгореции, а еще за восемьдесят лет от него и проходил Петр со своими кораблями по Выгореции.

Марья Мироновна об этом ужасе раскольников перед встречей с царем-Антихристом рассказывала так живо, будто она сама царя в лицо видала, сама же будто и закладывала в деревянные стены смолье.

— Не от самого царя вред был,— говорила она,— а больше от клеветников и завистников, окружавших царя.

И, конечно, они при первом случае доложили царю, что совсем недалеко, здесь на Выгу, живут пустынники своим собственным маленьким государством, богатеют, торгуют, пишут книги, проповедуют старую веру, а за царя богу не молятся.

Расспросив подробно об устройстве замечательной

общины, Петр обрадовался встрече с такими дельными людьми и, верно, пропустил мимо ушей или просто не придал значения тому, что они за царя богу не молятся.

На этом месте рассказа всегда, бывало, дрогнет какая-то струнка в лице Марьи Мироновны, для нас, ребятишек, очень приятная. Казалось, будто бабушка наша очнулась от своей постоянной ужасной мысли о скором конце света, любовно-лукаво примиряясь с землей.

И непримиримая наша обличительница новой веры начинала горячо восхвалять царя.

— Как же так,— спрашивали мы Марью Мироновну,— то называла царя Антихристом, а то вот теперь восхваляешь?

Тогда с не сходящей с лица лукавой улыбочкой добрая и совсем другая Марья Мироновна, не обличительница, а мирская няня, говорила нам:

— Это, деточки, по вере мы считали царя за Антихриста, а по делам своим он прошел как отец отечества благоутробнейший, оставляя сердце свое в руках всемилостивого небесного отца, человеколюбиво милующего пустыню сию.

И спокойно рассказывала дальше, как царь потом вспомнил о пустынниках и, вместо того чтобы наказывать их,— что богу за него не молятся,— заставил их отливать пушки на пользу всего государства Российского. И когда пустынники, желая сохранить в целости свое общежитие, уступили царю, то эта слабость привела к другой слабости, и вся жизнь монастыря начала падать и разлагаться.

При царе Александре Третьем приехал чиновник, все описал, все опечатал, и с тех пор Выгореция кончилась.

— А как же быть,— говорила Мироновна,— как же быть тоже и царям? Он же государь, у него на руках большое дело, не он виноват, а каждый из нас виноват в своей слабости.

И, вспоминая веник, еще говорила:

— Сидели бы отцы на местах, ждали бы терпеливо в гробах своих конца света, а то нет! увидали веник, и захотелось попариться. Мало ли что самому-то захочется! Деточки, не по желанию живите, не как самому хочется, а как надо всем нам жить.

III. ФИНСКИЙ КОФЕЙ

Там, где весь наш коренастый могучий Выг тремя падями валится вниз в озеро Воицкое, в селе Надвоицы, в своем хорошем доме живет родной брат Марьи Мироновны, богатый и могутный рыбак Сергей Мироныч.

Случилось, около праздника Николы-вешнего заболел у этого дедушки Мироныча семнадцатый внук, и Марья Мироновна, мирская няня, на своем черном карбасе приплыла к брату в дом и стала ходить за мальчиком. Вскоре тут подошел и самый праздник Николы, любимый на Выг-озере. В Надвоицах и на всем Выг-озере, на островах и на сузёме, и на Сег-озере и даже в большой глуши на Хиж-озере давным-давно от финских карелов ловцы и полесники переняли привычку в праздники по случаю удачного лова и охоты угощаться кофеем. Как это случилось, что старообрядцы пользовались такой «слабостью», скорее всего вышло только от того, что кофей пили тут исстари, может быть и до Никона. В ту весну в доме Мироныча был счастливый лов и охота: довольно наловили семги, скачущей с камня на камень вверх через водопад, напоездовали сигов, наловили сетями и накололи острогами щук. Не грех было в праздник Николы-вешнего собрать всю семью и всем вместе напиться кофею.

Приехал с Корос-озера старший сын Мироныча Осип, всегда молчаливый при батюшке полесник. Он привез с собой много дичи, мяса звериного, соленого, и свежих, только что убитых на токах мошников. Младший сын, молодой саблеватый парень Ванюшка, работающий на сплаве лесов, прибыл из Сороки погулять на празднике. Оба зятя приплыли из Габсельги и Койкиницкого погоста со своими бабами. И здешние сыновья Мироныча, все пятеро, собрались с женами и малыми детьми.

В ожидании приезда из поморья почетного гостя, промышлявшего морских зверей, убирали стол. Принесли огромные рыбники, с запеченными в тесте цельными сигами, и тоже семужные были рыбники с нежно-розовым мясом, и щучьи пироги на любителя щук. И мошники цельные большие и высокие стопы калиток с творогом.

Возле полураскрытой занавески у образов с лестовкой в руке вся в черном сидела Марья Мироновна. Она не

к празднику, не за кофеем прибыла сюда с Карельского острова, а только чтобы спасти от смерти больного мальчика, сына Осипа Сергеевича, семнадцатого внука Сергея Мироныча. Дни и ночи сидела мирская няня возле больного, что-то шептала, перебирая пальцами узелки своей староверской лестовки, понимая так, что удерживает душу больного на какой-то высоте между землею и небом.

«Не упустить бы ангельскую душку»,— думала мирская няня.

А душка мальчика в этот день как раз только и начала оживлять пролежавшее неподвижно столько дней тело. Где-то в своем поднебесье Зуек услышал знакомые прекрасные клики пролетающих лебедей, и это решило все: он начал спускаться на эти звуки родной земли.

Выставляли в избе зимнюю раму, и вместе с шумом Надвоицкого падуна всем послышались гармонические звуки лебедей, перелетающих по светлым ламбинам [1] на места своих гнездований.

— Лебеди, лебеди! — закричали дети.

— Как славно играют! — отозвался отдыхающий на полатях Сергей Мироныч.

А Марья Мироновна, измученная бессонной ночью, услыхала в довольстве сказанные слова брата об игре лебедей и ответила ему с явной досадой:

— Играют лебеди, им бы только играть, а нам бы с тобой лежать на полатях да слушать.

— Не все у них игра,— усмехнулся Мироныч,— поиграют птицы самую малость, а там надо яички класть, надо на яичках сидеть, не есть, не пить, не спать, а там, вывелись птенцы — надо кормить, это нелегкое дело: каждому птенцу нужна рыбка, а там надо выходить, надо уберечь от ястреба и от зимней стужи нашей, увести в теплые края. Нелегко и лететь туда,— на лебедях летят в теплые края вошки, букашки в великом множестве, все кусаются, все есть хотят, кровь лебединая исходит на всякую дрянь. А крылами все надо махать и махать. У каждой птицы под крылом мозоль нарастает в кулак, и каждая птица должна про себя понимать: долечу ли я, или упаду. И нет у птиц докторов, как у нас. Упадешь — товарищи спустятся и заклюют, чтобы не мучил-

[1] Светлая ламбина — озеро со светлой водой, темная — с темной.

ся и другим не мешал дальше лететь. А ты, сестра, говоришь — у них только игра!

— Конечно,— ответила Мироновна,— дело нелегкое... А все-таки — по желанию! Свои деточки у лебедя — свои желания: вот и легко.

— А можно ли что-нибудь сделать на свете без своего желания, Марьюшка?

— Можно, Мироныч!

— Ну как же так, не пойму! Ты вот, мирская няня, ходишь за чужими детьми. Разве что вот это?..

— И тоже хожу за ними по желанию, и борюсь с этим, и все не могу до конца победить этой слабости: я им делаюсь все равно как родная мать.

— За своими — по желанию, за чужими — по желанию... Да можно ли, сестра, на свете хоть что-нибудь сделать без своего желания?

— Отчего же нельзя? Наши отцы не по желанию жили.

— А как же?

— Как надо.

— А как, по-твоему, надо?

— Не по-моему, брат, а как написано было в наших старых книгах до нечестивого Никона. Ты это знать должен.

Мироныч, старый человек, прочел за жизнь не один десяток тяжелых староверских книг и уж хорошо знал о наступающей слабости и о том, как надо жить по учению отцов. Но на него в спорах с сестрой что-то находило, какое-то упрямство, и до того, что он начинал по временам заступаться даже за «слабость».

— Лежать в гробу,— сказал он,— учили наши отцы и лежа дожидаться светопреставления. Ждали-ждали и не дождались. Верно ли это, что мы в гробах должны ждать конца? Верно ли, что сразу все должно кончиться, а не каждый человек отдельно кончается в своем труде: кончил трудиться, и сам кончился, и думал, что жил для себя, а оказалось, жил на пользу других. Сестра, не гордость ли наша староверская в этом, чтобы сразу всем кончиться, а самому лежать и дожидаться, когда придет наконец час для всех!

Тогда как будто в подтверждение слов Мироныча против стремления живого человека к своему смертному часу, да еще с угрозой этим часом для всех, на белой

подушке явились два чудесных голубых цветка. Так удивляемся мы цветам, когда, отвечая красоте солнца золотого и неба голубого, они образуют свои венчики. Но что удивительнее прекрасного детского глаза, отвечающего и всей красоте природы и чему-то еще более нам дорогому, нашей какой-то смутной надежде на будущее счастье всего соединенного в добре человека.

Так, выздоравливая, Зуек открыл свои голубые глаза с золотой искоркой. Но Мироновна этих глаз не видала. Зеркало души ее было взволновано. Слова брата налетели на него, как ветер налетает на спокойное лоно воды и смешивает все чудесные отражения действительно прекрасной жизни. Как будто тень замученного фанатика Аввакума вошла в нее, и, такая добрая бабушка, протянув вперед руку с двуперстием, она зашептала старыми, закостенелыми словами:

— Мертвые встанут! Что, вы признаков не видите? Леса, воды, все измерено. Цепь Антихриста пролегла по всем просекам, диких зверей стали считать, на товарах всюду печати, сатанинской проволокой, как паутиной, опутан весь мир...

А Мироныч, не слушая знакомые и давно прожитые слова своей сестры, радостно глядел на голубые цветы своего любимого внука.

— Брось, сестра,— сказал он,— ты погляди-ка лучше на внука!

Оглянулась Мироновна — Зуек встретил ее с улыбкой на щеках, начинающих румяниться.

— Бабушка,— сказал он,— а что, лебеди не считаны?

— Нет, сыночка,— ответила бабушка совсем другим голосом,— лебеди не считаны: кто может их сосчитать? Лебеди — птица вольная.

— А весенние ручейки в наших лесах?

— Ручейки, сыночка, неровно бывают: один год меньше, другой больше. Как это можно ручейки сосчитать, глупый?

— И что это, ручейки, это наши желания?

Мироновна вздохнула:

— Желания, миленький: бегут, бормочут, шепчутся, травки-листики качают, камешки лижут, пошевеливают, все, все это, как наши желания...

— И лебеди?

— Весна ведет и всем дает желания.

— И несчетные?

— Кто может сосчитать это: все жить хотят.

— Как же ты сейчас с дедушкой спорила и говорила: все звери в лесу сосчитаны, и деревья, и все на свете измерено и опутано проволокой, как паутиной?

— Ну и молодец,— отозвался с полатей Сергей Мироныч.

Старик приподнялся, ноги с полатей спустил, приготовляясь к новой борьбе со старухой за жизнь на земле в бесконечном ее несчитанном разнообразии.

Но Зуек, еще слабый, закрыл глаза, и румянец слетел с бледных щек. И та же самая рука, только что грозившая своим страшным заклинающим двуперстием, теперь обратилась доброй ладонью с разжатыми пальцами и, часто покачиваясь, умоляла всех в доме о тишине:

— Тише, тише! — шептала Мироновна.

И полуоткрытый рот, и материнская улыбка пробудили на старом лице следы былой великой красоты человека.

— Уснул, уснул,— шепнула она,— это к здоровью!

И осторожно, бесшумно задернула полог.

Но Зуек не спал. Его душа теперь была, как это часто бывает у тех, к кому возвращается жизнь: душа его была как вся земля, как вся природа, и он в ней, как свой, и все тут было свое, близкое, знакомое, прекрасное и понятное.

Вот оно тут лежит, все Выг-озеро со всеми своими островами: сколько дней в году, столько островов на Выгозере. И со всех сторон в озеро бегут речки из лесов, и несчитанные ручьи, все шевелят травками и, ударяясь о камни, шепчут и бормочут по-разному и неровно: то погромче, то потише. Когда потише — рождаются травки, когда погромче — то рождаются камешки, и у всех выходит одно:

— На ро-ди-ну!..

А падун, этот великан трехголовый, высунул плечи черные из-под воды и там под водой руками своими огромными над чем-то трудится, работает, крутит воду, бросает, наказывает, сердится, гонит, рычит:

— На ро-ди-ну!

Поднялась даже на зов из моря холодная рыба и снизу пошла вверх на падун. Серебряной семге тоже надо перебраться через падун вверх на родину. Зуек

теперь видит себя не на постели, вся душа его стала теперь — вся родная земля. Он теперь сидит с деревянным молотком-*кротилкой* у одной каменной чаши возле падуна: сам в печурке, кротилка наружу.

Семга, бросаясь вверх с камня на камень, должна попасть в эту каменную ямку. Вон там внизу, где разбивается стол падающей воды, сверкнула вверх длинная искра: это она сделала свой первый скачок вверх с нижнего камня повыше, и вот с этого верхнего сейчас скачет еще выше, еще прыгнула, еще, и прямо к нему под молоток. А вон другая прыгнула и ошиблась: встречная струя сшибла ее, ударила о камень головой, огромная рыба упала в бучило и там завертелась, бессильная, по воле воды, с перевернутым брюхом.

Рыбу крутит вода, воду крутит черный трехголовый великан. А кто над великаном стоит? Зачем ходит месяц по небу, зачем звезды, зачем солнце? Что это они — так по желанию ходят, как говорит дедушка, или их тоже крутит великан какой-нибудь? И им так надо ходить, как говорит бабушка?

А вон и новая семга сверкает внизу и прыгает вверх. Ей надо пробиться из моря, из Нижнего Выга через падун в Выг-озеро, а из озера в Верхний Выг на родину, на места икромета.

Значит, она не боится погибнуть: ей так надо.

И ей так хочется.

Ей до смерти хочется, а выходит: так надо.

Семга сверкнула, как искра огня, и мысль сверкнула у мальчика:

«Почему же у семги так выходит, что если ей до смерти хочется, то это же ей так и надо? А если бабушке что-нибудь хочется, то это грех, а надо бывает у нее, когда самой вовсе не хочется».

IV. ТАБАШНИКИ

Старый друг Мироныча Михайло Потапыч с приездом своим хорошо подгадал. Пироги на столе далеко не успели остыть, когда показался на озере его карбас с одним парусом на прямую поветерь. По северному обычаю женка его сидела на веслах, а он, бородатый, правил и помогал ей кормовым веслом. Ловко обойдя Еловый

островок, разделяющий натрое падение Выга, карбас остановился против дома Мироныча с восьмиконечным крестом и с князьком на крыше, подобным голове оленя с ветвистыми рогами. Гостя дорогого Мироныч усадил возле себя и, не видав его уже лет тридцать, стал рассказывать о себе и потчевать всем, что дает северному полеснику и ловцу богатая вода и таежный сузём.

— До веку мне остается немного,— говорил Мироныч,— не знаю, друг, доживу ли еще. Много ли тебе остается до веку, Михайло?

— Мне остается до веку,— ответил помор,— сколько у белого медведя зубов без одиннадцати.

— А сколько у медведя зубов? — спросил бойко Зуек, раздвигая обеими руками занавеску широко в обе стороны.

— Больно ты боек,— засмеялся Мироныч.— Есть кто тебя поматерей за столом, и тоже не знает, сколько у медведя зубов, а не смеет спросить. Вот придет время, отдам тебя Потапычу на выучку, пойдешь с ним на зверя, убьешь, и сосчитаешь, и узнаешь, сколько у него зубов.

— А не уладишь убить,— засмеялся Потапыч,— он у тебя сосчитает.

— Ну вот, зачем так,— поправил друга Мироныч,— годика через два найдем мы тут неподалеку берлогу, поставим парня против чела, и я скажу: «Ну-ка, Зуек, стар я становлюсь, память путается; скажи-ка мне, молодец, сколько у медведя зубов?»

Все засмеялись, все посмотрели на кудрявого мальчика с большими голубыми глазами. Осенью в заводях, когда небо чистое как будто немного мутнеет, прозрачная вода становится голубее неба и где-то в глубине сверкают золотые искорки солнца — такие глаза были у Зуйка.

Загляделся Мироныч в глаза любимого внука и, верно, в них себя самого увидал, когда он тоненьким ребятенком тоже такими глазами с острогой в руке выглядывал щук в синей заводи.

— Эх, Михайло,— сказал он раздумчиво, не спуская глаз со своего внука,— был и я тоже молод и несмышлен и тоже спрашивал: и сколько у медведя зубов, и звезд на небе, и что это солнце, и что это месяц, и какая это книга нам с неба упала, и что в ней написано. Смотрю вот сейчас на внука, радуюсь ему, а сам вроде как бы

отхожу... Эх, был конь, да заезжен! Но ум, Михайло, все мой! Моего ума держимся мы в семье. Родитель мой батюшка богато жил на Киж-озере. Так вот он сказывал, родитель-батюшка, будто на камне середь озера узрил он, как водяной выгозерский с водяным кижозерским в карты играли. На другой день после этого случая вода в Киж-озере стала убывать, и через три дня от всего озера осталась только дырка в земле: и рыба и вода ушли от нас, а вода в Выг-озере заметно поднялась. Так и подумали на карты, что хозяин кижозерский хозяину выгозерскому в карты проиграл и воду и рыбу. Поросло наше озеро ольхой и частым осинником, человеку пройти только с топором. Пробовали жечь лес, камни ворочали, сияли нивы. Да что говорить: возле океана живем; подует морянка, да ясень на небе, да три звезды — все вымерзнет, весь труд тяжелый пропал. Тут родитель мой батюшка говорит:

«Ну, Сергей, видно, правда кижозерский хозяин рыбу свою проиграл выгозерскому, и не вернется она к нам оттуда. Собирайся в поход: идем на поклон выгозерскому хозяину».

Так вот перебрались, и родитель-батюшка под самый конец мне сказал:

«Ум, Сергей, не бочонок с водой, не переставишь, не перельешь в чужую голову. Пока я жив — бери с меня пример. Живи примером, а свой ум береги».

— Вот я, Потапыч, с каких времен помню и ум свой берегу: моего ума держимся.

— Что уж! — сказал на эти слова койкиницкий зять.

— Да уж! — отозвался зять с выгозерского погоста.

— Мироныч, Мироныч! — оборвала вдруг разливистую речь старика Марья Мироновна.— Погляди-ка, что там за дымок на озере, будто вода загорелась и какой-то невиданный карбас без весел летит по воде: нет и паруса, а сзади дымок.

Все поглядели в окно, лодка неслась по воде против ветра, как птица.

— Моторная лодка,— сказал Потапыч.— У нас в Поморье теперь это не диво. Только глядите, други, чует мое сердце, это неспроста, тут что-то есть.

— Это еще что! — отозвалась Марья Мироновна.— Вот поглядите, в священном писании на летающего мо-

наха указано, что в последние дни архиерей полетит на крылах.

Крупная моторная лодка между тем летела, росла, разрезая воду Выг-озера расходящимся углом, подобным каравану гусей. Скоро она причалила к берегу как раз против дома Мироныча. Из лодки на берег вышел высокий молодой человек такого вида, какими тогда выходили из народа начальники: бритый, выдающийся вперед подбородок как будто стремительно влек всего человека вперед, а во лбу и глазах какая-то другая сила осаживала движение, и оттого ноги ступали рассчитано, руки в плечах двигались сдержанно. Это был явно начальник, и четверо других ребят, более молодых, держались совершенно свободно, как будто всю заботу о каком-то важном деле взял на себя их начальник. С ними была еще молодая женщина в военной одежде с наганом, в зюйдвестке, кавалерийских штанах, почти от мужчин не отличимая.

Начальник, выйдя на берег, стал сейчас же крутить себе папиросу, другие вынесли из лодки тяжелые котомки, один достал несколько пачек папирос, всех наделил, все закурили.

— Табашники! — сказала Марья Мироновна.— Только вышли на берег — и небо коптить!

— Да уж! — сказал один зять.

— Что уж! — ответил другой.

— А котомки,— молвил Мироныч,— видно, тяжелые: смотри, как засутулились: небольшие мешки, а тягость какая.

— Да, Мироныч,— молвил Потапыч,— я в Поморье на них насмотрелся. Чует сердце мое, это вам неспроста: пора кончать вам в своем соку вариться со своими сигами да с мошниками. Время везде переходит, вот и до вас дошло.

Вытащив лодку, табашники направились к лучшему дому в селе, к дому Мироныча с крепким крестом, высокой сосной и резным оленем на крыше.

Один из молодых табашников попробовал свою силу на нем, но большой восьмиконечный крест и не дрогнул.

— Крепко ставлено! — сказал этот табашник.

— Да уж! — ответил, услыхав эти слова, один зять.

Посмотрев на прекрасного оленя, поставленного вме-

сто князька,— он был вырезан весь из цельного куска дерева,— приезжие подивились.

— Коньки ставят,— сказал один,— чтобы князь не прел: это просто, а для чего трудился человек рабочий на такого оленя?

— Красота! — ответил другой.

— Что уж! — сказал зять в окне.— Понимают, тоже, что есть красота.

— Батюшки мои,— вдруг воскликнула, вся переменяясь в лице, Марья Мироновна.— Да они, кажется, к нам идут!

— Понравился олень,— спокойно сказал Сергей Мироныч.

— Семушка,— крикнула Марья Мироновна на детский стол одному из приезжих внуков.— Семушка, скорей беги, скажи, как сумеешь: никого дома нет.

— Гораздо уж ты строга,— остановил ее Мироныч и махнул Семке рукой, чтоб сидел на месте и никуда не бежал.

— Табашники идут, слышишь ты, брат, табашники!

— Опять старая песня,— ответил Мироныч.— Теперь и хорошие-то люди курят табак, что с этим поделаешь! Не можем же мы всех заставить кровью своей кормить комаров, как делали наши отцы. И какая теперь людям от этого польза?

— Не польза,— ответила Марья Мироновна,— а пример. По хорошему примеру люди живут. Польза приходит сама собой. А если без примера будешь только за пользой гоняться — ничего не выйдет полезного. Сема, сейчас же беги!

Неизвестно, чем бы кончился для Семы спор двух упрямых стариков, только в это время застучали ноги по лестнице и твердый и сдержанный голос сказал:

— Разрешите войти, граждане!

V. МАРЬЯ МОРЕВНА

Бывает, и в маленьких странах время обходит и щадит иные уголки до тех пор, пока не явится желание сохранить хоть один такой уголок неприкосновенным. Так бывает и в маленьких странах, а у нас, если обернуться лицом в прошлое, можно такое найти на нашей земле, что в других странах давно уже под землею.

Так обошла гражданская война Надвоицы, и все сохранилось здесь в народе, как будто жили все в одном доме, все были свои и пуще всего боялись нового человека. В забытом краю пели былины о Владимире Красном Солнышке, молились по неисправленным Никоном книгам, и конца света ждала не только одна Марья Мироновна на Карельском острове.

Но время вспомнило забытый край, и к своим людям постучался с виду чужой человек...

Чужой человек вошел, и свои люди за столом глядят на него, как стадо животных домашних глядит на зверя иной породы и следит внимательно за всеми его движениями, за выражением лица и фигуры.

— Хлеб да соль! — приветствовал чужой человек.

— Милости просим! — отвечали свои люди.

Вслед за начальником вошел тот военный в зюйдвестке с наганом, и когда он тоже сказал: «Хлеб да соль!», то все сразу по голосу узнали в нем женщину.

— Там за дверью четверо моих ребят,— сказал начальник,— мы приехали сюда по большому государственному делу, нуждаемся ненадолго в квартире: очень скоро мы выстроим тут свой городок.

— Государственному делу,— отвечал Мироныч,— мы с охотой готовы служить и хорошим людям всегда рады. Зовите ребят ваших к нашему хлебу и соли.

— Табашники! — возмущенно прошептала Мироновна.

Начальник это услыхал.

— Вы,— сказал он спокойно, обращаясь прямо к Мироновне,— не беспокойтесь! курить и сами не будем в избе и за ребят отвечаю: не дыхнет никто табаком.

— Эх, сестра,— покачал головой Мироныч,— слыхала же ты: люди по большому государственному делу приехали, а ты со своим табаком заладила на всякого как сорока про Якова! Зовите товарищей, присаживайтесь к столу, гости дорогие.

— Позовите ребят, товарищ Уланова,— распорядился начальник.

— Слушаю, товарищ Сутулов,— ответила по-военному женщина.

И, обернувшись, открыла дверь.

— Маша,— остановил ее начальник,— ты ребятам на-

шим скажи насчет табаку, как сейчас говорили: чтоб и духу не было.

— Слушаю, товарищ Сутулов,— ответила Уланова.

И скоро привела сидевших в ожидании на лавочке возле дома молодых людей, немного оробевших под общим разглядыванием. Сутулов дельно высмотрел для них места за столом, усадил.

Уланова как будто сейчас только вдруг для всех открыла свои глаза, большие, карие и как бы одновременно печальные внутрь себя и веселые к людям. У русских людей это бывает, и у самой Мироновны раньше в молодости были такие глаза: сразу и печальные к себе и веселые к людям. С доброй внимательной улыбкой приезжая женщина оглядела всех, в одно мгновение запомнила и унесла все с собой, как уносит с собой все ей нужное налетающая на берег морская волна.

И Зуек с его удивленными большими глазами не остался незамеченным: волна, откатываясь, заметно на мгновение остановилась на нем и еще дольше остановилась на строгом красивом лице Марьи Мироновны. Отойдя в уголок, она там начала, стараясь быть незаметной, приводить себя в порядок и превращаться из морской волны и военного в женщину.

В крестьянских избах постоянно раздеваются и убираются на людях так, что все это видят и в то же время как будто и не замечают ничего, и Зуек тоже, как все, не таращил глаза в уголок, а все видел, все замечал про себя и что-то складывал у себя в голове.

Маша прежде всего сняла с себя загрязненную зюйдвестку, и каштановые волосы крупными золотистыми кольцами рассыпались вокруг лица и по плечам.

С того времени как рассыпались волосы по плечам, Зуек стал себе складывать из Марии Улановой свою сказочную красавицу Марью Моревну. Так многие дети делают, так просто складывается целый мир свой собственный у каждого из нас в детстве, из обыкновенных, но еще невиданных вещей.

Приезжая женщина сняла с плеч свою котомку, вынула из нее сумочку кожаную, открыла ее, достала маленькое круглое зеркальце, привесила его на стене, зацепив за гвоздик. Зуек первый раз видел такое: это была хорошо ему знакомая Марья Моревна. Чудесным было только одно: как могла она из сказки выйти сюда,

Она достала бутылочку маленькую с пробкой стеклянной, обвязанной чем-то и затянутой ниточкой, чтобы не выскочила. Вынула чистый вчетверо сложенный белый платок с цветочками и частыми дырочками по краям и немного полила на него из бутылочки, и бутылочка сверкнула в солнечном луче, как алмазная, своею гранью, и только коснулась, только слегка провела Маша платком по лицу — вдруг оказалось, что в бутылочке была *живая вода.*

Лицо Марьи Моревны стало цветистым, и по всей избе повеяло ароматом, как будто летом открыли окно, когда всюду цветут луга. Марья Моревна вынула из кожаной сумочки какую-то блестящую коробочку круглую, сняла с нее крышку, ваткой взяла белый порошок, покрыла им цветущее свое лицо, и оно стало, как небо в белых сквозных облаках на заре. Сложив обратно коробочку в кожаную сумку, она провела пальчиком по бровям — и они раскинулись, как крылья, когда птица спускается в воду. Потом она расстегнула военную куртку, и оттуда показалась кофточка, точно как бывает вечером на небе, розовая с голубым, и вся шашечками: одна к одной, розовая к голубой, голубая к синей, и опять розовая. От шеи по этому вечернему небу спускается платочек с золотыми цветами. После этого красавица обернулась ко всем, села за стол, и сквозь улыбку глаза ее, и веселые, и печальные, и все понимающие, были как если бы на заре ко всему, что бывает прекрасного, еще вышли бы меж облак два человеческих глаза.

Так Зуек, создавая свою Марью Моревну, вспомнил, как однажды, после охотничьего трудного перехода с отцом, наконец-то под вечер темный лес разноцветными своими окошечками открыл вид на зарю, и так было хорошо на опушке, что и усталый отец остановился и стал вслух читать свои «живые помощи». Он же, мальчик, стоял на месте, глядел на зарю и все чего-то ждал и ждал. Теперь он понял, что ждал тогда вот эти глаза, что этих глаз человеческих тогда не хватало в природе.

Так Зуек, поняв приезжую женщину как свою сказочную Марью Моревну, перевел глаза на Сутулова и стал вырезать по-своему из него своего «начальника». Он сразу же заметил, что бабушке Сутулов очень не нравится, и понял, что это у нее все за табак. А вот почему дедушке новый человек чем-то сразу понравился? И раз-

думывая об этом, он стал понемногу выводить себе «начальника» из дедушки, как вывел свою Марью Моревну из зари, облаков, леса и ароматного луга.

Он сразу заметил тоже, что начальник держит и себя и ребят своих, как дедушка тоже всегда держит себя, и от этого все его слушаются. Дедушка как будто на чем-то стоит и что-то держит, и это нужно для всех: это для всех *надо*. Дедушка велит — и это надо, хотя самому-то, может быть, *хочется* и совсем другого. Вот и начальник тоже, как дедушка, держит себя, как большой, а ребята его и большие, а все равно, как у дедушки, маленькие: они слушаются, они держат себя и таят что-то свое, чего им так хочется. Да, им теперь, конечно, хочется покурить, а надо удерживаться даже дышать табаком. Но это Зуек, конечно, по себе так догадывался о ребятах, они же все сидели, как связанные волей дедушки и начальника, и виду никакого о своем желании покурить не подавали. Так из дедушки вырезал Зуек своего «начальника» и стал внимательно слушать беседу, и слова, чуждые и непонятные, вроде *государственного дела,* переводить на свой детский язык. Так точно и умные зверушки внимательно смотрят на нас, и мы не всегда догадываемся, что по-своему они все понимают.

VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Дав гостям хорошенько покушать, а самому за это время к ним приглядеться, Сергей Мироныч, наконец, решил спросить Сутулова:

— А по какому же делу вы приехали и для чего будете строить здесь городок?

— Приехали мы по государственному делу,— ответил Сутулов,— мы назначены прокладывать водный путь для больших морских кораблей, путь из Белого моря к Балтийскому. Надвоицы будут на этом водном пути одним из самых главных узлов.

— Ой ли! — воскликнул весело Мироныч.

И обернулся к жене:

— Ну, княгинюшка Евстолия Васильевна,— потчевай дорогих гостей как только можешь,— слышишь, по какому большому делу к нам люди приехали.

И, обращаясь к своему другу помору, сказал:

— Я жену свою, Михайлов, в большие праздники постоянно княгиней зову.

Евстолия Васильевна при этих словах быстро, второпях, стала что-то дожевывать, проглотив, встала, всем поклонилась и, несмотря на свой возраст, конфузливо закраснелась. Княгиня была тоненькая, сухонькая, а глаза большие, горящие и для всех приветливо светились в том смысле, что если все обиды снять с людей, то будут все хороши, а праздник затем и праздник, чтобы люди обиды свои все дома оставили.

— Кушайте, дорогие гости, беседуйте! — кланялась хозяйка.

И все гости, слушая ласковые искренние слова, кушая, чувствовали, будто входят в большую семью и к ней как-то присоединяются.

Зуек в это время не сводил глаз с Сутулова. Он очень хорошо понял по дедушке, что начальник о своем государственном деле сказал страшно большие слова и что дедушка сплутовал: услыхав эти слова, чтобы получше их понять про себя, он завел речь про княгинюшку. Такое Зуек все хорошо понимал: дедушка неспроста угощает гостей.

— Да, друг мой,— говорил опять Сергей Мироныч помору,— люба ли тебе княгиня моя? Ну, а мне в свое время гораздо она полюбилась.

Какое время было, какими примерами жили! Старики-то наши тогда все о царствии небесном думали и плоть свою морили: бывало, слепням-комарам и всякому гнусу лесному спины свои подставляли. Понимали отцы — царствие будет там, а не здесь на земле. За грех считали даже в бане хорошенько попариться: чем трудней, мол, здесь, тем легче там будет. Только временную жизнь устраивали здесь отцы, а нынешняя молодежь: давай хорóм, коня да дом! Вы-то как, гости дорогие, об этом думаете?

— Мы думаем,— ответил серьезно, не улыбаясь, очень властно и твердо Сутулов,— жизнь надо устраивать на земле хорошо и прочно. Так ли я говорю, товарищ Уланова? — сказал он, не улыбаясь, а только смягчая голос.

— Где же устраивать жизнь, как не на земле? — ответила Уланова.— Будем устраивать здесь, а на небе все само собой уетроится.

И вдруг, увидав Зуйка, глядевшего на нее во все свои голубые глаза, как на зарю, улыбнулась ему.

— Тебя как зовут, милый мальчик? — спросила она.

— Зуйком,— ответил тот просто.

— Что за имя такое? — засмеялась Уланова.

— Имя его простое,— ответил, улыбаясь, Сергей Мироныч, как старые хозяева улыбаются чему-нибудь своему доброму и маленькому,— имя его Олешенька.

— А Зуек?

— Это мы, рыбаки, так зовем: когда ловим сетями наживку, так маленькие чайки у нас, самые маленькие, проворные, ловкие, хорошенькие, между нами летают и наживку только что из самых рук не хватают. Вот мы и Олешеньку так с малолетства все: Зуек и Зуек.

— Вот, Зуек милый, будь у нас и вправду с тобой крылышки, мы с тобой бы и полетели на небо.

Тогда, наконец, осмелился сказать и один из ребят:

— Лететь можно и на самолете, за этим дело не стало.

— На самолете туда не долетишь,— ответила Маша.

— Бензину не хватит! — весело и сочувственно подал свой хозяйский голос Мироныч.

— Нет, я не про то,— серьезно сказала Уланова,— у нас у всех есть свои крылышки, мы так и родимся с ними, и все бы летали на своих крылышках, да вот почему-то нам их обламывают. Я к тому говорю, что жизнь наша коротка и так, а мы еще ее укорачиваем и заставляем себя делать не то, для чего мы родились, не то, что нам самим хочется...

Зуек про себя прошептал:

— По желанию...

— Как же так, деточка,— ответил Мироныч,— по-твоему выходит: как кому захочется, так и живи. Нас отцы учили жить не как самим хочется, а как надо жить.

— Правильно учили отцы,— ответила Уланова,— я не против этого говорю: лично себе-то мало ли чего захочется. Я, конечно, все это отбрасываю и стараюсь делать не как мне самой хочется. Но тоже по себе знаю: если что-нибудь мне до смерти захочется и я так поступлю, то это и будет непременно как надо.

— До смерти захочется,— шептал про себя Зуек, вспоминая, как он то же самое думал о семге, прыгающей через падун на места гнездования: семге до смерти хочется туда пробиться, и у нее выходит как надо.

Маша Уланова раскраснелась, и заметно по всему, образованная женщина она была, а говорила среди простых людей так просто и почтительно, как будто это было общество людей самого высокого круга. Сергей Мироныч это очень хорошо понимал и, подумав о ее словах, в увлечении принял их в таком смысле: до смерти захотеть, все поставить на карту — и тогда у каждого выйдет как надо.

— Ну и голова! — с восхищением воскликнул Мироныч.— Такая была царица... как только ее звали, забыл: такая мудрая царица пришла к царю Соломону...

— Царица Савская,— подсказала Уланова.

— Ну и голова! — повторил Мироныч.— А ежели ты, царица, такая прыткая, то какой же должен быть у тебя Соломон!

— Саша,— сказала она, поглядев на Сутулова,— мне что-то стыдно становится такие похвалы получать. Не заслужила я.

— Мне тоже кажется,— с улыбкой ответил Сутулов,— не заслужила и рассуждаешь неверно. Мало ли что другому захочется.

— Я сказала: до смерти...

— Ну что ж, пусть другому до смерти захочется кроить людям черепа, так за то только, что он рискует, и подставлять свою голову? Нет, товарищ Уланова, это не выход для всех.

— Так разве я о всех говорю? Я о себе.

— Нет, Машенька,— согласился Мироныч,— это не выход.

— Да уж! — сказал один зять.

— Что уж! — ответил другой.

— Неверно!— повторил Сутулов.— Человеку мало хотеть до смерти, ему еще нужен верный план, чтобы делать как надо. Все животные дикие живут, как им хочется, и жизнью своею постоянно рискуют: своими глазами видел, как семга прыгает по камням через падун и разбивается.

Зуек слышно вскрикнул «а!» от удивления, и Уланова пристально на него поглядела. А Сутулов продолжал:

— Человек тем и отличается от животного, что ему мало жить по желанию: человеку нужен еще верный план.

— Соломон, Соломон! Настоящий царь Соломон! —

воскликнул восхищенный словами Сутулова Сергей Мироныч.— План должен быть у человека, план первее всего. Лонись[1] мы вот тоже с сестрой спорили, я вот, тоже, хватил было по желанию, а она мне говорит: надо план, надо по плану жить, как отцы наши и деды жили: жить по священному писанию.

— Неверно,— перебил старика Сутулов.— В этом писании план определен на жизнь небесную: тут на земле с жуликами, а там на небе будут ангелы и архангелы. У нас, дедушка, план должен быть один-единственный и на земную жизнь.

— А как же на небе?— спросил Мироныч.

— Это нас не касается,— ответил сухо Сутулов.

И нахмурился.

— Я сам,— сказал, подумав, Сутулов,— вышел из старообрядцев.

— Какого же согласия?— почтительно спросил Мироныч.

— Никакого согласия: деды были, как и вы, поморского согласия, а отцы называли себя «немоляками».

— А вы как?

— Безбожники!— решительно и громко сказала Марья Мироновна.

На минуту все смешались и замолчали. Стало неловко, но вдруг Уланова, улыбаясь веселыми глазами, сказала:

— Нет, какие же это безбожники, бабушка? Ты только получше к ним приглядись: добрые ребята и никакие не безбожники. А вот, знаешь, Сергей Мироныч,— обернулась она к старику,— хочешь, я сейчас тебе скажу, кто они?

— Ну, скажи, скажи, Машенька!

— Вот и скажу: не безбожники они, а просто табашники, хорошие люди.

От веселого слова куда что девалось. Веселое слово пришло, как солнечный луч. Мироныч понимающим взглядом поглядел на Уланову и даже успел ей подмигнуть.

— Конечно, табашники,— засмеялся он.— Говорят, что жизнь новую хотят устроить на земле лучше небесной, а самим покурить до смерти хочется. Ну, ребята, потерпите немного, у меня есть клеть, ветерком вся под-

[1] Лонись — значит намедни.

битая, там и покурить будет можно. А сейчас пришло время, скажите нам, по какому же государственному делу вы к нам приехали?

— Я же вам уже сказал,— ответил Сутулов,— мы приехали к вам строить водный путь из Белого моря в Балтийское.

— Я не про то, что водный путь,— сказал Мироныч,— это я слышал,— а вот как же строить его: наше озеро неглубокое.

— Мы запрем ваш падун.

— Падун запереть?!

— Запрем падун. Вода подымется, и озеро станет глубоким, и по нем пойдут морские корабли.

— Сколько дней в году,— сказал Мироныч,— столько на озере островов, и на них на всех есть пожни, есть нивы, деревни, люди живут. Что вы с людьми делать будете?

— Мы за большое дело взялись: лес рубят — щепки летят. Но все-таки мы не бросим этих людей. В три раза разольется озеро, старые острова будут залиты, новые объявятся, и новые станут берега, и старые звери придут напиться новой воды. Вот мы туда с островов и переселим людей.

— Новые берега! Мы новых мест не боимся. Солнышко и туда будет заглядывать, путь этот из моря в море старинный, царь Петр шел этим путем: Осударева дорога и сейчас видна. Но только, ребятушки, никому не говорите, что можно падун запереть: смеяться будут.

Мироныч это беззлобно сказал, Сутулов с улыбкой еле заметной отстранился от спора. Потом гости сытые встали вслед за начальником, поблагодарили хозяев. Их уговаривали еще посидеть, побеседовать,— нет, им надо чуть-чуть отдохнуть — и за работу. Их уговаривали еще покушать словами: «Хлеб на хлеб валится»,— нет, больше они не могли и ушли на другую половину, где отвели им квартиру и указали ту клеть, где можно будет и покурить.

Пока возились с гостями, пока устраивали их, пока выходили свои кто куда, кто зачем, и даже сама Евстолия Васильевна и Сергей Мироныч что-то свое вспомнили и вышли, Зуек все лежал, все о чем-то крепко думал и не выпускал из виду перемен в обстановке за столом: чего-то напряженно ждал.

И случилось, на одну короткую минуту комната совсем опустела.

Этого, оказалось, Зуек только и ждал. В один миг он окинул глазами все уголки и уверился: нигде никого не было. Тогда он быстро выскочил в одной рубашонке из-под полога, бросился к стене, где висело забытое круглое зеркальце, схватил его и, наверно, из последних силенок скачками, как заяц, вернулся в свою норку.

Зеркало было и свое в доме Сергея Мироныча, и в нем каждый мог видеть себя в изуродованном виде и думать об этом уроде: «Это я сам». Но Зуек был уверен, и затем он и украл это зеркальце, что в нем не себя он увидит потом, а красавицу Марью Моревну.

Спрятав зеркальце, Зуек крепко взялся за мысль свою о начальнике. Сравнивая начальника в дедушке с этим новым молодым начальником, он с жаром стал на сторону молодого и даже ясно увидел, что именно привлекает его в молодом. Дедушка всегда с людьми хитрит и виляет, как будто нарочно путает глупых и так заставляет их делать все непременно по-своему. А новый начальник обращается прямо и приказывает, как имеющий власть.

— Вот себе бы так,— сказал Зуек и крепко задумался об этом: как бы и себе тоже выйти в такие начальники.

Мало-помалу все, кроме приезжих, вернулись к столу и заняли свои прежние места.

Потапыч, приглушив голос, спросил:

— Где у вас клеть-то?

И увидев по качанию головой, что далеко и отсюда туда ничего не слышно, сказал:

— Жили вы тут в забытом краю, спали вы тут, как тюлени на солнышке, но помните, детушки, время вас углядело. Теперь всех оно вас переберет по косточкам, как и в других местах. Доехало, доехало и до вас...

Мироныч как будто немного смутился.

— Вот дело-то какое, государственное,— сказал он.— Хотят падун запереть.

И засмеялся недобрым смехом, повторяя:

— Запереть, запереть...

А зятья за ним повторяли:

— Да уж, запереть!

— Что уж, так взяли, да и заперли!

VII. КРЕСТ И ПРОВОЛОКА

Две уточки, вытянув свои длинные шеи, летели вперед, как две пущенные сильной рукой стрелы, и одна из них попала на проволоку. К ногам старика в длинном староверском кафтане упала первая жертва строительства — дикая утка без головы.

Лицо старика передернулось злобой: в дикой уточке он нашел предлог отвести свою душу в сторону от нового времени и от всего, что оно с собою приносит.

Да это и Мироновна еще постоянно нам говорила, что под конец проволоки опутают весь белый свет, и мы все в этих проволоках запутаемся, как мухи в паутинных сетях.

Пришло время, и во всех направлениях потянулись черные нити, по столбам, по деревьям, по кустарникам, а местами и прямо по самой земле, и даже кресты на староверском кладбище приняли на себя это дело Антихриста.

Вот и задумался тот старец в длинном кафтане.

— Пожалуй, так,— сказал он,— и в могиле не будет покоя человеку: проволока найдет нас и там.

Покачал старец головой над убитой уточкой, что-то еще прошептал про себя невнятное, а уточку все-таки не бросил и взял ее, ничего не сказав, но про себя, конечно, подумал: «Дома годится».

Так оно все пошло и пошло: с одной стороны, все никуда не годится, свет кончается, а с другой стороны — всем от строительства что-нибудь и перепадает, и нельзя это бросить, и все это годится там, где свет не кончается, а только-только вот начинается, и это место у всех называется *домом*, и так каждый что-нибудь от строительства тащит домой, и так — свет не кончается.

Старый Мироныч рассуждал, конечно, заодно со своими единоверцами, особенно когда в праздники проводил время свое за столом, за беседою. Но как только он брался за дело какое-нибудь, тут у него все рассуждения расходились как туман, и если кто-нибудь вмешивался в его дело с божественными словами, лукаво прищуривался и в раздумье сгребал обеими руками в один ком свою седую бородищу.

Так вот, было однажды, Сутулов попросил у него разрешение повесить проволоку на большой крест перед

домом. Мироныч поглядел на него — не пьян ли парень?

— Видите ли,— сказал серьезно и разумно Сутулов,— то бы надо крышу сверлить и потолок, а с креста можно прямо в окошко.

— Вот как! — весело засмеялся Мироныч.— Это, как галка? Сядет на крест, оставит на нем свое белое пятно, а дождичек потом смоет — и нет греха. Но, милый мой, мы же с тобой не галки, с нас же ведь спросится.

И захватив в обе ладони свою бородищу, открыл рот, как дурачок, голову свою запрокинул назад, все еще голубые глаза свои прищурил, и, холодные, как две шпаги, вонзил их в глаза Сутулова, и спросил его:

— А ты думаешь, паренек, что, может быть, и не спросится?

Сутулов, спокойно разглядывая, как бы изучая опрокинутого человечка в зрачке Мироныча, выдержал взгляд его и помолчал.

Мироныч бросил бороду, руки поставил в боки и, смеясь одними щеками, еще раз спросил:

— А может быть, и ничего не будет, все пройдет как-нибудь мимо нас без ответа?

Сутулов и тут выдержал, и уже совсем серьезно, как должен один умный человек с таким же другим говорить, сказал:

— Сергей Мироныч, не доказывайте мне свой ум своим способом: я без того знаю, что вы умный человек, и очень вас уважаю. Вы поймите, мы отсюда должны разговаривать по телефону с Медвежьей Горой, а Гора стоит на прямом проводе с Москвой. У нас большое дело, и я с вами в государственном смысле говорю, вы же смеетесь: говорите про галку.

— Ну, ну, сынок, не серчай,— потрепал Мироныч по плечу Сутулова.— За столом сидишь — все так ясно, а жизнь — это веревочка запутанная, найдешь кончик, схватишь, думаешь — вот нашел кончик, а потом окажется: это не кончик, а хвостик. Дела-то у вас торопливые, важные: понимаю, что крест от проволоки не пострадает, вы же снимете скоро?

— Вот как только придет первый транспорт с каналоармейцами, пустим их в лес, наделаем телеграфных столбов, и крест ваш освободим, и ничего ему от этого не сделается.

— Понятно, не сделается,— ответил Мироныч,— греха тут, правда, большого не будет... Валите, ребята!

Случилось как раз в это время, Мироновна заготовляла березовый лист для зимнего корма коров, и когда возвращалась, нагруженная вениками с листобросницы, увидела оскорбительную для древнего благочестия картину: внизу с огромным мотком проклятой проволоки стоит Сутулов, а вверху на кресте сидит мальчишка, подтягивает на себя проволоку и, опутывая ею верхнюю перекладинку на кресте, кончик старается просунуть в дырочку на оконной раме.

Старуха так и замерла на месте, пораженная ужасным видением.

— Погодите, ребята,— вдруг закричал снизу Мироныч, не замечая неподалеку стоящей сестры,— так у вас ничего не выйдет. Вот я сейчас вилы подставлю, понимаешь?

— Понимаю,— ответил паренек.

И, опираясь рукой на подставленные вилы, в один мах, как обезьянка, перескочил с креста на подоконник.

Тут-то вот только пришла в себя от оцепенения Марья Мироновна, бросилась вперед, схватила за рукав Мироныча, быстро отвела его в сторону к стене.

— Это что же, сказала она,— они тебя заставляют крест обматывать проволокой?

— Никто меня не заставляет,— ответил Сергей Мироныч,— делают с моего разрешения. Ты должна понять, тут все делается не против нас, а в большом государственном смысле.

И опять тоже, как с Сутуловым, бородищу свою забрал в обе руки и сквозь смех уставился холодными глазами, как шпагами, в душу Мироновны.

Она знала этот взгляд с малолетства и против него имела тоже свой собственный взгляд: обычная материнская скорбь на лице мирской няни тогда вдруг оставляла ее, и глаза становились беспощадными и грозными.

— Скоро,— сказала она с ненавистью и презрением,— они нос твой красный проволокой своей черной обмотают, а ты все будешь бормотать, как тетерев-петух, о своих государственных смыслах. Ну же, петух, прощай, зажилась я у тебя, забыла, о чем человеку никогда нельзя забывать. Прости, господи!

И увидев неподалеку Зуйка, поманила его, прижала к себе, обливаясь слезами, будто навеки с ним расстается.

Мирская няня так много-много растеряла в миру спасенных ею детей.

— Прощай, прощай, деточка,— причитала она, постепенно переходя из этой памяти в ту, где не плачут больше и не смеются, не женятся и замуж не выходят и не родят больше детей.

Закрыв лицо руками, не прощаясь ни с кем, она прямо направилась к берегу, к забытому своему черному карбасу с белым черепом на двух скрещенных костях.

VIII. ЦАРИЦА САВСКАЯ

Мария Уланова стояла у окошка против креста, все видела: и как пришла Марья Мироновна с листоброницы, и как она отвела старика к окошку, и слышала весь разговор. Когда же разгневанная Марья Мироновна пошла к берегу, Сергей Мироныч увидел в окошке Уланову и бросился к ней:

— Машенька, поди-ка скорей, уломай старуху, хорошая она, только вся живет в сарафане прошлого века. И как заберет это себе в голову, что свет кончается, так ей вынь да положь, чтобы сейчас он ей и кончился. Считаю, прыть эта у нее от гордости: была она у нас в молодости красавицей молодицей, первой краснопевкой на селе, а тут муж у ней возьми да и утони, да еще, как на грех, вскорости сыночек ее единственный годовалый помер, вот с тех пор она и стала такая: никакого нет у нее нашего хозяйства, живет у себя на Карельском острове, вроде попа, ей все тащат, она и мнит — не здесь, так там, на том свете возьму я свое. Теперь на проволоку обижается, а смысла государственного понять никак не может. Поговори с ней, может быть, и отойдет. Я считаю, у ней это...

И показал пальцем на лоб.

Уланова, быстро выйдя из дома, догнала Марью Мироновну с Зуйком у самого озера, там, где падун, трехголовый великан, неустанно день и ночь крутит и бьет наказанную воду.

День был солнечный, над белой бездной в брызгах

сияла радуга. Марья Мироновна не слышала гула падуна, не видела радуги над хаосом бездны. Она стояла на камне, и этот камень был ей теперь всем, что оставалось ей от земли и природы. Один шаг только с этого камня — и черный гроб с белым черепом увезет ее.

В это время подошла Уланова, обняла Мироновну и, как это умеют делать только женщины, в один миг нащупала в себе свое пережитое горе, в нем узнала, как в зеркале, горе Марьи Мироновны. Увидев перед собою живые печальные глаза, услыхав тот нежный певучий голос, каким у паозеров говорят только на могилах живые люди с только что умершими любимыми мужьями, женами или деточками, старуха опомнилась. И мало-помалу стала выходить из той памяти своей о конце мира, страшном суде и возвращаться к общему нашему чувству радости жизни здесь на земле.

— Родная моя,— сердечным голосом сказала она.— Рассуди нас, разумница, пойми, как это можно терпеть: святой божий крест опутали чертовой проволокой, и кто попустил? Родной брат — старик, у кого я живу.

— Что тебе старик,— загадочно и спокойно сказала Уланова.— Ты погляди, какого сыночка своего ты бросаешь. Зуек! Проси бабушку, чтоб не уезжала.

Зуек удивленные свои глаза медленно перевел на бабушку и ничего не сказал.

— На что я ему теперь, старая? — ответила Марья Мироновна.— У него теперь есть наставница, молодая, красавица, умница. Ну, дай я еще обниму тебя, Машенька.

И чтобы не сразу сдаться, сослалась на ногу и поясницу.

— Видно,— сказала она,— перед погодой скрутило: вот как скрутило, едва разогнуться могу.

— А ты сядь,— обрадовалась Маша,— посидим-побеседуем.

— Давай побеседуем,— охотно согласилась старуха.

И отойдя по берегу в сторону падуна, они сели на большое выброшенное водою бревно, хорошо обсохшее на солнышке. Зуек сел возле на камень, слушая знакомый с малолетства разговор воды с камнями, и этот разговор старой бабушки с красавицей своей Марьей Моревной.

Хорошо помня слова Мироныча о том, что чаяние близкого конца света у сестры, может быть, вырастает от гордости и властолюбия, Уланова так и начала разговор:

— Бабушка, вот ты хочешь уйти от нас и, как я слышала, даже лечь в гроб и ожидать светопреставления и страшного суда. Не гордость ли это в тебе говорит? Тут тебе не за что ухватиться, а там на небе новая жизнь начнется. И теперь, собираясь туда, хочешь с собою весь свет увести. Скорее всего это от гордости.

— Ну, вот еще, надумала,— ответила Марья Мироновна без всякой обиды.— И что ты в этих наших делах понимать-то можешь! Это брат тебе наговорил: он часто меня попрекает гордостью и любоначалием. Гордость, милая, и любоначалие от дьявола. Я же верую в бога истинного и не для себя ищу власти. Слабость в людях началась, от слабости вражда, болезни...

Как только Зуек услыхал теперь от бабушки о слабости, так уж знал вперед — она непременно станет рассказывать о венике, как он плыл по реке вниз и сманивал пустынников в баню париться к верхнему жителю и как потом пустынники силу свою направили, чтобы им легче жить, а для чего живут — забыли. А царь Петр, увидав их слабость, назначил им отливать пушки, и они кончились, а слабость между людьми все росла и росла.

— Что ты, милая,— говорила Марья Мироновна,— какая во мне гордость, и мне ли браться за власть над этими людьми. Вот, слышишь, падун шумит — сколько в нем, погляди, разных струек, и всякая струйка, сшибаясь с другой, имеет свой говорок, а падун все один, крутит воду, бросает. Так и человек тоже, собирается как один, что-то делает, а эта слабость к тому приводит, что каждый о себе только помышляет, будто он один для себя живет, и все для него.

— Бабушка,— воскликнула Уланова,— да разве эта слабость только у вас тут на Выг-озере? Эта зараза весь свет охватила, вот я вам о себе сейчас расскажу, вы поймете.

И тут Зуек услыхал такое, о чем старшие говорят между собою, не стесняясь детей, думая, что дети такого ничего не понимают, но это неправда: дети понимают, только по-своему. И Зуек тоже из рассказа своей краса-

вицы Марьи Моревны делал свою собственную сказку о каком-то Степане, охваченном слабостью к Зеленому Змию. Змий тот высасывал его силушку, и Степан, бессильный, много делал из-за этого зла. Но Марья Моревна не пожалела и сама рассказала товарищам всю правду о Степане.

— И какого человека Змий погубил! Ах, бабушка,— воскликнула Маша Уланова,— какой это был человек!

— Ну, где ж теперь друг-то твой, жив ли?

— Доходят слухи, жив. Да я не слушаю. Думаешь, легко мне было оторвать от себя человека? Признаться, я не от слабости его бежала, а что он из-за этой слабости стал злейшим врагом нашего дела. Ох, трудно, трудно, бабушка, все сказать. Но скажу: я сама должна была любимого человека от себя оторвать.

И тут Зуек понял, что его Марья Моревна вышла сильней даже Ивана-царевича из сказки: Иван-царевич разжалобился и дал напиться Кащею бессмертному, когда тот окован сидел. Кащей напился и разорвал цепи, как веревочку.

А Мироновна, старуха, нужно же так! Тоже вроде Зуйка обрадовалась:

— Вот, вот, умница, правильно ты поступила: не мир с такими людьми, а меч. Я из-за того только вот и теперь брата родного бросаю.

Тут Маша с досадой сообразила, что палочку свою она перегнула. Надо было дело как-то поправлять...

— Ну что ж, признайся, до конца ты вырвала слугу Змия из памяти? — продолжала между тем расспросы Мироновна.

— Как сказать... Вырвала? Я у всех на глазах работаю, и на работе все видят меня впереди. Но возьмите, к примеру, пчелу. Она летит на каждый цветок за медом. Понимаете?

— Ну, понимаю.

— Так вот я тоже пчела, лечу на каждый цветок, все думаю: не он ли? Остановлюсь, и не лечу дальше: меня встречают только пустые цветы.

— И тебе нет утешения?

— Не могу, бабушка, утешиться, как иные женщины. Мне нужен не утешитель, а сам мой единственный, настоящий человек. И нету его после Степана...

Уланова остановилась на минутку и молча глядела в сторону падающей воды, как будто там в белой пене что-то видела.

— Ты думаешь, бабушка,— сказала она,— ты одна мучаешься слабостью человеческой, тебе одной только хочется, чтобы люди становились душа к душе? Ты не одна такая, и я не одна, а удар должен быть один.

— Вы — безбожники! — вздохнула, недоверчиво покосясь на Машу, старуха и поджала сухой рот.

— А ты на это не гляди — нам это твое, как бы тебе сказать? — не с руки: мы на человека в упор смотрим, мы собираем человека из простых, обыкновенных трудовых людей, собираем и куем в своей кузнице. Глядишь, может быть, и перекуем человека. Нет, бабушка, мы тоже этим болеем. Мы хотим собрать воедино всего человека, чтобы каждый жил не для себя одного, а вот как листики на дереве: ни один листик на всем дереве не сложится с другим, а каждый работает по-своему на все дерево. Каждый на всех, и все на каждого.

— Как же это вы сделаете?

— Само к этому идет, во всем мире идет, а мы помогаем. Ты о конце думаешь, а мы о начале. Тебе кончается свет, а нам начинается.

— Ага! — подал неожиданно голос Зуек, и обе женщины удивленно к нему обернулись: про Зуйка-то они и забыли.

— Ты это чего? — спросила Уланова.

Зуек обернулся к бабушке и ей тоже сказал:

— Ага! — и энергично мотнул сверху вниз головой.

Обе женщины засмеялись, и старая и молодая. И Уланова сказала:

— Так-то вот мы часто говорим при детях, думаем, они ничего не понимают.

— Все, все они по-своему понимают,— ответила Мироновна, приходя в доброе расположение духа.— Вы, деточка,— сказала она Улановой,— так я понимаю, тоже людям хотите добра, только все-то у вас проволоки и табак.

— Не все же у нас табашники,— лукаво улыбнулась Уланова.— Вот я никогда не курила.

— Боже сохрани!

И опять с той же лукавой улыбкой, как мать ребенку своему, Уланова сказала:

— Вы что-то, бабушка, о ломоте своей в пояснице говорили. А у меня от этого мазь есть. Натрем с вами на ночь — и как рукой снимет. Пойдемте со мной, я помогу. Хорошая мазь!

— Разве что мазь...— ответила Мироновна.

И с трудом стала подниматься с бревна.

Сергей Мироныч немного боялся сестры и *остужаться* с ней не хотел. Наблюдал он ее теперь незаметно во время своей работы. Поглядывал в ту сторону, где беседовала с ней Уланова, с некоторым беспокойством ждал исхода этой борьбы: уедет старуха на своем карбасе или вернется домой? И когда Мироновна поднялась с бревна и все направились с веселыми лицами домой, сам очень повеселел и сказал:

— Уговорила! Ну и Машенька! Истинная Царица Савская. Дай бог ей царя Соломона.

В простоте мужской рано успокоился старый Мироныч добрым исходом ссоры со своей упрямой сестрой. Но не так-то проста была тропинка женской души. Вон она, тропинка в северном лесу: там вильнула от упавшего на путь ветродуйного дерева, там мочежинку обходит, пенья, колодья, болотные заросли и всякие лесные заглушины. Тоже так и Марья Мироновна. Она искренно поддалась на слова Улановой о борьбе со слабостью человеческой, и по этой мысленной тропинке она охотно пошла на прямую, чтобы под предлогом строительства канала собирать человека. Ей вспомнилось то время, когда она потеряла мужа и сына и сама как бы вышла тогда из себя и стала людям служить... Так она и Машу теперь понимала, что потеряла она любимого человека и тоже работает на пользу всего человека.

— Какая хорошая,— сказала про себя бабушка,— молодая, красивая, умница, не может быть с ней этого, чтобы всю жизнь летала, как пчела, на пустые цветы. Бог пошлет ей хорошего человека. А кто знает, может быть, и сам Степан к ней вернется...

И вот тут ее тропинка повернула в сторону. Ей подумалось остро и больно не за себя одну, а за всех, кого она проводила на тот свет, по ком она столько лет вопила: к этим людям никогда не вернется больше их Сте-

пан, и им не за что ухватиться на земле, и им нет утешения, и каждого это ждет, и потому нет и не может быть на земле утешения.

Дома Мироновна не показала никаких следов душевной тревоги. Все подумали, будто Маша успокоила разгневанную бабушку и она по-старому будет жить с ними. Мироновна усердно помогала мыть посуду, убирать горшки на места, сама замесила даже и тесто и задала корм скотине. А когда все уснули, долго на коленях молилась перед старинными образами.

Когда в избе все стихло, бабушка поднялась с пола, оглядела все, уверилась — все спят. Потом долго крестила спящего Зуйка, что-то шептала старыми губами, унимая бегущие слезы.

Нащупав в сенях весло, она вышла из дому.

Была светлая северная майская ночь. На небе, цветущем всеми цветами, черными силуэтами вырезались на холме тесные высокие ели староверского кладбища. Числа нет покойникам, сколько свезли староверы под рев падуна своих людей и зарыли в песок. С тех пор, как начали возить, сосны сменились елками на песчаном холме и новые деревья стали старыми. И сколько с могил свалилось деревянных восьмиконечных крестов! Сколько на их место поставили новых! И сколько косточек человеческих перемешалось в равнодушном песке!

Вот теперь светлой ночью старец в длинном староверском кафтане с удивлением и ужасом всматривается и видит на земле необычайное множество темных нитей. На столбах, на деревьях, на кустарниках, на самых крестах кое-где раскинута эта страшная ткань.

И что это? Как будто сама смерть в длинной черной одежде с веслом в руке подходит к берегу, садится в свою черную лодку с белыми крестами.

И смотрят на нее в оцепенении светлой ночью и только ничего не могут сказать высокие черные камни, и сосны, и ели, и между деревьями старик в черном кафтане.

А смерть все плывет и плывет, и за ней остаются на воде два бесконечных крыла: одно от зари красное и голубое от неба с другой стороны.

Так уплыла к себе на Карельский остров Марья Мироновна.

IX. ПРИКАЗ С МЕДВЕЖЬЕЙ ГОРЫ

Напрасно обижались староверы на проволоку, ничем она не была виновата, она честно служила человеку и несла его слово по назначению туда, где люди вступили в борьбу за свое лучшее с природой на севере.

Железная проволока, перебегая от столба к столбу берегом широкой Невы, обогнула все Ладожское озеро; пересекая реки, болота, леса, поднялась вверх на Масельгский хребет,— водораздел морей Балтийского и Белого. Обошла все Выг-озеро и в Надвоицах нырнула в дырочку над окном дома, снятого под контору строительства Беломорско-Балтийского канала.

Зазвенел телефон, из смежной комнаты вышла Уланова в рыжей с плешинками куртке, видавшей всякие виды. Из передней на звонок прибежал тоже и курьер Зуек, проживавший теперь здесь при конторе.

Уланова записала приказ от Медвежьей Горы: «В Надвоицы направляется транспорт каналоармейцев. Принять завтра первую тысячу. Бросьте их в лес».

Когда Уланова записала, Зуек вопросительно посмотрел на нее, умышленно сделав располагающую к ответу рожицу.

— Это приказ,— ответила Уланова на молчаливый вопрос.

— А кто приказал?

— Медвежья Гора.

Зуек раздумчиво помолчал. Уланова переписала приказ и с большим волнением сказала вслух:

— Сразу, и тысячу человек!

Услыхав восклицание, Зуек осмелился спросить:

— Как это может гора приказать?

— Глупенький,— улыбнулась, несмотря на все свое волнение, Уланова,— на Медвежьей Горе стоит Управление строительства всего канала. Там живет главный начальник, имеющий власть нам приказать принять тысячу рабочих.

— Имеющий власть,— повторил Зуек,— живет всегда на Медвежьей Горе?

— Нет,— смешалась немного Уланова,— имеющий власть — это все мы. Власть исходит от всех нас, а на Медвежьей Горе живут просто начальники, такие же, как и мы, только постарше.

— Непонятно мне,— ответил Зуек,— скажи, что это власть?

— Этого нельзя объяснить.

— Жалко, а все-таки попробуй, может быть, я и пойму. Дедушка у нас самый умный, а говорил постоянно: я могу все понять, как большой. Хочешь, я всю былину про Илью Муромца на память скажу!

— Нет у нас сейчас для болтовни времени,— строго сказала Уланова,— приказываю тебе: беги со всех ног к Сутулову и передай ему этот приказ. Довольно болтать: я приказываю — ты исполняешь: власть моя.

— Понял,— радостно воскликнул Зуек: — Медвежья Гора тебе приказала, и от нее власть перешла; ты мне приказала — и я побегу приказывать Сутулову: теперь власть моя!

Уланова засмеялась, покраснела, глаза ее сверкнули живым огнем, и она опять даже и в своей плешивой куртке стала похожа на ту красавицу, какой спрятал ее Зуек в своем украденном волшебном зеркальце.

— Нет, нет,— засмеялась она,— я ошиблась: власть не моя, не твоя: мы с тобой, как столбы с проволокой, и власть бежит от меня к тебе, как по столбам электричество.

— А что это — электричество?

— Погоди немного, мы скоро откроем школу, и я тебе там объясню: тебе уже давно учиться в школе надо. А теперь ты курьер и немедленно, сломя голову мчись с приказом к Сутулову.

Когда Сутулов явился в контору, Уланова, очень взволнованная, бросилась к нему навстречу.

— Что делать?

Сутулов совершенно спокойно с удивлением поглядел на нее.

— Что нам делать,— воскликнула Уланова,— сразу тысячу, а на другой день, может быть, и еще? Мы ведь еще не приготовились и ждали через неделю, не раньше.

— Скорее всего,— спокойно ответил Сутулов,— оно теперь так и пойдет: тысяча за тысячей, и повалится к нам человек, как вода в падуне. Вполне нормально. Чего ты волнуешься: все идет планомерно.

— Знаю я, что план: цифры послушные, а у людей — кровь, живот, кишки, чем мы их завтра кормить будем?

— Возьми себя в руки, Маша!

Зуек это заметил: Сутулов его Марью Моревну просто Машей назвал.

— Шлют людей,— продолжал Сутулов,— шлют, конечно, и продовольствие, и цифры о том же говорят: сколько людей, столько и ртов. Если же, посылая людей, кто-нибудь ошибся, наш долг взять ошибку на себя, а не ворчать, как лягушки в болоте.

— Ты, конечно, прав, друг мой Саша,— засмеялась Уланова.

Зуек опять и это заметил: Уланова такого большого начальника назвала просто Сашей.

— В этих делах,— сказала она,— ты всегда прав и работаешь, как...

Она бросила взгляд на окно с прибитым в раме термометром:

— Как термометр — Реомюр.

— Почему Реомюр?— слегка улыбнулся Сутулов.

— А потому, что Реомюр ведь тоже когда-то был человеком, физиком, а теперь Реомюр не человек, а термометр, и он всегда прав. Ты — Реомюр.

— Могу сказать только: спасибо за честь. Только ты не права. Термометру самому при любой температуре ни холодно, ни жарко, а мне быть термометром, когда того требует дело, не так-то легко. Ты так говоришь, потому что меня... как бы это вернее сказать: потому что ко мне ты сама всегда на нуле.

И Зуек с удивлением заметил и тут, что Сутулов от своих собственных слов немного покраснел и нахмурился.

Рука Маши, такая маленькая в широком потертом кожаном рукаве, потянулась было к Сутулову, чтобы лечь на его плечо, но тотчас отдернулась и, сжатая в крепкий кулачок, опустилась на стол.

— Куда же мы все-таки завтра их, тысячу человек, денем?— спросила она начальника каким-то чужим и холодным голосом.

Сутулов поглядел в окно, где за Выгом синели леса.

Зуек побоялся за Сутулова и подумал: «Вот, кажется, и сам начальник не знает. И что это будет, если со всей страны, из всех мест хлынет падун из людей?»

Это он сразу понял и очень запомнил слова: «Человек повалит со всей страны, как вода в падуне».

Зуек понимал, как всякий мальчишка, что если он только захочет поехать на паровозе, то сядет на стул,

засвистит, и этот стул будет ему паровозом, а если сядет под стул и загудит — стул сделается пароходом.

А Сутулов, как понял Зуек по себе, сделал из человека падун, и Зуек уже принял это себе и уже слышит и видит, как бьется вода в падуне.

Гул такой, что и земля даже чуть-чуть как будто колышется. Тысячи струек бьются друг с другом, столбами извиваются вверх, и падают, и сливаются.

Вся река упала, разбитая на брызги в борьбе, и опять все сливается, и весь водопад единым гулом гудит. Так и весь разбитый падающий человек соберется и будет идти все вперед и вперед.

И отчего-то поднялась в душе радость, как бывает в сказках, когда изрезанного в куски человека взбрызнули живой водой, и опять живой Иван-царевич шагает все вперед и вперед.

Так про себя маленький курьер переживал разговор двух его начальников. И он даже немного побоялся за Сутулова, когда на вопрос Улановой «куда мы их денем?» тот раздумчиво поглядел в окно, где синели леса.

Но Сутулов колебался только мгновенье, и у Зуйка его страх за начальника пролетел, как сон, тоже мгновенно. Сутулов перечитал приказ: «В Надвоицы направляется транспорт каналоармейцев. Принять завтра первую тысячу. Бросьте их в лес».

— Чего же тут думать еще,— сказал Сутулов, перечитав приказ, — мы их всех бросим в лес!

— Вот это так,— обрадовался Зуек.— Приедет тысяча человек, и мы всех их бросим в лес. И так, каждый день, тысячу за тысячей — в лес. Вот это власть!

Зуек вдруг понял все. Теперь не надо больше никого спрашивать, он лучше всех знает, что это — власть. Бывает, мчится тучей колдун за Иваном-царевичем, никакой конь не может убежать от тучи, но власть на стороне Ивана-царевича. Добрая сестра Сокола уронила одну слезинку, и ею, одной только слезинкой Иван-царевич помазал копыта коня, и тот летит быстрее тучи, быстрее молнии. Да и мало ли так можно спастись, если власть в твоих руках. Да если бы и на куски изрезали Ивана-царевича, и то является власть, как живая вода, и все кусочки срастаются. Та же самая власть была и у Сутулова, когда он приказал бросить всех в лес.

— А как далеко мы их бросим?— восхищенно и робко, с замиранием сердца спросил Зуек.

— Мы бросим их,— продолжал Сутулов, не обращая внимания на слова мальчика,— в леса, на ту сторону Выга, и они там скоро сами себе выстроят жилища. В два месяца у нас там вырастет город.

Больше Зуек не мог вынести напора радости. Ему хотелось подумать обо всем одному.

— Сегодня,— сказал он, — они еще не приедут, и нам нечего делать. Можно уйти?

Сутулов засмеялся и сказал:

— Вот тебе, Маша, у кого учиться спокойствию: выслушал и сделал правильный вывод. Мы с тобой сегодня тоже перед большим делом пойдем, поговорим, соберемся с силами. Ступай побегай, Зуек.

И Зуек побежал.

Он знал наперед, куда он побежит. Ему крепко-накрепко запали в душу эти слова: «Человек будет падать сюда со всей страны, как вода в падуне», и что есть у всех у нас какая-то власть сделать все хорошо. И как только он вышел из конторы, сейчас же весь свет сомкнулся вокруг, плотно обнял его, и стало, будто весь мир теперь попал в его власть, и все будет теперь, как только ему захочется, и ему захочется непременно такое, отчего будет всем хорошо.

Откуда берется и почему оно проходит потом у взрослых это дивное чувство мира, когда кажется, будто если в этом мире самому хорошо, то непременно должно быть и всем хорошо, и тянет ко всякому обиженному наклониться, утешить его, спящего разбудить на радость, а с таким же веселым, как сам, обняться и ускакать.

И нет усталости, и нет конца ничему. Так человек входит в мир, так мир начинается.

Путем скачущей семги, с камушка на камушек, облитый водой падуна, Зуек подымается все выше и выше, к знакомой печурке в скале, где он с кротилкой в руке с малолетства нажидал семгу. Теперь он забрался сюда только затем, чтобы послушать падун и подумать о человеке: как он тоже, человек из всей страны, будет падать сюда. Мельчайшие брызги подымаются над падуном, как белая прозрачная одежда черного трехголового великана, и в этих брызгах, пока солнце ходит по небу, держится радуга.

Вглядываешься в эту борьбу разных струек и брызг между собой, и начинает казаться, будто все они без конца только дерутся. Утомительно станет от этой вечной борьбы. Но только глаза отвел — и опять тянет, тянет, как будто настойчиво требует, чтобы непременно ты оглянулся и поглядел. И когда теперь поглядел, все стало по-другому. Весь водопад, как единое существо, живет своей цельной жизнью, и сквозь хаос и гул явно слышишь, как будто кто-то великий ступает, и все вперед и вперед...

Но этот мерный шаг ведь слышится и в каждой сказочке и в каждой песенке, и так трудно сказать, было ли все это для всех, или только в душе у мальчика, сына сказителя, складывается новая сказка, или и вправду сам падун живет какой-то единой жизнью, и сквозь гул и хаос слышится мерный шаг: все вперед и вперед.

И Зуек услышал сквозь гул и хаос несвязные человеческие слова, и так явственно, что даже поглубже отклонился в печурку, чтобы его не увидели. На мгновение слова перестали доноситься, но вот опять все ближе и ближе.

— Какая славная печурка!— сказал первый голос.

Зуек сразу узнал голос Сутулова.

— А вот и камень тут удобный, давай сядем на камень.

Зуек узнал голос Улановой. И даже увидел ясно из темноты на свет, как они сели рядом на камень.

— Тебе не бывает так, Саша?— спросила Уланова...

Сашей назвала...

— Не бывает с тобой на улице большого города, среди множества незнакомых людей, похожих на брызги падающей воды. Тоже так: через короткое время утомляешься разглядывать лица отдельных людей, эти осколки и брызги в бездну летящего человека. Но только отвел глаза — и тебя настойчиво тянет еще поглядеть, и когда послушался — поглядел, то прямо встретил в толпе какое-то знакомое, родное лицо. И в этом мелькнувшем лице вдруг соберется и определится весь человек на улице, как единое существо, и ты веришь и знаешь, что человек един и мерным шагом идет все вперед. С тобой так бывает?

— Маша,— ответил Сутулов.

Машей назвал!

— Маша, я люблю слушать тебя на досуге, и если бы

не дело мое, то я тебя бы все слушал и слушал. Но я прикован к делу и все это отгоняю от себя. Некогда мне, дорогая! Но когда слышу тебя, то вспоминаю, да, это и у меня тоже было. И не только на улице, а везде: мелькнет что-то в лице человека, и все сразу поймешь и ответишь ему. Я только не знаю, для чего это все поднимать из себя? Боюсь, не это ли тебя вдруг останавливает.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать?

— Да вот что сейчас только было в конторе. Ты такая умница, в тебе столько мысли и знания, такой ты опытный работник, и вдруг останавливаешься перед каким-то пустяком. Мы взялись построить канал, соединяющий два моря: шуточное ли дело! И вдруг ты остановилась перед таким пустяком — куда нам деть людей. Тебе же известно, что план разработан в мельчайших подробностях и дан на места. И вдруг, как в сказке, чего-то пугаешься, как будто ты Зуек, а не управделами. Мы бросим их в дело, и увидишь, через два месяца, самое большое, у нас будет выстроен город.

Услыхав слова: «Целый город в два месяца», Зуек задрожал весь от радости и чуть-чуть не выдал себя. Ему стало страшно, как бы теперь не открыли его.

Такие уж, наверно, все печурки: раз залез — то и начинаешь света бояться!

— Маша,— продолжал Сутулов,— мы делаем с тобой такое большое дело, вместе учимся, вместе с тобой изменяемся и растем. И такой ты молодец! Но откуда это берется у тебя, что как только ты освободишься от дела, так и начинаешь бесполезно болтать и щебетать, как птичка?

— Милый Саша, ты очень сильный мужчина и можешь весь войти в дело свое и превратиться из Реомюра в термометр. Ты в этом прост, как ребенок, и я тебя очень за это люблю. Я же сама себе постоянно приказываю, я все время твержу себе: «Надо! надо!», и только чуть-чуть оторвусь от дела — сейчас же пускаю себя на свободу, и болтаю о всем, что мне захочется, и никак не могу, да и не хочу, должно быть, превращаться в термометр.

А там в падуне в это время что-то большое делалось. Может быть, целое столетие вода била в какой-нибудь камень, подвигала-подвигала его и вдруг сейчас одолела и сбросила в бездну.

— Что это?— вздрогнула Уланова.

— Не знаю,— спокойно ответил Сутулов.— Мало ли что происходит в скалах под водой. Ты вот лучше скажи, дай мне последний ответ.

Уланова обе руки свои положила ему на плечи и ответила:

— Я люблю тебя, Саша, но...

Сутулов явно потемнел в лице, а Зуек в своей темной печурке сморщился: ему ужасно жалко стало Сутулова. Оказалось, что и у такого железного начальника есть свое желание и что-то ему хочется.

— Видишь, Саша, я люблю тебя, но мне кажется, я так многих могу любить.

Сутулов еще больше потемнел в лице.

Зуек не думал раньше, чтобы Сутулов мог сделаться, как мальчик, таким несчастным.

— Вот и начальник!— покачал он головой.

— Не огорчайся, Саша,— продолжала Уланова.— Это, может быть, не самое главное. Если я остановлюсь на тебе, то пойми, я остановлюсь навсегда. И тебе хорошо со мною будет. Но мне сейчас мешают... как бы это лучше тебе объяснить! Хвосты мне мешают.

— Какие хвосты?— воскликнул Сутулов, теряя вдруг все свое спокойствие и даже весь изменился в лице.

— Не пугайся. Все хвосты — пустяки, но большой хвост только один, и он мне серьезно мешает.

Сутулов опустил голову.

— Встряхнись, Саша, не горюй. Завтра возьмемся за дело. Я знаю, ты дело свое ставишь больше себя, правда?

Сутулов в ответ поднял голову, поглядел на нее удивленно, глазами ясными, прямо, решительно.

— Правда,— повторила Уланова,— больше себя?

— А как же?— ответил Сутулов.

Помолчал немного.

— В каждом деле,— сказал он,—вырастает человек и становится больше себя.

И так это сказал, будто ему даже не совсем был понятен вопрос о какой-то замене или смешении личной жизни с общественным делом.

— А как же,— повторила со смехом Уланова.— Ты, Саша, прекрасный, я тебя очень люблю. Ты, конечно, лучше, много лучше моего Степана.

— Степана,— прошептал Зуек, вспоминая, как она тоже в беседе с бабушкой упомянула о каком-то Степане.

— Какого это Степана?— спросил Сутулов.

Но тут водопад еще какой-то камень обрушил, и это послужило толчком для беседующих — они встали и ушли.

Для Зуйка ответ Улановой на вопрос —«кто Степан?»— смешался с говором струй падающей воды.

Выждав немного, Зуек вылез из печурки. Ему все было понятно и все прекрасно в Сутулове: как этот трехголовый великан, неуемный начальник воды, управляет и властвует водою и образует в ней мерный ход, так и начальник людей Сутулов завтра же начнет устраивать человека, падающего из всей страны. Сутулов любит свое дело больше себя самого. Но Зуйку теперь все непонятно стало в Улановой: и этот ее какой-то Степан, и какие-то эти хвосты,— особенно эти хвосты были ему непонятны.

И он вспомнил о зеркальце, какой осталась в нем Марья Моревна. Это зеркальце еще тогда, по приезде строителей, было спрятано в печурке. Зуек был уверен в этом волшебном зеркальце — там настоящая Марья Моревна.

Разве сейчас открыть его, поглядеть?

Зуек уже хотел было вернуться в печурку, но ему стало немного страшно: а вдруг он там ничего не увидит? Так он и раздумал пока спрашивать зеркальце и, спускаясь с камня на камень, все гадал о хвостах: что это за хвосты, какие это у Маши хвосты?

X. ПАДУН

Когда в Смутное время какие-то *паны*, разбегаясь по русской земле, попали тоже и на Выг-озеро, то будто бы какой-то местный выгозерский Иван, подобный Ивану Сусанину, посадил панов в большой карбас и повез их по озеру в Надвоицы.

Проезжая мимо Карельского острова, паны услыхали отдаленный гул падуна.

— Что это?— спросили паны.

— Наше счастье!— ответил Иван.

И повез их дальше и дальше, все ближе и ближе к Надвоицам. Тут перед самым селом на реке есть Ело-

вый островок, совсем маленький. Тут могучий Выг, разделяясь этим камнем, прямо и падает в бездну, образуя падун.

Незаметно устремляется вода могучего Выга к падению, и ловкая привычная рука опытного кормщика легко перевозит карбас через струю. Но Иван пустил карбас с панами по струе. Лодка понеслась стрелой к Еловому острову.

— Что это?— вскрикнули паны, догадываясь о беде своей только у самого острова.

— Наше счастье!— ответил Иван.

И бросил карбас в падун.

Кто мог видеть это и слышать последние слова северного Ивана Сусанина?

Говорят, будто в солнечный день, когда в мельчайших брызгах падуна появляется *рай-дуга*, хороший человек может видеть лицо Ивана и слышать, как явственно падун выговаривает эти слова:

— Наше счастье!

И правда, если пристально глядеть в падун, то брызги его складываются в то самое, о чем думаешь. И звуки падуна образуют те же слова, какие держатся у нас на кончике языка.

Работнику, наморенному за день устройством вновь прибывающих, как бы падающих со всей страны людей, было на что поглядеть в падуне: все там показывалось вновь, что за день и в глазу набралось.

Ехали, будто падали, из неведомых недр разноплеменной страны десятками, сотнями, тысячами люди белые, желтые, черноглазые, голубоглазые, светловолосые, и черные, и рыжие. Были среди них худые и гибкие телом с горящими как уголь глазами горцы, были коротенькие на изогнутых ногах жители степей, черкесы, киргизы, узбеки, были даже в чалмах, татары в халатах, раскосые монголы в своих тюбетейках, и русские смешивались в наречиях: орловские, рязанские, владимирские, ростовские, сибирские...

Уланова вошла в один из наскоро сколоченных бараков, имея задание живым впечатлением понять начало жизни строителей, и ей хотелось бы в душе добиться от каждого, чем бы он мог быть лично полезен общему делу.

Она сидела за простым некрашеным столом в своей кожаной куртке, со своим собственным приказом в душе, и он выражался на лице строгостью и готовностью во всякий момент к решительному действию.

В этом закованном в закон рядовом воине строительства только один Зуек мог видеть где-то в глубине глаз и движении головы скрытую, затаенную Марью Моревну. Но даже и Зуек временами терял ее из виду и вспоминал ее только по зеркальцу, спрятанному в камнях.

Они подходят бесконечной очередью и так же исчезают потом, как брызги водопада. Но весь труд Улановой в том, чтобы не дать вконец ослабеть вниманию, ожидающему встретить в каждом новом лице образ человеческий, соединяющий все мельчайшие брызги в единое существо человека с мерным шагом вперед и вперед.

Вот выходит красивый молодой человек в женском малиновом берете, брюнет с голубыми глазами, в черных усиках, с мелкой надменной улыбкой, со скрещенными на груди руками.

— Вы — русский?— спрашивает Уланова.

— Совершенно верно, мадам, я русский.

— Ваше имя, отчество и фамилия?

— Фамилии у меня не было, отчество свое — увы!— я забыл, а имя мое — честь имею представиться, мадам, я — Рудольф.

Зуек с восхищением, не мигая, глядел на Рудольфа, удивляясь, что вся власть над этим человеком была у начальника Улановой, а он вел себя, будто вся власть была в его собственных руках.

Приложив руку к своему малиновому берету, Рудольф в то же время обнажил свою грудь, расписанную синими знаками.

— Перестаньте ломаться,— ответила Уланова совершенно спокойно, как будто имела дело с ребенком.—Меня вы не удивите ни татуировкой своей, ни выдуманным именем: вы для меня не демон, и нечего вам так мне улыбаться.

Что-то дрогнуло в лице Рудольфа, улыбка сама собой сбежала с лица, и руки опять возвратились на грудь.

Тогда Зуек перевел свой пристальный, немигающий взгляд с Рудольфа на Уланову и понял, что Рудольф сдал и власть перешла к Улановой.

— Чем вы раньше занимались, чем вы можете быть здесь нам полезным?

— Только пальчиками,— ответил Рудольф.

И опять отняв от груди одну руку, возле самого лица Улановой заиграл своими пальцами, бледными, тонкими и длинными, как у пианиста.

— Фальшивомонетчик?— догадалась Уланова.

И совершенно спокойно, даже с чуть-чуть заметной усмешкой вглядываясь в лицо фальшивомонетчика, тихонечко, настойчиво и выразительно постучала по столу.

— Уберите свою руку,— сказала она.— Ничего фальшивого нам здесь не надо. Мы здесь на правде стоим. Вы пойдете у нас на лесные работы, и вас там научат работать не пером, а топором.

— Мерси, мадам!— ответил Рудольф и присоединился к тем, кто отправлялся в баню.

После своего великого пахана и лорда[1] по очереди подходили всякие урки, скокари, домушники, «лепарды», шакалы, волчатники, медвежатники, мастера мокрого дела и самые мелкие воришки, мелкие люди — хорьки и мышата, какие ходят в городах по карнизам домов, проникают в квартиры, спускаются по водосточным трубам — бедные мышата!— бывает, обрываются и летят с высоты больших этажей, с балконов и крыш на мостовую.

Было странно Улановой, что эти люди в своем падении, теряя образ человеческий, сами себя называли «лепардами», волками, медведями, хорьками, мышатами, как будто вся природа была явлением падения чего-то великого, что называется у нас человеком.

«А если человек поднимается,— подумала Уланова,— то ему всегда кажется, будто и вся природа с ним поднимается».

И так захотелось ей отдохнуть на восходящем человеке, узнать хотя бы одно лицо!

— А вы кто, дедушка?— спросила Уланова.

Вышел Куприяныч, лесной бродяга, до того заросший по лицу волосами, что один только носик виднелся, как у перепелки. А глазки из-под этих перышков глядели устойчиво и ясно.

---

[1] Кличка предводителей урок.

До того были устойчивы глаза Куприяныча, что каждому по непривычке к неподвижным глазам казалось, будто никаких человеческих глаз нет на этом лице, а скорее всего сквозь глазные щелки виднелась выкрашенная синькой стена.

— Милок!— сказал он Улановой, принимая ее за юношу.— Ты меня не записывай, я бродяга лесной и все равно от вас убегу.

— Ну да, убежишь!— поддразнила Уланова.

— Не смейся, милок!— улыбнулся Куприяныч.

И от улыбки с раздутыми щеками в волосах стал очень похож на ежа, так же и носик его маленький торчал из-под иголок, как у ежа.

— Какие люди бывают!— не удержалась Уланова, с улыбкой разглядывая внимательно уморительную рожу бродяги.

— Всякие, милок, люди бывают,— ответил спокойно Куприяныч.— А я тебе, вьюнош, попросту скажу всю правду: буду работать и всякую работу делать могу, особенно лесную... Буду хорошо работать, ежели мне самому будет хорошо. А когда не захочется, все равно убегу, и ничем вы меня не удержите. Только одного прошу у тебя, молодой человек, и давай в этом мы с тобой сговоримся: буду работать и всем услужу, и тебе удружу, только не записывай ты меня в книгу. Не будешь?

— Записывать сейчас не буду,— ответила Уланова,— но счет нужен.

— Счет, конечно, нужен,— согласился Куприяныч,— посчитай на счетах и смешай, а только, прошу тебя, не записывай.

Уланова обещала, и Куприяныч, довольный, отошел к тем, кого направляли в баню.

Проходили какие-то лица: и разноглазая, и другая, красноглазая, вечно мигающая и страшная девка Анютка Вырви Глаз, какой-то китаец в косе; какой-то старый каторжник заявил, не мигнув глазом, что он на арбузной корке с Сахалина по Тихому океану вокруг света приплыл.

Их были тысячи разных людей, разных народностей, и каждый, мелькнув, выпадал из памяти, как выпадает фигурка из пены воды, бьющейся на камнях порога. Их множество, таких фигурок, возникает в потоке людском,

и каждая, мелькнув на мгновенье, отнимает надежду искать какого-нибудь смысла в своем появлении и мгновенном исчезновении.

Так бывает с нами и на улице, пока не покажется особенное лицо, и через него вдруг появится смысл во всяком лице: стоит внимательно вглядеться в каждого, и увидишь у всех то самое, что видел в одном.

Вышел пожилой человек с лицом смуглым, иссеченным морщинами, как ударами сабли. У него было лицо, как оно представляется, когда говорят «Минин и Пожарский»: если так посмотреть на него — будет торговец Минин, а с другой стороны, в другом положении — князь Пожарский, и все это вместе один и тот же русский человек.

— Волков я,— сказал он,— бывший торговец кожевенными товарами.

Что-то глубокое и чем-то близко знакомое увидела Уланова в этом простом лице русского человека, и ей сразу так стало, будто она вдруг оказалась при деле: пришел хозяин дела, и она теперь знает, что недаром работает и все это надо.

— Торговец,— повторила Уланова,— но за что вы к нам сюда попали, какая беда вышла у вас?

Волков, просветлев чуть-чуть, улыбнулся, как улыбается иногда старый человек озорному ребенку, узнавая в нем прежнего себя самого.

Он охотно рассказал о себе прежнем, о своем пережитом, что у него было в банке несколько миллионов, два каменных дома в Москве, имение под Саратовом и что он, обороняя свое имущество, поставил на крыше своего дома пулемет и в последний миг успел скрыться; и так он долго скрывался, но все-таки его нашли.

— К счастью, нашли,— сказал Волков,— когда я переменил свои убеждения, и я вовсе это даже и не считаю бедой, как вы только что назвали.

— Не жалеете о прошлом?— спросила Уланова.

— Нисколько. Ведь я не богатство свое защищал, а вечность. Я тогда жизнь так понимал, что все на свете меняется, все мишура, а в рубле заключена вечность.

— В рубле вечность?

— Совершенно верно. Многие наши купцы это в уме держали, и в простоте отчитывались перед вечностью,

и ставили за свой счет церкви. Из мужиков же вышли наши купцы.

— В рубле вечность!— повторила вслух удивленная чем-то Уланова.

— Крепко это было во мне,— продолжал Волков,— на этом вся моя жизнь прошла. А теперь я переменил убеждения и понимаю: в рубле вечности нет.

Уланова положила перо.

— А разве,— спросила она,— есть на земле что-нибудь вечное?

— А как же?— ответил Волков.— Есть же вечная мысля.

— Мысли,— сказала Уланова,— тоже вечно меняются.

— Мысли, конечно, меняются, но одна мысля у человека остается.

— Какая же это мысль?

— А такая мысля, чтобы на каждом месте и во всякое время как бы нам лучше сделать.

Все это время Уланова думала про себя, что вот как это не догадался художник сделать памятник Минину и Пожарскому в одном лице: если так посмотреть, будет торговец, а с другой стороны — князь. И так она долго глядела на свой памятник с одной стороны, а теперь как будто зашла с другой стороны и узнала Пожарского. Она чему-то обрадовалась, лицо ее загорелось.

Зуек с восторгом глядел на нее, узнавая в ней прежнюю свою Марью Моревну.

— Если эта мысль,— сказала она,— пришла вам...

Волков ее перебил.

— Пришла неожиданно,— сказал Волков,— и всегда теперь живет со мной, и нет мне с ней нигде ни скуки, ни обиды и даже неволи.

— И тут, в заключении?

— Дорогая начальница,— сказал Волков,— ни минуты времени такой нет, ни вершка земли такого, чтобы не было этой мысли: делай изо всех сил лучше — и будет всем хорошо.

И так теперь стало Улановой, будто она долго стояла перед большим водопадом и долго мелькали перед ней фигурки из пены падающей воды, но вдруг все вместе сложилось, и она услыхала мерный шаг человека, идущего все вперед и вперед.

XI. ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ

Раньше у нас лесные пространства на севере медленно заполнялись *своими* людьми, века проходили, и все незаметна была человеческая власть над природой.

Так бывало в селе, что кто-нибудь из большой семьи уходит куда-нибудь в лес подальше, в более удобном для себя месте выстроит дом своими руками, и так этот знакомый, *свой* человек сделает *починок*. А когда и тут семья увеличится и станет тоже тесно, то опять кто-то *свой* отделится, найдет новое урочище, и так починками, своими людьми наполнялась северная земля. Так множество лет проходило, и все земля оставалась почти что пустой. Даже на Выг-озере многие острова оставались еще не заселенными.

Но теперь пришел чужой человек, нездешний, пришел с новой мыслью, разрушающей старое медленное время расселения людей только своими людьми. Мысль эта была в том, чтобы не своим только родом идти вперед по земле и не для себя самого строить починок, а для всего народа своего и всех народов родной земли, всего соединенного великого человека.

Теперь в этой службе всему народу и всем народам родной земли стали соединяться не только свои люди, близкие земляки, а и всякие близкие по человечеству, и этот соединенный в труде человек с огромной скоростью стал переделывать северный край.

Сказал имеющий власть:

— Всех бросим в лес!

И не прошло даже месяца после приказа, как вот уже на месте прежней тайги стоят готовые просторные бараки, и улицы между ними складываются, как в городе, и собака бежит с костью по улице, за собакой вороны летят, норовят выхватить у нее эту кость, и повар, весь в белом, высунулся из жаркой кухни дохнуть свежим воздухом, и треплется красный флажок на ветру, и радио из невидимого рта своего бросает слова, уговаривает, приказывает, и орет, и поет.

По-прежнему еще далеко слышится непрерывный гул водопада, и все больше и больше становится похожа эта падающая вода на павшего дробного человека. Разбивается вода, разбивается когда-то цельный, натуральный человек на отдельных людей. Собирается в реку падаю-

щая вода, и с большим трудом приходит в себя, в свое единство разбитый человек и берет на себя власть над природой.

Так сказал имеющий власть:

— Бросить всех в лес!

И в лесу вырос город.

XII. РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Управление строительством узла по-прежнему оставалось в Надвоицах, но работы по заготовке строительных материалов велись на той стороне Выга. И туда, на ту сторону, и оттуда сюда, в Надвоицы, с утра до ночи ходили паром и карбасы, а кроме того, воздушным путем по тросам через Выг перебегала грузовая тележка.

Однажды поздно вечером, возвращаясь на карбасе домой, Зуек приметил, что тележка, вероятно для ремонта, была снята с роликов. Хорошо подумав об этом, Зуек пришел в контору и улегся спать на своей лавочке в передней. В этот раз он сразу не мог уснуть, ему мешали разные дневные впечатления, проплывающие, как кораблики, по теплому морю. В прежнем своем виде, как прекрасная Марья Моревна, проплыла перед его глазами Уланова, и могучий начальник его Сутулов, и черный карбас, с белым черепом, бабушки Марьи Мироновны, и бородатый дедушка Сергей Мироныч, и какие-то желтые китайцы с черными косами, и вслед за китайскими косами белые лошадиные хвосты, мешающие счастью Сутулова.

Один лошадиный хвост Зуек охотно бы задержал, но загадочный хвост при первой попытке остановить его рассыпался на серебристые ниточки и разбежался. Тут-то бы и заснуть, но вдруг показалось то самое, из-за чего, по-видимому, и проплывали все эти видения: это была грузовая тележка, убегающая по тросам за Выг.

Перед самым засыпанием он догадался, что если самому прицепиться к роликам вместо тележки, то можно на них перенестись по тросам за Выг, а если все выйдет благополучно, то можно прокатиться и обратно. Так он и делал всю ночь: катался туда и сюда на роликах. А может быть, как это часто бывает, ему только на мгно-

венье перед самым пробуждением пригрезилось, будто он всю ночь носился на роликах. Но он очень рано проснулся, далеко до начала работ, когда на зорьке даже и сторожа засыпают. И как только он открыл глаза, так эта мысль о роликах снова явилась и не дала ему больше спать: ему теперь надо поскорее бежать туда, пока люди еще не проснулись и, может быть, даже спят еще и сторожа.

Неслышно он выкрался из управления, оглянулся,— не смотрит ли кто,— и пустился бежать туда, где ходила тележка. Неподалеку от роликов на штабелях леса, пахучего, шкуреного, склонив голову, дремал ночной сторож. Ролики были закинуты так, чтобы сами от ветра не могли укатиться на ту сторону. Зуек умело выправил их, попробовал, примерился, схватился, разбежался...

— Держи, держи!— закричал сторож.

Но Зуек в это время со всего разбега скакнул, поджал ноги и полетел.

— Держи, держи!— кричал сторож.

И на другой стороне Выга кто-то услыхал и ответил оттуда:

— Держу-у-у...

Плохо бы кончилось это путешествие Зуйка по воздуху на роликах через Выг, если бы на помощь ему не пришел старый, заросший волосами Куприяныч. Случилось так, что старику в эту ночь не спалось, и он рано своим бродяжьим способом неслышно выполз из палатки с чайником в руке и развел на берегу Выга небольшую теплинку.

Тихо было в воздухе, дымок тонкой синей струйкой потянулся вверх. Бродяга, умыв лицо, не вытер его и, весь в росе, делая рожи кому-то, подобные нашей улыбке, с бормотанием и разговорами стал поджаривать корочку черного хлеба. Невидимые струйки в дыму дрожали, обнимаясь теплом, и от этого, глядя сквозь них, было так, будто весь мир с ними дрожит и колышется, и так все дружно сходится в блаженстве бродяги за его утренним чаем. Но вдруг, как это редко бывает у людей, а все-таки и бывает, кончики ушей Куприяныча дрогнули, как у собаки, и повелись на ту сторону за Выг.

— Держи, держи!— кричал сторож.

Куприяныч поднял глаза и, смекнув быстро, в чем дело, ответил сторожу.

По воздуху несся мальчик, сжимая посинелыми от напряжения руками толстый витой стальной трос.

— Держу!— ответил Куприяныч сторожу.

Старик вскочил живей Зуйка, выждал с расчетом, напустил, прыгнул высоко, как заяц, схватил в воздухе мальчика и в обнимку с ним повалился на мягкий мох рядом с костром.

Бродяга все на свете видал. И теперь, поймав мальчика, вернулся к чаю с таким видом, как будто ничего не случилось особенного и ему каждый день приходится ловить таких бездельников.

Зуек сидел рядом смущенный и как будто сбитый с толку: видно, путешествие на роликах в действительности было ему не совсем так приятно, как казалось во сне. Особенно неприятно было, что его, как он сам понимал себя, курьера начальника, имеющего власть над всем узлом, изловил какой-то бродяга безобразного вида.

Он сидел дикарем и молчал.

— Откуда ты взялся, пацан?— спросил Куприяныч.

— Какой тебе я пацан?— ответил Зуек.

— Кто же ты?

— Я курьер начальника узла.

Куприяныч немного откинулся назад, поглядел на мальчика без шутки, с таким видом, как будто в первый раз в жизни видит курьера и теперь ему надо что-то еще понять и вести себя, как подобает вести с курьером.

— Чего же ты, курьер,— спросил Куприяныч,— так рано прилетел?

— А вот только этого не хватало,— ответил Зуек,— чтобы у тебя спрашивался. У нас есть секретные дела. Я, может быть, чаю захотел с тобою напиться, взял и прилетел.

— Дело!— сказал Куприяныч, заканчивая разглядывать и вполне понимая теперь, какие бывают на свете курьеры.— Пить чай прилетел, ну, так давай же пить. Я люблю с утра брюхо попарить, выпьешь горяченького, душка-то и повеселеет.

— Какая это у тебя такая душка?

— А птичка есть такая у каждого человека.

— Птичка?

— Ну да. Слышу рано: «пик-пик!»

— И что?

— Ничего... Она «пик-пик!», а я понимаю, это Пикалка зовет меня: «Ты бы, Куприяныч, чайку заварил, брюхо попарил».— «Матушка, отвечаю, вот как бы рад был чайку заварить, да где же это я себе чай достану?»— «Об этом не думай, говорит, вылезай с чайником, а я тебе чай достану, ты и напьешься моего чаю с брусничкой». Тихонечко нащупал свой чайник, выполз на волю, оглянулся, нет ли кого? Нарвал с кочки брусничного листу, корочку хлеба поджарил, заварил. На-ка, хлебни нашего чаю, пацан!

— А птичка улетела?— спросил Зуек.

— Какое там улетела! Эта птичка, милок, всегда со мной. Я брюхо парю, а птичка поет, и все веселеет.

В это время по железной бочке ударили, а после того заревело и радио:

— Подъем, подъем!

— Ну, милок,— сказал Куприяныч,— надо на поверку идти, прощай, мой дружок!

— Погоди,— попросил Зуек, совсем потеряв уже свою курьерскую важность,— скажи-ка ты мне, куда ты теперь?

— А к своим, вон они выходят: это олонецкие. А вон рядом выстраиваются — это орловские, там вон рязанские, там, гляди, татары лезут дуром, степные люди: леса не знают. Там вон китайцы тоже к нам попали с Дальнего Востока. Я всю нашу землю обошел, и лучше той земли не видел, где сам родился. Наши олонецкие сплавщики, по лесу нет никого лучше их. Пойду им помогать лес шкурить.

— А птичка?

— Со мной полетит и моя птичка.

— И она с тобой лес шкурит?

— Нет, птичка моя лес не шкурит, а только поет и меня утешает. Вот я и не злобствую и спокойно своего сроку дожидаюсь.

— Какого это срока?

— Своего сроку дожидаюсь, какой есть у каждого человека. Придет мой срок,— и я опять в лес на волю.

— И там хорошо тебе будет?

— Но-о-о!

— И птичка с тобой полетит?

— Там птиц всяких много, там им нечего нас утешать: там мы цари.

— И можно там приказывать птицам?

— Можно приказывать.
— И что?
— Все, что только нам захочется.
— И все нас там слушают?
— Но-о!
— И не работают?
— Милок, я же тебе русским языком говорил: мы там цари. Куприяныч остатки брусничного и хлебного чаю вылил на огонь, затоптал и неторопливо пошел.

А к берегу на карбасе подплыл с той стороны Сутулов и начал подниматься вверх с камня на камень на то свое место, откуда ему была видна вся работа в карельском сквозном горном лесу. Зуек подбежал к нему, весело поздоровался и тоже медленно стал за ним вслед подниматься с камня на камень, все выше и выше. На самом верху, откуда все далеко видно кругом, Сутулов остановился, воткнул свою палочку в торф, обнимающий карельские скалы, как шубой.

Внизу выстраивались со знаменами, шли шеренги на места, брались за топоры, за пилы, а прорабы каждому указывали его назначение.

— Ты, Иван Дешевый,— говорил один прораб,— иди вон туда, к Лисьим норам; ты, Рудольф, с урками в Камень; ты, старик Волков, веди свою бригаду на Бараний Лоб.

И так потом дальше от бригадиров каждый узнавал свое место. Бригадиры обращались к каждому отдельно, а музыка гремела для всех.

И так начался и загремел рабочий день надвоицкого узла Беломорско-Балтийского канала.

XIII. ЗАВАЛ

Случилось, много тяжелых высоких деревьев, подрубленных и подпиленных неумелыми степными людьми, совсем непривычными к лесному делу, падая, оперлись на не тронутые пилою деревья и остались висеть в воздухе. Так много деревьев скопилось вместе шатром, и образовался завал. Степняки, не понимая лесных работ, рубили, пилили, не обращая на завал никакого внимания. И так наконец один из них принялся рубить то самое дерево,

на котором держался весь завал. И подруби он опорное дерево, весь завал бы рухнул и подавил много людей.

Но один совсем простой лесоруб догадался...

Зуек это заметил. Нельзя, конечно, было и не заметить: это было большое событие. Но во всем этом событии Зуек заметил именно то, что лесоруб догадался и вот именно одной простой догадкой спас жизнь более ста человек.

«Не так ли выходят из простых людей начальники,— думал Зуек:— нужно догадаться, спасти жизнь человека, и будешь начальником».

Так в простоте своей подумал Зуек, и так оно вышло на деле: Сутулов позвал к себе лесоруба, поговорил с ним, и простой лесоруб с тех пор сделался прорабом. Больше теперь этот лесоруб не работает весь день топором, а стоит на своем участке, как маленький Сутулов,— и даже с малиновыми петличками на шинели: назначает, указывает, приказывает.

Из всего этого случая Зуек для себя сделал вывод: ему бы тоже так надо догадаться, спасти человека и после того не бегать курьером, не передавать приказания, а самому распоряжаться, приказывать, как настоящие начальники.

Не будем скрывать и затаенной мысли Зуйка.

«Наверно,— подумал он,— мне тогда тоже малиновые петлички дадут, а может быть, даже и пистолет. Эх, вот бы догадаться и хоть бы одного человека спасти!»

Сам он своими собственными глазами видел, как тот счастливый лесоруб заметил опорное дерево в завале и как он к нему осторожно прокрался и немного подрубил... Тут было немного страшно за него. Но это пустяки, Зуек с восторгом взялся бы за это рискованное дело. Вся трудность была в догадке. И Зуек во все глаза глядел, и во все жданки ждал случая догадаться, и все не догадывался. Иногда у него даже голова кружилась от напряжения, и вместо догадки о том, как надо спасти человека, ему приходил на мысль совет Куприяныча уйти в лес, где нет никаких начальников, нет рабочих, а все цари.

Тоже думал он много и о душе какой-то, похожей на птичку. С этой мыслью о птичке он упорно глядел на Сутулова, стараясь догадаться, есть ли у начальника тоже

душа и какая она у начальников, тоже вроде птички или какая-нибудь своя, особенная.

Сутулов в это утро как воткнул палочку в торф, так и стоял неподвижный, наблюдая кипучую работу внизу. Никакого внимания он не обращал на своего курьера. Да это и понятно: Сутулов был целиком весь в своем деле, а Зуек, если правду говорить, занимался про себя только сказками, выжидая удобный момент, когда можно будет спросить — есть ли душа у начальников.

Зуек хорошо видел по движениям глаз и головы Сутулова, что начальник все время был занят, а как это трудно было ему постоянно во всем догадываться, это он хорошо знал по себе: ни за что бы он не посмел помешать догадкам начальника своим вопросом. Он ждал случая, и вдруг Сутулов оторвался от леса, поглядел на небо...

Момент был подходящий. Зуек уже открыл было рот, чтобы спросить о душе, но Сутулов первый сказал:

— Не простоит этот день, наверное будет непогода.

— Как это вы знаете?— удивился Зуек.

— А вон, погляди на небо,— ответил он,— везде хвосты.

Правда, небо было покрыто облаками, похожими на громадные кошачьи хвосты.

Услыхав, что на небе хвосты, Зуек вспомнил про те загадочные хвосты, о каких слышал он в печурке возле падуна от Улановой: не те ли это хвосты, не об этих ли небесных хвостах тогда шла речь. И может быть, Уланова тоже тогда видела на небе такие хвосты и отказала Сутулову, потому что боялась дождя...

Прошло немного времени, кошачьи хвосты на небе совершенно исчезли, но зато со всех сторон стали надвигаться тучи. Зуек этим воспользовался, чтобы заговорить.

— Как правильно вы сказали,— обратился он к Сутулову,— хвосты на небе были перед дождем.

Сутулов охотно ответил:

— Ты приметливый мальчик: вот увидишь, мы не докончим сегодня работу, пойдет дождь, и, наверно, это будет дождь очень сильный.

Зуек опять воспользовался вниманием начальника и решил, что теперь, конечно, можно спросить его и о всем. Подумав, о чем бы спросить раньше, о хвостах ли, чтобы окончательно уяснить себе, эти ли хвосты удер-

живают Уланову, или о душе, чтобы приблизиться к тайне догадки начальников, решил спросить о тайне.

— Можно спросить?— сказал он.

— Отчего же нельзя, спроси,— ответил Сутулов.

— Скажите мне, товарищ начальник, есть у вас душа?

Сутулов как раз в это время заметил какой-то непорядок на лесных работах внизу, и душа его оторвалась от Зуйка и туда улетела.

— Душа, говоришь?— рассеянно ответил он Зуйку.

— Душа, говорю, вроде птички...

— Птички, говоришь?

— Птички, говорю, вроде Пикалки.

— Ну и что?

— Когда птичка поет, Куприяныч работает. А когда перестанет работать, садится за чай, то с ней советуется. И он мне говорит: птичка эта — душа. А я спрашиваю: у вас тоже душа вроде птички?

— Стой!— оборвал его начальник,— какая тут тебе птичка, какая душа! Беги вон туда, стрелой лети, отнеси бригадиру приказ!

Сутулов наскоро что-то написал на бумажке.

Зуек с особенной скоростью выполнил в этот раз поручение: ему хотелось вернуться к начатому разговору, пока Сутулов еще не успел его забыть.

Но Сутулов, кажется, успел уже забыть и за такое короткое время. Проходит много времени, пока он останавливает свое внимание на маленьком своем препотешном курьере.

— Ты ведь, кажется, хотел меня о чем-то спросить?

— Как же вы не помните, товарищ начальник, я вас уже спросил.

— Нет, я помню, ты что-то меня спросил о душе.

— Ну да, я спросил вас: есть ли у вас, у начальников, тоже душа.

— Вот что выдумал!— засмеялся Сутулов.— У каждого человека есть душа, почему не быть душе тоже и у начальника.

— Это я понимаю,— ответил Зуек,— но Куприяныч сказал, душа у него вроде птички: она ему поет, и он под песню работает. А мне хочется узнать, как у начальников, душа тоже вроде птички, и тоже и начальники под песню работают?

— Куприяныч бродяга,— ответил Сутулов,— по лесам без дела шатается, у него много времени думать о птичках. Какая тут птичка! Мы к человеку прикованы, только и думаем...

— Как бы догадаться человека спасти?— подсказал Зуек.

— Ну, не то чтобы непременно всех спасти и спасти, а чтобы лучше было. Моя душа вся в заботах, вся во внимании: на что смотрю, там и душа моя. Вот вижу сейчас, урки проклятые там подрались, и как бы у них тоже не вышел завал. Смотрю туда — и душа моя там тоже работает.

— Понимаю,— ответил Зуек,— вы сами стоите, а душа ваша там работает.

— Вот правильно, только вон вижу, опять завал все растет и растет.

— Душа Куприяныча птичка,— продолжал Зуек.

— Птичка, говоришь?

— Птичка. Он работает, а птичка поет.

— Поет?

— Конечно, поет. А у вас по-другому: душа ваша работает, зато вы сами стоите.

— Сам я стою,— сказал, приходя в себя, Сутулов,— это верно. Душа моя работает, а я за правду стою и тебе тоже советую, не гоняйся за птичками: душа в правде. Только понимаешь ли ты, пацан, что-нибудь?

И только было собрался Зуек поспорить в том смысле, что ему лучше хотелось бы за птичками бегать, чем за правду стоять, как вдруг внизу на работе случилась новая беда, и душа Сутулова вся туда совсем улетела. А когда вернулась душа Сутулова, Зуек опять должен был сломя голову лететь на работу.

Тяжелый завал опять навис над степными людьми. Зуек бежал к Куприянычу с приказом бросить шкурить лес и поспешить помочь татарам разобрать огромный завал.

«Ну, вот и все,— радостно думал Зуек на бегу,— пришел теперь наконец-то и мой черед догадаться: пусть и моя душа поработает над этим, как бы спасти человека».

И он себе ясно представил, будто сам он теперь там вместе с Сутуловым по-прежнему за правду стоит, а душа его теперь летит спасать человека.

Так ли это было? Мог ли такой мальчик вполне понимать, что значит это за правду стоять и спасать человека? Может быть, эти прекрасные слова были только оболочкой, милой рубашечкой затаенного голого желания надеть на себя шинель с малиновыми петличками, самому не работать, а только приказывать. Довольно и этого! Но, может быть, сверх всего еще и дадут пистолет?

Не будем же затруднять себя догадками, а лучше поглядим на дела: они-то в своем неизбежном течении и свершении неминуемо все нам откроют, и все тайны наши предстанут в вещах.

Коротенькие люди с круглыми желтыми лицами, с широкими квадратными спинами, в маленьких цветных шапочках валили деревья, не обращая никакого внимания на то, куда они валят. Им, конечно, указывали, учили их много, и некоторое время они все правильно делали. Но они привыкли жить в степях на седле и, тюкая топорами, мечтой уносились туда на своих маленьких конях и были там возле своих юрт в стадах бесчисленных баранов и верблюдов, пили кумыс у младшей жены, ели баранину в юрте старшей жены, подумывали о третьей жене, а деревья валились по-своему, и степная природа брала верх над лесною наукой. Небывало тяжелый завал навис, а они все работали с мечтою о вольных степях. Оставалось срубить еще бы одно только дерево, но тут прибежал Зуек с Куприянычем.

— Аман!— сказал им Куприяныч.

Все на него поглядели. И тут он сделал ужасно страшную рожу, замахал руками, забрыкался ногами, как будто он их всех выгоняет и кричит всем:

— Айда, все люди айда, беги, беги!

И все страшно напуганные в один миг выбежали из завала.

Так бы легко было теперь догадаться Зуйку, и он, конечно, легко бы догадался и мог бы действительно спасти степных людей, если бы над его свободной душой не висел бы тоже своего рода завал: ему не просто хотелось спасти этих людей, а надо было спасти для какой-то личной цели. И этот завал не давал свободного хода догадке. Он не только еще не понимал, какое именно дерево держит завал, а даже и сам себя не берег и стоял разинув рот под самым завалом. Куприяныч, не имея времени с ним разговаривать и объяснять, просто схватил

его на руки и переставил в безопасное место, как куклу.

— Айда, айда!— погрозился еще раз Куприяныч в сторону степняков.

И один вошел смело и просто под шатер деревьев, сразу нашел опорное дерево. Стукнул по нем слегка обухом и сразу понял, сколько еще можно его подрубить, чтобы оно не подвихнулось и завал бы не рухнул.

Это было простое и смелое дело. Куприяныч подрубил дерево, привязал конец веревки, с другим концом выпрыгнул из-под завала.

Киргизы имели довольно времени, чтобы все понять, и, когда Куприяныч выскочил с концом, все радостно, как близкие друзья ему, бросились к веревке, схватились, потянули, и завал с треском грохнул на землю.

Все было так прекрасно сделано, как будто тут на глазах от совершенного поступка из самого серого дела родился, вышел и расцвел цветок дружбы между людьми.

И радость, распространяясь, захватила тоже и молодую душу Зуйка. Завал души его тоже рухнул, и он в восторге бросился к Куприянычу и закричал ему:

— Молодец, Куприяныч, сейчас я побегу к начальнику, все доложу, и он тебя, наверно, сейчас же назначит прорабом.

Куприяныч смеялся. А Зуек продолжал:

— Теперь ты будешь стоять, ничего не будешь делать и только приказывать.

Куприяныч еще больше смеялся.

— И все тебя будут слушаться. И ты их будешь спасать.

Куприяныч перестал смеяться.

— Айда!— сказал он.

И коротенькие люди сразу же послушались, сразу поняли все и охотно взялись за топоры и за пилы.

Куприяныч прошелся между ними, кому рукой показал, кому ногой, кого шуткой, как маленького, потрепал за ухо, тому головой помотал и сказал: «Ни-ни!», тому языком: «Так-так», и всего в несколько минут все степняки так заработали, будто всегда и занимались только лесными работами.

— Видишь,— сказал он Зуйку,— для чего же ты меня хочешь ставить в прорабы, меня и так все слушаются.

Зуек стоял смущенный. Казалось, все так ясно и просто было раньше: только бы догадаться, добиться места и стать на него. А вот оказывается теперь, что люди слушаются человека без петличек, без пистолета, и так он, если захочет, может сколько угодно спасать людей.

— И ты можешь людей спасать?— спросил он.

— А зачем их спасать?

Куприяныч смеялся и явно издевался над Зуйком.

— Видел ты,— сказал он,— как я их разогнал? Спасать! Ты только сам себя спаси и стань на правильное место, а люди сами спасутся: каждому жизнь дорога. Сказал что́: спа-сать!

И Куприяныч покатился со смеху.

Зуек не обращал никакого внимания на смех Куприяныча и крепко думал о том, что Куприяныч сказал: стать на свое правильное место. Такая это большая загадка!

— Тебе,— сказал он серьезно,— наверно, это все птичка указывает?

— Вот это так,— сказал Куприяныч,—это ты догадался. Я слушаю птичку свою и ни о каких петличках не думаю. Но погоди, я тебе это устрою. Ты тоже будешь в петличках стоять и приказывать. Хочешь?

Зуек покраснел.

— Ты, правда, хочешь?— всматриваясь в Зуйка, повторил Куприяныч.

Зуек еще сильней покраснел и чуть слышно что-то ответил, закрывая лицо полой своей куртки.

Куприяныч, сделав вид, что не расслышал ответа, еще раз спросил закрытого курткой Зуйка:

— Хочешь?

И Зуек из-под куртки явственно выговорил:

— Ага!

Глазки у Куприяныча стали узенькие, как у кота на свету, раздутое лицо вздыбилось щетиной. Он наклонился к Зуйку, отвел рукою полу и, смущенному, красному, прошептал на ухо:

— Сделаю, сделаю...

Глядя в землю, Зуек пробормотал:

— Как же ты сделаешь?

А Куприяныч уже щетиной своей коснулся нежного розового лица в тонком белом пушке. Зуек поднял глаза и с отвращением увидел в щетине Куприяныча все его блошки и вошки.

Плюнуть захотелось Зуйку, и он бы, пожалуй, и плюнул: до того стало ему на душе почему-то отвратительно.

Но только бы плюнуть, Куприяныч выпрямился и сказал:

— Сейчас пойду доложу начальнику, как все было, и ты не отказывайся. Ты спас людей один. У тебя будут петлички и пистолет.

XIV. ВАСИЛЕК

Сутулов думал про себя — успех в делах зависит от своего собственного человеческого поведения, а не от случая, или как называют это счастьем, талантом, судьбой. На таланты смотрел он как на дело природы: чтобы вырос талант один, природе нужно выбросить тысячу неудачников, бездельников всякого рода, лодырей и болтунов. Ему казалось так, что если бы он и сам почувствовал бы в себе какой-нибудь талант, то он весь этот талант растворил бы в своем поведении и всеми силами постарался бы, как нескромность, скрыть его от людей. А когда встречались ему таланты у других людей, он, обращаясь с такими людьми почтительно, всеми силами старался сделать их полезными. Но зато, истратив на это лучшие свои силы, как же он ненавидел проходимцев, бродяг, лентяев, болтунов и всякого рода бездельников. И пусть бродяга Куприяныч сейчас неплохо работал в лесу, он знал, что нет у него поведения, что рано или поздно он схватится за случай и убежит.

Ни одному слову бродяги из этой сказки о герое мальчике, разобравшем завал, он не поверил и, выслушивая сказку, думал, для чего врет лесной бродяга, беглый разбойник, способный за обладание какой-нибудь финкой задушить такого же бродягу, как и он сам. Его смущало одно, для чего нужно было бродяге завлекать в свои путы несмышленого мальчика.

И небо хмурилось в это время: оставался не закрытым тучами только небольшой клочок. Такая была теперь и душа у Сутулова. И так мрачно он изредка из-под своей тучи выглядывал...

Как синий василек, стоял недалеко мальчик.

Так бывает с нами, что когда, проходя полем ржи, мы видим василек, то этот василек, как глазок всего поля,

глядит на нас и за все поле один отвечает. Так и Сутулов все васильки на свете понимал, что за ними стоит поле. Но он совсем не мог понимать, зачем иногда любители срывают цветок, ставят его у себя в комнате в стакан с водой и чем-то наслаждаются.

Сутулов чувствовал физическую брезгливость ко всему такому ненужному, слабому, бесполезному.

Таким васильком в стакане воды и делался ему Зуек под влиянием вранья Куприяныча. Вот почему начальник и выглядывал из-под своей тучи на мальчика.

Зуек сразу же по лицу начальника догадался, что дело его провалилось и не быть добру из всей этой затеи Куприяныча. Вместе с этим пониманием его постепенно охватывал стыд. Сначала он хотел было бежать, но тут охватил его стыд какого-то другого рода, и оказалось, этот стыд был сильнее того. Бежать и хотелось, и надо бы, но онемели ноги от этого второго стыда. Тогда в оправдание себе поднялась злость, и она-то подсказала ему борьбу за себя и слова оправдания: что, правда, он сделал плохого, он хотел только сделаться начальником, таким же чудесным, единственным, как Сутулов. Что тут плохого? Он хотел взять власть, чтобы спасать людей... Правда, ему людей нужно было спасать, чтобы получить петлички и пистолет, но что из этого: люди-то все-таки бы спасались. Что тут плохого? Вот разве только пришлось немного соврать и взять на себя то, что сделал Куприяныч. Так все-таки Куприяныч-то спас же людей, и кому какое дело, что он свое счастье захотел Зуйку подарить? Какая же в этом беда, какой убыток, если для этого хорошего дела пришлось немного соврать. Так Зуек, отказавшись бежать, набирался злости все больше и больше и наконец твердо решил стоять на месте и защищаться.

Это бывает с мальчишками. И если бы Сутулов был начальником школы, имел бы дело с чистенькими мальчиками, он, конечно, бы должен был какой-нибудь шуткой высмеять виновника и пристыдить за вранье.

Там внизу под тучами кипело огромное дело, нельзя было на минуту оторваться от него без риска чьей-нибудь жизнью, а тут он должен выслушивать сказки бродяги и любоваться каким-то васильком в стакане воды.

Большое дело поглотило мелочи, и Сутулов вовсе забыл о мальчике, пленившем его своей правдивостью и прямотой.

Зуек весь горел, и кончики ушей его почти что светились огнем. Глаза его были опущены, впились в камень. Он весь замер в отчаянной готовности стоять на своем до конца.

Сверкнула первая молния. Загремел первый гром этой грозы. Но куда сильнее этого грома, куда страшней этой молнии были слова:

— Отвечай мне, это ты разобрал завал и спас сто человек?

Зуек как загорелся тогда, так и теперь стоял и горел, не отводя пристального взгляда от камня.

— Отвечай же мне, это ты?

Тут-то бы Зуйку и заплакать, попросить прощенья, обещаться. Но так делают многие, много обещаются, много раз опять врут, и опять раскаиваются, и опять, изнашивая душу, повторяют свое, пока не приспособятся жить между ложью и правдой. Зуйку же пришло это в первый раз, и, может быть, это было ему раз на всю жизнь.

— Отвечай же!

Зуек даже и не догадывался о возможности борьбы с великаном с помощью слез и маленькой лжи.

Вот еще сверкнула молния.

По каким-то хвостам Сутулов мог предсказать эту грозу, так неужели он не догадывается, что творится в душе мальчика и как обожает он своего начальника? Он, конечно, знает, и оттого с ним надо бороться и не уступать своего.

— Последний раз тебя спрашиваю, кто разобрал завал, ты или Куприяныч?

— Я разобрал!— ответил твердо Зуек.

И с камня перевел свои раньше такие ясные голубые, теперь затемненные и от злости позеленевшие глаза на Сутулова.

— Вот какой ты змеюга!— сказал Сутулов.— Уходи от меня вон. И на глаза мне больше не показывайся.

Был опять гром с неба. И в грозе слышался голос прекрасного, обожаемого начальника, голос, как гром, отвергающий его навсегда от участия в простой радости обыкновенных хороших людей.

С камушка на камушек спускался вниз Зуек, сам не зная, куда ему идти, и так дошел он до большого камня, обнятого корнями северной сосны. Он сел на камень,

обнял сосну, приложил к ней щеку, заревел, вздрагивая и все больше и больше уходя головой в худенькие плечи.

— Ты чего тут ревешь, пацан?— раздался голос из-за дерева.

Вышел кто-то, не похожий на каналоармейца, высокий, в женском малиновом берете на голове, глаза небольшие, голубые, загадочные. На плечах неизвестного была накинута куртка, голое тело было все расписано голубыми знаками, на левой груди против сердца красовалось лицо женщины с подписью: Маруся. На другой груди было два голубя, и они носик в носик кормили друг друга.

Рассматривая все это сквозь слезы, Зуек пришел в себя и спросил:

— Ты — Рудольф?

Из-за деревьев выскочили разные люди, почти все с теми же знаками татуировки.

Щеки у них, как и у всех людей, надувались от смеха, но глаза, в то время как лицо смеялось, оставались холодными и злыми: лица не добрели от смеха.

— Черти какие-то!— сказал Зуек, переводя свои большие, удивленные глаза с одного лица на другое.

И как только, не струсив нисколько, он произнес это «черти», так все эти люди поглядели на него иначе, почти даже и с уважением. Тогда-то Зуек вдруг и догадался — перед ним была знаменитая бригада двадцать первая, возглавляемая прославленным паханом Рудольфом.

— Ты спрашиваешь, кто я,— сказал пахан,— ну, хорошо, я — Рудольф.

Тогда Зуек, чтобы не ударить в грязь лицом, ответил, представляясь:

— А я курьер начальника строительства узла. У вас тут завал. Поднимается ветер, и всех вас может задавить.

— Нашли какую заботу — думать о нас!

— А как же,— ответил серьезно Зуек:— мы для того и стоим наверху и для того не работаем своими руками, чтобы думать только о вас. Мы вас спасаем.

Пахан на эти слова не удостоил даже улыбки, но Зуек все-таки заметил, что глаза пахана чуть-чуть повеселели от его слов, и этого было довольно: урки все разом разразились громким хохотом.

— Ты легкобычный пацан!— сказал довольно весело Рудольф.— Это вы хорошее дело делаете, ничего, спасайте нас.

Потом протянул свою руку, погладил ею Зуйка по голове, покачал своей головой и сказал:

— Какой ты хороший пацан, и зачем ты ссучился с легавыми?

Задушевный голос пахана проник в самое сердце Зуйка, слезы хлынули из его глаз, и вдруг с необычайной силой, заскрипев даже зубами, он унял их, утерся рукавом и сказал:

— Нет, я не ссучился, я хотел вправду спасать людей, а они меня выгнали.

— Выгнали!— радостно крикнул Рудольф.— Ну, поздравляю тебя!

И, брыкнув ногой и хлопнув себя по заду, взял его маленькую ручку, пожал и потряс.

— Теперь ты, брат, наш. Теперь у тебя много верных друзей, и с нами ты не пропадешь.

Тут хлынул дождь. Колонна за колонной пошли каналоармейцы в бараки.

— Приходи к нам! — крикнул Рудольф Зуйку.

XV. СКАЗКА О ВЕЧНОМ РУБЛЕ

Засверкала молния, загремели громы, и карельские лесистые холмы, озы и бараньи лбы на далеком расстоянии стали перекликаться между собою. Бежать Зуйку домой, переправляться за Выг было далеко, а бараки совсем были рядом. Он бросился догонять колонну Рудольфа и скоро был среди бараков нового маленького рабочего города.

Рудольф издали махнул ему рукой, давая понять, чтобы шел в тот барак, откуда издали пахло горячим хлебом и щами. Сам же Рудольф со своей бригадой исчез в дверях другого барака, и опять появился скоро, и опять показал Зуйку на душистый барак.

Все тут было вокруг, как на пожаре: там катили огромную бочку и устанавливали ее под капель, там на себе четверо загоняли телегу с грузом в сарай; какие-то люди, как знающие свое дело муравьи, перебегали постоянно из барака в барак, и массы определенно валили в столо-

вую. Никто, наверно, кроме Зуйка, не обратил внимания на голос по радио, приглашающий слушать выступление артистки Михайловой. Наконец так много скопилось людей у входа, что среди больших людей в тесноте он стал, как цыпленок в ведре, и там терпеливо слушал дуэт «Не искушай».

Чей-то тяжелый сапог приплюснул ногу Зуйка так сильно, что он закричал от боли. Тогда старый человек с добрым лицом, как бы изрубленным временем, наклонился к нему и взял его за руку.

— Ты, мальчик,— сказал он, — наверно, к нам от дождя забежал?

Зуек сразу узнал по голосу в этом старом человеке кожевника Волкова, говорившего что-то непонятное Улановой о вечном рубле.

— Мне,— ответил ему Зуек,— Рудольф указал идти сюда и тут его самого дожидаться.

— Рудольф?— повторил, припоминая, старик.— Да на что он тебе?

— А как же мне тут одному?

— Ну, вот добро,— усмехнулся Волков,— в такой тесноте мы сейчас, а ты боишься, как бы тебе одному не остаться. Пойдем со мной, я найду тебе чашку и ложку. Вот садись здесь, а я сейчас все тебе принесу. Не бойся никого, люди тебя не обидят: ты еще невелик.

Зуек сел на длинную белую струганую лавку за длинный во весь барак стол. По ту сторону узкого стола тоже люди садились. Везде от щей из мисок поднимался пар.

Не обошлось без того, что какой-то озорник, заметив за столом маленького, потянул его больно за пискунволос. А другой пытался заставить его крутиться, не выпуская из пальцев пучка зажатых волос. А еще один схватил за уши и хотел показать Москву. Но тут, к счастью, пришел добрый человек, поставил на стол миску со щами, хлеб положил, ложку дал.

— Хлебай, товарищ!— сказал Волков.

После всех бед и обид этого несчастного дня от горячих щей у Зуйка стало тепло на душе. Но главное было не в еде, а что он плотно сидит рядом со всеми на равном положении и эти большие люди, как товарищи, признают его равным и не обращают на него никакого внимания. В большом этом непонятном муравейнике он вдруг сам стал муравьем и знает теперь в нем свое место.

— Хлебай, хлебай, пацан,— говорил ему сверху добрый человек с седой бородкой на морщинистом бронзового цвета лице.

— Спасибо, добрый человек!— ответил Зуек, вспоминая, как говорят незнакомые гости за крестьянским столом.

— Не стоит благодарности,— ответили ему по всем правилам.

Важно посидев некоторое время, удерживая ложку рассчитанно на столе, Зуек спросил, как спрашивал, бывало, дедушка у себя за столом незнакомого гостя:

— Ты, добрый человек, откулешний?

И добрый человек не замедлил приличным ответом:

— Я из Талдома родом.

Зуек не знал, где это Талдом и что это значит, город, деревня ли, дом. Не в том было дело: нужно было только спросить по всем правилам, как делают это настоящие люди, и получить приличный ответ.

— А ты здешний?— спросил добрый человек.

Зуек умышленно задержал полную ложку на краю чашки и, слегка наклонив утвердительно голову, ответил:

— Ага!

— Живешь у родителей?

— У дедушки.

— Дождь хлыщет и хлыщет, тебе придется с нами побыть, а может быть, даже и переночевать. Пойдем со мной.

Многие встали из-за стола и перешли толпою в другой барак, где у каждого было свое место на дощатых нарах, свои вещи, свои соседи.

И Рудольф, и Куприяныч, и еще разные урки, бывшие в лесу с Рудольфом, сразу же узнали Зуйка, обрадовались, засмеялись ему и все плотно тут же рядом и уселись.

Зуек хорошо понял про себя, как хорошо это и сразу понимают все мальчишки: он чем-то Рудольфу понравился. Ну, а уж если так, то надо еще больше нравиться, нужно чем-нибудь отличиться перед всем обществом. И так загорелось и стало больше и больше разгораться у него в душе страстное желание, рождающее героев: желание отличиться, и пусть оно где-то там не удалось, так, может быть, отличится он здесь.

— Легкобычный пацан,— сказал Рудольф доброму человеку.

— С ним не шутите,— ответил Куприяныч.

Услыхав слова Куприяныча, Зуек на мгновенье оторопел. У него явилось подозрение: не подшутил ли над ним так зло Куприяныч, не нарочно ли он, злой человек, подвел его под беду. Но это одно только мгновенье такое мелькнуло, и кончилось, и погасло в каком-то свете, возникающем с другой стороны.

Как сухой листик шевелится от сквозного ветерка и мышкой бежит по земле, так от общего внимания побежала душка Зуйка, и он вдруг понял, что его минута пришла, что сейчас он должен непременно что-то сказать и отличиться. Большое дружеское чувство благодарности за что-то ко всем этим хорошим людям и, может быть, даже просто и ко всему человеку охватило его, и он вдруг спросил:

— Скажи, добрый человек, за что, за какие такие дела люди сюда попадают?

— За хорошие!— немедленно ответил чей-то хриплый, надтреснутый голос.

Зуек обернулся туда и увидел: в проходе стоит высокий худой человек с тонкой длинной седой бородкой, точно как у козла или у Кащея Бессмертного.

Никак нельзя было понять, в шутку ли говорит Кащей, или смеется над мальчиком. Лицо у Кащея было все ровно розовое, длинное, глаза маленькие, зеленые, проницательные и неустающие, как бы в вечном плетении какой-то паутинной сети.

— За хорошие, за хорошие,— повторил Кащей уже в явном сочувствии невинному деточке, попавшему в ад.

Так пришла в бараке заключенным редкая минута, когда не один кто-нибудь случайно в минуту личного расстройства вспомнит себя на воле в радостном согласии со своими людьми, но все разом это почувствуют,— где-то, когда-то было это и с ним, и это была жизнь настоящая, жизнь, как счастье великое, жизнь, как дар, а он сам с чем-то не справился, в чем-то не посмел, что-то упустил...

Бывает с каждым, мелькнет это чувство и отойдет к тому, чего не было, или к тому, что было когда-то во сне. Но тут оно всем разом пришло, и вот оно перед гла-

зами свидетельство: этот смелый, свободный мальчик, каким был когда-то каждый из нас...

Каждый смотрелся, как в зеркало чудесное, узнавая себя, как солнечного зародыша жизни волшебной, и никто не догадывался, что это солнечное семя, как всякое семя природы, отдается во власть случаю, что из тысяч брошенных природой семян только одно, может быть, прорастает, что и этот мальчуган стоит у самого порога погибели...

Каждый думал о себе, конечно, по-своему, но все были вместе, и все сходились в чем-то одном, и каждому хотелось высказать что-то свое и как бы отдать его на общее пользование и так самому определиться между людьми, как определяются люди в море и узнают, к каким берегам плывет его собственная лодочка.

Мало-помалу старший из всех, добрый человек, глядя на Зуйка так, будто сквозь него он видит себя в своем далеком прошлом, стал рассказывать свою жизнь. А Зуек по своей привычке из этого совсем правдивого рассказа бывшего торговца кожевенными товарами Волкова стал делать свою сказку о Кащее Бессмертном и его вечном рубле.

Началась эта сказка для Зуйка тем, что отец Волкова, сапожник в Талдоме, делал гусарики, детские башмачки, а его мальчик, вот этот теперь старый добрый человек, поправлял светец и в переменах лучины помогал отцу шить гусарики. Когда же достали керосиновую лампу и время освободилось, мальчик стал учиться грамоте по старинным книгам: отец указывал, а сын складывал, читал. Скоро мальчик научился, приохотился к чтению, понимая про себя, что книги не людьми пишутся, а падают с неба. И отец тоже, раньше во время работы все пел, а теперь слушал священное писание с двойной радостью: и то, что священное писание само по себе чудесно и что слышит его из бойких уст своего родного сына. Пусть сын теперь читал, а не помогал сапожнику, но гусарики при душевном внимании к словам писания выходили, наверно, и красивей и прочнее.

Так вот было раз — мальчик читал своему отцу о том, как юношу Алексея родители насильно женили, и Алексей после венчания прямо из церкви куда-то скрылся,

и как ни старались найти его — не нашли, и обвенчанный юноша пропал неизвестно куда.

Неустанно горевали неутешные родители и молились богу о своем пропавшем сыне. И вот однажды приходит к ним на двор нищий и просит жить у них не где-нибудь в доме, а просто в собачьей конуре. Поняли нищего как блаженного и жить в собачьей конуре позволили. Так он поселился и ничего не брал у хозяев для себя, питался только тем, что попадало в мусорную яму.

Так вот и пошло странное время из дня в день: богатые родители молились и плакали не переставая о своем любимом сыне, а он сам, любимый, желанный Алексей, жил у них на дворе под боком в собачьей конуре.

— Алексеем звали?— перехватил рассказ Рудольф.— Это я знаю, мне тоже читали, когда я был мальчишкой. Не помогло это чтение и в мое-то время, а теперь все это совсем ни к чему: несовременный рассказ.

— Рудольф!— ответил Волков.— Это было больше полста лет тому назад, как мы читали с отцом про Алексея божьего человека. Удивляюсь, как тебе в твое время довелось услыхать такую старину. Но я так понимаю, что как река из рек же составляется, так и наше время сложилось из разных прежних времен. Слушай же терпеливо и не перебивай меня: ты скоро увидишь, я все прежнее сведу к нашему времени.

Старик погладил Зуйка по голове и на мгновенье окинул взглядом своих слушателей: все они рядом тесно сидели на нижних нарах, и на полу, и с верхних тесно свисали ноги, а головы прятались под потолком в полумраке наступающих сумерек и в клубах махорочного дыма. Все слушали внимательно и о чем-то своем крепко думали.

Не о том ли думали они, павшие люди, что когда-то и сами были такие, как этот мальчик Зуек, и тоже и им когда-то падали в душу чудесные слова, как золотой дождь.

Сам же Зуек при общем добром к нему внимании, слушая сказание об Алексее, человеке божьем, поднимался душой высоко куда-то вверх, в легкий воздух и там плел и плел по-своему собственную сказку о Кащее Бессмертном и о его вечном рубле.

По примеру святого Алексея мальчик сапожника тоже вздумал уйти из дома, оторваться от близких и начать

потом неузнанным среди них новую жизнь. Так он и ушел из Талдома ночью в Москву и уже совсем было сговорился с одним монахом в подворье. Но как раз, только бы с этим монахом уйти в далекий северный монастырь, нагрянул отец, отбил у монаха своего мальчика, увез его обратно в свою сапожную мастерскую и заставил попрежнему шить вместе с собою гусарики.

Отец был неглупый человек, он понял вред от священного писания: и мальчик не о том думает, что надо думать по времени, и сам тоже попусту слушает. Обдумав все это хорошо, отец заставил сына работать, а сам по-прежнему стал песни петь за работой, состязаясь в искусстве с соседом портным.

— Вот, Рудольф,— сказал Волков,— ты теперь и мотай себе на ус: жизнь эта оказалась несовременной, и ты правильно сказал: это был елей от священного писания.

Зуек же, слушая, принимал все эти слова как материал для собственной сказки. Он так понял, что в жизнь мальчика вмешался Кащей, охватил его своим дыханием и соблазнил прелестью жизни. Мальчик сапожника, взятый собственным отцом в плен, понял теперь себя, что так и вечно быть ему в плену, если только он не сделается человеком богатым. И уж если нельзя ему попасть к святым, то к сильным людям от себя самого зависит попасть, и отец против этого ничего не будет иметь: никто от богатства не откажется.

Маленьким родничком начинаются реки, так и богатство Волкова началось с пустяка: вот мальчики, его сверстники, так весело и свободно играют в ладышки, он же сам, пленник Кащея, угрюмо стоит в стороне. Нет, конечно, он не просто стоит, не зря время проводит. Он наблюдает, догадывается, как бы из этой веселой игры сделать пользу себе. И так мало-помалу догадывается, что в кон попасть зависит только от ловкости руки и меткости глаза, но выбить кон можно только хорошим *битком*. После того он сам своими руками стал наливать свинцом битки и добился того, что битки его были мальчишками замечены и на них явился спрос. Битки пошли в ход, и за одно только лето Волков на битках нажил двадцать рублей. Потом он узнал, что слепые учатся иногда читать по выпуклым буквам на бутылках от пива, и давай эти бутылки искать и продавать их слепым. А еще он дога-

дался скупать в деревнях старые кокошники и вытапливать из них серебро. Тогда-то вот оказалось, что деньги не надо беречь под камнем, как он это делал, а, напротив, немедленно пускать их в оборот, скупая больше и больше кокошников. А еще он тут же, скупая кокошники, стал скупать воск, сам научился из этого воска отливать свечи и очень выгодно продавать их богомольцам. Так много всего нашлось в царстве Кащея, о чем можно было догадываться в пользу себя и все богатеть, и богатеть.

— Мотай, мотай, Рудольф, себе на ус,— сказал Волков,— я богател не по случаю, не крал у людей, не грабил с ножом на лесных дорогах, а копил добро в большом понимании и терпении страшном. Понимание жизни меня приводило к тому, что бедному человеку на земле нет выхода и нет нигде защиты. Хорошо жить на земле, оказалось, можно только богатому, и ежели нет на земле вечности для души, то надо найти вечность в рубле.

— Вот это правильно! — воскликнул Рудольф.— И ты, пацан, слушай и мотай и мотай на свое веретено в голове: нет вечности на небе, вся вечность в рубле.

— Хороший, правильный рассказ,— одобрил тоже и тот худой с козлиной бородкой Кащей.— Без этой основы не может быть вечности, и самому господу от богатого церква, и бедному тоже копеечка: возле богатого хорошо и бедному, а чем можно помочь бедняку, если и сам гол как сокол?

Зуек перевел глаза на Кащея и догадался по его словам, что, наверно, так и правильно, так все и живут в Кащеевом царстве: все умные друг от друга учатся догадываться в пользу себя и богатеют, а бедные на них работают.

— Дураков работа любит! — сказал, зевая, Кащей. И перекрестил себе рот, заключив после зевка: — Эх мы, грешные, грешные!

— И понял я,— продолжал добрый человек,— понял, Рудольф, что рубль на земле — это вечность на небе и что за рубль эту вечность можно купить. И уж если надо жить на земле, то и надо бороться за вечность рубля.

— Правильно, правильно, Волков! — ответил Рудольф.— Учись, лучше учись, пацан.

— Понял я, что работать можно не только силой рук, как рабочие, не только утруждением мозга, как служащие и ученые, а своими собственными чувствами и смекалкой.

— Что-то не совсем понимаю,— сказал Рудольф,— как это можно работать чувствами?

— Очень просто,— ответил Волков,— иду я раз по базару и настраиваю свое чувство слуха: о чем люди говорят. И слышу я, люди говорят о подошве, что в Варшаве сейчас дешевая подошва. Услыхав эти слова, я живо смекнул и сразу решился ехать в Варшаву. Все какие были только у меня деньги я пустил на подошву, вагоны подошвы в Талдом пригнал и только на одной подошве чистых сто тысяч нажил. И все нажил только работой чувства, со слуху нажил.

— А с пальцев не пробовал? — с уважением и с насмешкой спросил Рудольф.

— Понимаю тебя,— ответил Волков,— с пальцев не пробовал. Пойми ты меня: я шел законным путем. Пусть даже и верно, что не обманешь, не продашь, но самый обман в торговле есть моя законная тайна. Первое время я только по слуху работал, схватываю и смело иду своему счастью навстречу.

— Не согласен с тобой,— сказал Рудольф,— какая это такая у тебя законная тайна, скажи: законный грабеж. А если есть грабеж законный, так почему же ты презираешь грабеж незаконный? И если ты работу чувств признаешь, то почему же ты отвергаешь работу пальчиками: ты по слуху, я осязанием, и уверяю тебя, с пальчиками бы у тебя много скорее дело пошло.

— Ты не хочешь понять меня,— почти что рассердился Волков,— я же теперь стал совсем другой человек, я только рассказываю о себе в прошлом, как я наживал миллионы. Я про законный путь в том смысле говорю, что я верил в вечность рубля и эта вечность была мне законом. А с пальчиков, как ты говоришь, это просто мошенство. И опять у вас легкость, и даже разговор у вас постоянный в том смысле, что не нажил, а *смыл*. Ты что же думаешь, я все тащил к себе, как урка, все проедал и все раздавал? Нет, милый, жизни для себя у меня никакой не было. Вот про пальцы говоришь, а я, как этими самыми пальцами в холодные ночи ими деньги в лавке считал, я себе отморозил, и на руках и на ногах, и жена

моя вместе со мной отморозила. Нет, брат, я не на себя, я на вечность работал. И так я руку себе засушил, глаз потерял и нажил миллион. И только уж когда три миллиона нажил, вспомнил про себя и поехал со всей своей семьей, как ездили тогда все богатые люди, за границу, в Париж.

— В Париж! — воскликнул Рудольф.— Ну, теперь все знаю вперед, поедешь в Париж и там угоришь: я там был и видел твои миллионы. Прогулял?

— Ты все не хочешь меня понимать,— ответил Волков,— и все по себе самому догадываешься, и короткая душа у тебя. В Париже я наконец-то на самом деле уверился, как правильно я взял свой курс на вечность рубля. Не знал я французского языка, и за рубли мои ходили сзади меня два переводчика. Не было глаза, вставили искусственный глаз. Рука была сухая, руку мою оживили. На радостях приказал я переводчикам: «Ведите, говорю им, меня в самую главную церковь, желаю поблагодарить за все их бога». Так было у них воскресенье, такое же, как и у нас, и в такое воскресенье повели меня к обедне в знаменитый храм Нотр-Дам-де-Пари. Тут я в великолепии несказанном услыхал Херувимскую: точно так же, как и у нас было «Иже херувимы». И как я это услыхал, то как подкосило меня, упал я на мраморные плиты собора, понимая радостно и со слезами на глазах и с великой радостью в сердце, что бог одинаковый и у нас и у французов, и что путь мой на вечность законный, и что по всей земле люди молятся и просят своего бога о вечном рубле...

После этого воспоминания Волков слегка прослезился, а Рудольф стал смеяться, не меняя холодного и бездушного выражения своих глаз.

— Чего же ты, окаянный, хохочешь? — спросил Волков.

— А как же мне не смеяться,— ответил Рудольф,— песенка твоя давно спета, все-то все на свете ее знают и понимают, только ты, русский мужичок-простачок, попал в Париж, услыхал, умилился, прослезился.

И Рудольф, сделав мефистофельский жест, запахнул невидимый плащ, ударил рукой по струнам невидимой гитары и, отставив стройную ногу, пропел довольно хорошим баритоном и очень верно:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит во всей вселенной.
Тот кумир — телец златой.

— Телец золотой — это вроде Кащея? — спросил Зуек.

— Только название, милый мой,— ответил Волков,— только говорится так, что бессмертный, а даже и в сказках на Кащея есть смерть. Шестьдесят лет изо дня в день я крепко веру держал, понимал вечность в рубле. Наконец, после всех испытаний, раскрылась мне правда.

Волков склонил голову.

— Что же ты понял такое? — с любопытством спросил Рудольф.

— Понял я,— ответил Волков,— что в рубле вечности нет.

— В рубле вечности нет, вот чудак! — засмеялся Рудольф.— Нет вечности в рубле, и ты вернулся в собачью конуру?

— Нет,— ответил с твердостью Волков,— и в конуре, понимаю, тоже вечности нет, ни в рубле, ни в собачьей конуре.

— А как же тогда? Нет, нет, вечность есть.

— В чем же твоя вечность? — рассеянно спросил Волков.

— В пальцах,— ответил Рудольф.— Ты вот работал только на глаз и на слух, я же пальцами работал. И ты нажил за всю жизнь свою только три миллиона, а я тебе своим пером в одну ночь денег сколько хочешь наделаю. Мое перо в славе.

— Какое перо, Рудольф? — восхищенно спросил Зуек.

— Золотое перо,— охотно ответил Рудольф.— Мое золотое перо, и мои золотые пальцы, и мои золотые руки никого на свете не подводили. И еще есть у меня сто отмычек, и любая шкатулочка со всяким добром, с золотом, бриллиантами и всякими драгоценностями мне открывается.

После слов о волшебной шкатулочке Зуек перестал складывать свою сказку о Кащее Бессмертном. Вся жизнь ему представилась волшебной шкатулочкой: вот бы жить так и жить!

Как синяя вода в тихий день, представлялась Зуйку жизнь человеческая. Но почему-то вот замутилась вода, затревожилась.

И Зуек дрожащим от волнения голосом, душевно, как близкого друга, спросил Рудольфа:

— А как же, Рудольф, ты шкатулочку откроешь, унесешь драгоценности? И я потом, хозяин шкатулочки, прихожу к синему морю, и вижу я: на берегу синего моря лежит моя шкатулочка брошенная, взломанная, пустая.

Один только мальчик, и, может быть, единственный мальчик на свете, Зуек мог таким задушевным голосом задать отъявленным ворам такой милый вопрос о хозяине разграбленной волшебной шкатулочки. Сам Рудольф даже как будто смутился, и много глаз из разных углов глядели на него с интересом и ждали, как ответит пахан.

— Успокойся! — дружелюбно ответил Рудольф.— Твою шкатулочку я никогда бы не тронул. Но я понимаю, ты спрашиваешь про неизвестного хозяина этой шкатулочки. Что же мне до этого чужого какого-то хозяина? Он ведь для себя одного владеет, я же не для себя работаю. Ко мне каждый идет и берет, сколько хочет. Мне каждый друг.

Он кивнул головой в сторону урок, и все они, кто мычанием, кто морганием, кто молчанием, подтвердили правильность слов своего пахана: ничего он себе не берет и перо его золотое и отмычки для всех работают.

Зуек растерялся. Глаза его потускнели в какой-то никому неведомой борьбе, но одно было всем ясно в ответе пахана: все это так и не так.

Сказать, однако, что-нибудь против пахана никто не захотел, и наступило то молчание, когда каждый вспомнил в себе такого же мальчика: был он или не был в действительности, но каждому теперь казалось, будто он тоже был точно таким же в своем детстве, тоже так ясно все понимал, а потом ясный прямой путь потерялся и до правды стало необходимо докапываться как-то умом, хитрить и мудрить.

Тогда бродяга Куприяныч в полумраке своего угла вдруг как бы засветился своими глазами ночной птицы, склонился к уху Зуйка, пощекотал его жесткой своей шерстью и шепнул:

— Милок! Не слушай ты никого. Иди сейчас потихоньку со мной.

Несмотря на противную близость бродяги, слова Куприяныча Зуйку явились какой-то отдушиной после трудных разговоров о вечном рубле. И он быстро встал и доверчиво пошел за бродягой к далеким нарам на вторых мостках.

Устроившись на ночлег рядом со своим маленьким другом, Куприяныч сказал:

— Я тебе, милок, говорил, у меня есть птичка, и я ее слушаю. Люди говорят все по-разному, всех не переслушаешь и ничего не найдешь. А ты гляди только на меня, когда птичка позовет — я тебе скажу, и мы с тобой от них уйдем, никого не слушайся, гляди на меня.

— Птичка! — сказал Зуек.— Это самая та, Пикалка? Тебе на работе помогает?

— Нет,— ответил Куприяныч,— это птица желна, и ты ее знаешь.

— Желна,— вспомнил Зуек,— черная птица с красной головой?

— Вот, вот, та самая птица с огненной головой, летает после пожаров на гарях от одного черного дерева к другому, долбит.

— И кричит,— вспомнил Зуек,— на весь свет на лету часто, а когда на сучок сядет, то: «пить-пить-пить...»

— Не «пить-пить»,— ответил Куприяныч,— а «плыть-плыть!» И то не всегда, а только ранней весной перед водой: это слышит и понимает каждый бродяга. Вот и мы, когда желна к весне закричит свое «плыть-плыть», мы тоже с тобой поплывем.

Так и уснул Зуек под уговоры Куприяныча, и спать бы ему так до утра. Но когда разошлись тучи, на небо вышла зеленая луна, и свет ее вошел во все окна барака. Мы не знаем, как лунный свет забирается в душу людей, но только многие в этих лучах нашли у себя в голове какие-то неотвязные мысли и, обдумывая, открыли глаза. Лунный свет нащупал и в Зуйке место, пронзенное обидой и закрытое на время рассказом о вечном рубле, золотом пере и волшебной шкатулочке. Обида развернулась, как глубокая душевная рана с невозможностью возвращения к прежнему. Лунный свет охватил кругом маленькую головку Зуйка, и она открыла глаза с определенным, рожденным острой болью вопросом: «Как же быть?»

Только-только определился было вопрос, как перед открытыми глазами у окна показалась залитая лунным светом бритая голова человека с маленькой бородкой. Маленькие глазки светились, губы непрерывно шевелились, обе ладони время от времени поднимались вверх и охватывали все лицо, движением сверху вниз как бы умывали его, а из губ вылетали слова: «Алла, алла!»

Зуек сразу не понял, что это делается у окна, только ему стало неприятно и немного страшно. А дальше так в лунном свете что-то похожее делали два китайца, и у них в руках было по желтому фонарику. Зуек не хотел этого видеть и повернулся в другую сторону. Но и на другой стороне сверху тоже виднелись нары, и тут совсем уже близко у окна в лунном свете он узнал длинное худое лицо с жидкой бородкой. Кащей Бессмертный шепотом молился и время от времени поднимал руку и крестил себя мелким крестом. Тут только Зуек и понял, что и там, назади, разные люди по-разному тоже молились.

Зуек так теперь понимал Кащея, что он молится о вечном рубле, как молился когда-то и добрый человек Волков, и ему страшно стало. Правда, и бабушка по-своему молилась и дедушка, но у тех не было это тайно, как здесь, в Кащеевом царстве. Тогда-то свое горе «как быть с обидой» и эти ужасные тайны лунного света сошлись, Зуек весь задрожал, схватил Куприяныча за бороду и начал трясти его.

— Что с тобой, дурачок? — спросил Куприяныч.

— Погляди,— зашептал он,— вон Кащей сидит.

— Молится богу своему,— сказал Куприяныч.

— О вечном рубле?

— Он заклады брал, ростовщиком называется,— о чем же больше ему молиться, как не о рубле.

— А вот там другой сидит,— шептал Зуек,— тот умывается и шепчет все время: «Алла! алла!»

— Это татарин.

— И тоже о рубле?

— А о чем же?

— А вот еще с фонариком.

— Это китайцы.

— Как же нам быть, Куприяныч, они все тайно молятся и нас изведут.

— Э, полно, брат, не тужи, мы с тобой от них удерем.

Вот как только дождемся весны, желна «плыть-плыть» закричит, и мы с тобой поплывем.

— Куда же мы с тобой поплывем?

— Мы поплывем с тобой, куда нас желна поведет.

— Там не работают? — спросил Зуек.

— Не! — ответил бродяга.

— И не молятся о вечном рубле?

— Не!

— И не открывают чужие шкатулки?

— Не, там царствуют.

— И не приказывают?

— Не у чего там приказывать.

И стал рассказывать перед сном, как ему однажды очень захотелось напиться в этом чудесном краю. Поглядывал в лесах, лугах и оврагах, нет ли где ручейка или лужицы. Совсем пересохло во рту от сильной жажды, но вдруг он увидел с подгорки,— сверху из темного зеленого ольшаника на камешек падает струйка чистой воды и с камушка прямо на мох зеленый и бежит по черным, синим и красным ягодкам. Припал бродяга к ручью, пьет — не напьется. А какая-то птичка кричит часто и настойчиво, и все одно только слово:

— Птичка-яичко!

Послушался птички, оглянулся, а рядом лежит голубое яйцо.

— Большое?

— Чуть поменьше куриного и голубое.

— Это птичка снесла?

— Нет, это раньше цапля снесла, я не видал, а птичка мне указала.

— Ну, и что же дальше было?

— Я посмотрел и понял: это цапля снесла яйцо свежее и ненасиженное. Значит, цапля тоже попить захотела. Попила и снесла.

— Ну, и что же дальше?

— Ничего. Я развел теплинку, налил в котелок из родничка воды, яичко сварил.

— И ну?

— И скушал... как хорошо! Я тебе еще раз говорю: там не работают, там все нам приготовлено, там мы цари.

Часть II

СКАЛЫ

XVI. БОЖЬЯ КОЛЕЯ

Два раза по Карелии, наступая и отступая, проходил Скандинавский ледник и оставлял после себя длинные холмы песка, морен, напластовываний гравия, хрящеватого песка и песка-плывуна.

То же говорят ученые, будто подземные силы, поднимая Скандинавский полуостров, к ледниковому нагромождению прибавили еще и свое: поднятие было неравномерное, земля была перекошена, каменные пласты местами были поставлены на голову.

Дальше было так, что впадины наполнились водой, и морская рыба начала искать себе путь в верховьях рек. Камень, подверженный действию воды и ветра, покрывался лесом и мхом, леса стали убежищем зверей. И первобытный человек жил тут, как и всякий зверь, не оставляя после себя заметных следов. Только после уже многих тысячелетий, когда над местом жительства первобытного человека образовался толстый слой плодородной земли, когда заработали в этой почве кроты, ученые заметили в кротовых кучах черепки разбитой глиняной посуды и кремневые наконечники орудий того человека. И мало-помалу под этим почвенным слоем были открыты места длительного его пребывания, и по направлению стойбищ можно было понять: и тот первобытный человек сквозь хаос нагроможденного камня, покрытого водой и лесом, пользуясь направлением узких, удлиненных озер и морен, старался пробить свою разумную прямую

человеческую линию намеченного в наше время Беломорско-Балтийского пути.

Недалеко от нас и то время, когда русский человек, пробираясь вперед путем первобытного человека, принимал след ледника за след колесницы Ильи-пророка, и весь этот путь ледника из Белого моря в Балтийское стал известен в северном русском народе как *божья колея.*

И правда, путь ледника был очень похож на след колесницы. Там, где колесо уходило в землю поглубже, потом в эту глубокую колею набегала вода и оставалось удлиненное озеро. Там, где колесо поднималось, на этом камне после него вырастал лес, и это сухое место между двумя озерами стало называться по-местному *тайболой.* А то и просто бывало, из одного озера в другое бежала река, и человек переплывал на лодке даже и тайболу. Вот по этой же самой божьей колее озерами, реками и горами, покрытыми лесом, царь Петр перевел свои корабли из Белого моря в Балтийское. Просека в лесах, сплываясь от времени, была в наши дни еле очерчена: надо было издали на краю заревого неба увидеть темный зубчатый лес, и тогда ясно становилось, как темный лес на красной заре расступался на две черные стены и показывал след, как волю человека, имеющего власть над природой: человек захотел — и леса расступились, пропустили корабли, и этот след *Осударевой дороги* остался видим до нашего времени.

Так вот и теперь тот же человек, имеющий власть над природой, собрал множество людей со всех сторон необъятной страны, чтобы вновь соединить разделенные моря и, может быть, в этом великом деле показать еще более великое: показать, чего может достигнуть в природе человек, соединенный в труде как единый человек, неустанно идущий вперед и вперед.

XVII. КРАСНАЯ ЧЕРТА

Скандинавский ледник своей чудовищной силой, сползая, растирал скалы, но были такие скалы первозданных пород, что и ледник, упираясь в них, свертывал с прямого пути.

Инженеры не останавливались и перед такими скалами и тонким стальным перышком на плане проводили

свою прямую красную черту через скалы, недоступные даже силе сползавшего льда.

Эта красная черта для многих островов на Выг-озере обозначала конец прежнему существованию и необходимость людям спасаться и браться за что-то другое.

Об этом говорили, объявляли, указывали новые места, куда следовало людям переселяться.

По-разному относились местные люди в том и другом селе на том или на другом острове. Бывало, в каком-нибудь селе в давние времена какой-нибудь любознательный солдат, вернувшись со службы, приносил с собою волшебный фонарь, удивлял земляков световыми картинками, и с тех пор на этот остров или в это село стали попадать другие новинки, и один по другому стали нарождаться тут люди несколько просвещенные. В таких местах, конечно, люди поняли мысль ведущих на плане через скалы, воды, леса свою красную линию и разумно стали готовиться к переселению. Но на Карельском острове, где спасалась Марья Мироновна, люди верили: последний потоп был при Ное праведном, и бог в ознаменование того, что потопа больше не будет, дал радугу.

Человеческая тревога еще не начиналась на Карельском острове, уснувшем после великих религиозных гонений и самосожжений. Вон там на краю острова какой-то рыбак сейчас рубит себе баню, выбирая деревья посмолистее, чтобы баня дольше стояла у воды и не прела. Если бы он только знал, что через какой-нибудь год эта баня будет на дне озера тихим пристанищем раков и рыб! Но бедный человек не понимал времени и строил свою баню как можно прочнее.

Неподалеку от строителей бани два рыбака дрались между собою за сиговые тони: один из них протянул свой невод по тоне другого, и тот теперь отбирал у него пойманных щук и сигов.

Перед неизбежным затоплением острова люди жили беспечно, и с ними рядом жили разные животные. Под лестницей большого дома Марьи Мироновны была незаметная норка водяной крысы, и отсюда у нее был ход в пруд, где жили долго золотые караси. А над крышей высокого дома давным-давно стояло старое поломанное дерево. В борьбе за жизнь дерево выбросило множество порослевых сучков, и в этой куще тоже давным-давно ворона сложила себе темное гнездо и отсюда постоянно

стерегла водяную крысу. Бывало, иногда светлой ночью водяной крысе вздумается выйти в пруд к золотым карасям не подземным ходом, а поверху. И вот этого случая постоянно дожидалась ворона. Годы проходили, одна ворона сменялась другой, одна крыса свои навыки передавала другой, и только мельчали караси, и постепенно золотые уступали свое первенство карасям серебряным, более мелким.

Случалось какой-нибудь крысе загрызть молодую ворону, случалось и ворона унесет к себе в гнездо крысенка, но эти случаи не нарушали нисколько общей жизни берегов Карельского острова: сиги с испокон веков держались этих берегов, и особенно дикие утки окружали остров своим серым живым островом, и ветхозаветные люди их не трогали и не пугали, полагая, что для еды назначена человеку не водяная, а горняя дичь. Гагары, гуси, лебеди, присоединялись к серому утиному острову.

О будущем на всем острове думала одна только Марья Мироновна и неустанно молилась у себя в моленной, а ночью ложилась в гроб, ожидая страшного часа, когда затрубит архангел и загорится земля. Ей ли, мирской няне и разумнице, не понять наше время, не вникнуть в него, не разбудить людей своих, дремлющих вместе со своими птицами и животными! Сколько раз молодая зеленая веточка старой ивы стучала в окно и шептала:

— Проснись, очнись, добрая бабушка, улыбнись, помоги этим бедным людям, развяжи их веревочки, чтобы не ходили они кругом себя, как телята на привязи.

И, конечно, еще и как слышала бабушка голос зеленой веточки, но, усиливаясь в вере предков, вспоминая прежних лет погорельщину, еще крепче держала в себе сжатое сердце.

Нет, наверно, не было уже бога живого в этих темных и страшных ликах икон, озаряемых неугашаемым светом лампады.

Живой творческий дух выбрал себе скромную комнату барака из сосновых бревен с ароматной смолой. В этой комнате инженеры в постоянной борьбе между собою за лучший план старались так закрыть Воицкий падун, чтобы можно было самому человеку его и открыть и чтобы не падун управлял жизнью озера, а сам человек: захочет — и падун замолчит, захочет — и падун опять зашумит.

Конечно, ничего не знает об этом страшном умысле сам падун. И только подрастающий мальчик ежедневно приходит к нему в свою печурку, сливает с падуном свою жизнь и глядит туда, как в себя, и там, как в зеркале, что-то видит, о чем-то догадывается. Он в большой обиде теперь, этот трепещущий неученый мальчик, но, преодолевая боль свою, все-таки видит и теперь там в падуне других людей, всего соединенного человека, идущего все вперед и вперед к лучшему.

Чудится ему: человек со своими мыслями, желаниями там соединяется в большого человека, но почему же его одного, Зуйка, тот большой человек не берет с собой и забывает в печурке на черной скале?

Вон как взлетают высоко вверх струйки и, падая, опять соединяются вместе. Целые столбы белой пены высятся, и опять обнимаются, и опять соединяются.

И мелкие брызги летят, и радуга в них появляется, и гул, и хаос, а все-таки сквозь этот гул и хаос, если прислушаться сердцем...

Вот что-то сбилось, какая-то тяжелая глыба повернулась, загремела там в глубине. Что это?

Ничего! Вот опять что-то соединилось, и опять слышится мерный ход, и это, наверное, сам большой человек, преодолев какое-то огромное препятствие, справился и опять мерно шагает все вперед и вперед.

— Но зачем же, за что же меня бросили вот тут одного на скале? — спрашивает Зуек.— Возьмите, возьмите меня, я вам пригожусь. Эх, если бы вы знали, если бы вы только могли понять, как бы я вам пригодился.

Никто не слушает мальчика, предоставляя ему самому найти свой собственный путь. Невозможно же инженерам, определяющим место затопления, принимать во внимание интересы какого-то мальчика. Инженеры тоже думают о всем большом человеке, и что им задумчивый мальчик, переживающий обиду свою с падуном: это его личное дело решать вопрос, как выйти ему из обиды и, свободному, вступить в ту роковую борьбу за свое лучшее место в человеческом деле. В том-то, может быть, и есть смысл борьбы, чтобы слабенький сделался сильным.

Когда с трудным узлом на плане было покончено, инженеры довели до конца на бумаге все узлы до самого Белого моря и приступили к макетам канала.

Мысль начала облекаться в твердую материю, и вот он, первый кораблик, выходит из озера Онего возле Повенца. Дальше он должен подняться в гору на водораздел, переплыть по воде на ту сторону хребта, спуститься потом вниз до Белого моря.

Корабль вводят в коробочку, плотно закрывают за ним дверь, пускают в коробочку воду, кораблик поднимается выше и входит в другую коробочку, опять пускают воду и в эту коробочку, и корабль, поднимаясь выше на шлюзовую ступеньку, вступает в канал. И так семью шлюзовыми ступеньками повенчанской лестницы макетный корабль поднимается на водораздел и, преодолев горы, такими же ступенями-шлюзами спускается к Выгозеру. Падун в будущем не будет больше шуметь, и даже трудно будет узнать то место, где он когда-то шумел. В обход падуна сделана шлюзовая ступень, и кораблик спокойно спускается в озеро Воицкое, куда когда-то сверху Выг летел вниз падуном.

Когда вся мысль эта была заключена тонким стальным пером на белой бумаге и проект утвержден, имеющий власть над природой произнес свой новый приказ:

— Бросить всех людей на скалу!

XVIII. ВСЕ НА СКАЛУ!

Двинулись массы людей на скалу, но лес нужен был на все время стройки канала, и специально лесные работники при общем приказе, конечно, остались на местах. Куприяныч по-прежнему спокойно, не делая никаких лишних усилий, работал и только изредка поглядывал на фаланги проходящих с песнями и знаменами каналоармейцев: они шли на войну со скалой — Куприяныч оставался в тылу.

Из всех прежних друзей своих и покровителей у Зуйка оставался только один Куприяныч. Конечно, Зуек делал вид, что ему все равно, а сам потихоньку всползал на дерево и оттуда из-за веток глядел и глядел на идущих под музыку со знаменами. Люди шли на скалу, как на войну, только в этой войне не было плачущих женщин.

Будь бы все по-прежнему, оставайся Зуек на месте курьера, каким бы героем шел он теперь впереди всех

фаланг и как бы за ним гремела музыка и колыхались знамена! А теперь кто он? Не простой деревенский мальчишка, не школьник, не пионер, и даже не урка из барака, называемого *конюшней*. После той встречи в бараке с урками они почему-то стали ему еще дальше, чем прежде. Теперь, когда они знают,— его легавые выгнали, от него потребуют стать таким же, как они сами. Но он не хочет ни за что обижать человека и грабить шкатулочку для своих же воров. Нет, он не с ними, и это они ему не простят. «Змеюга!» — сказал ему Сутулов. И с тех пор он чувствовал, будто в самом деле в нем поселилась змея, ползла и шипела. Больно ему было и страшно встречаться с людьми, с теми, кто просто и вольно идет на работу. Ему захотелось, как настоящей змее, скрыться где-нибудь от всякого глаза, но невыносимо тяжело ему было оставаться в потемках, и так он все полз и полз змеей тихонько по дереву вверх и сквозь густые ветви глядел туда, где трубы гремели и где все шли на войну.

Это большое дерево, срезанное, упало на другие поваленные деревья и вершиной своей, где спрятался Зуек, поднималось довольно высоко. Куприяныч мало-помалу дошел до этого дерева и, принимаясь за него, сказал:

— Спускайся, пацан!

Пока Зуек на четвереньках, головой вниз, спускался, ему пришла в голову одна странная мысль, и, приблизившись к Куприянычу, он поднял голову и спросил его:

— Скажи, Куприяныч, откуда взялась эта сила такая,— скажет: «Все на скалу!» — и все, гляди вон, как идут. А мы с тобой скажем — и нас никто не послушает.

— Нас, конечно, не послушаются,— ответил Куприяныч и воткнул топор в дерево.— А на что тебе нужно это, чтобы тебя все слушались? Раз уже тебе дали по уху — хочешь по-другому?

— Хочу,— ответил задорно Зуек.

— Ничего тут хорошего нет,— продолжал Куприяныч.— Живи сам по себе, и будет с тебя: вышло и вышло, а не вышло, так дышло.

— Дышло, говоришь? Нет, ты скажи мне, откуда взялась эта сила?

— Смотри, пацан,— отклонился от вопроса Куприяныч,— лучше слезай скорей с дерева, а то упадешь — еще брюхо напорешь. Вот тебе и выйдет дышло.

Зуек слез, но не отстал. В голове его непрерывным потоком носились разные вопросы.

— Вот ветер,— спрашивает он,— это сила?

— Конечно, сила: вертит мельницу, валит деревья.

— И огонь и вода — все это сила? А что это: один приказал — и все пошли на скалу?

— Уй ли! — воскликнул Куприяныч.

И глаза его, как у ежа, скрылись под щетиной. Щеки раздулись, красный язык он забыл на губе. Зуек уже знал, к чему это все у него.

— Знаю, знаю,— сказал он.— Ты сейчас опять начнешь говорить о лесах, а вот уже одну весну пропустили. Я вот погляжу немного и, может быть, сам уйду один без тебя.

— Куда же теперь в зиму идти: вот придет последняя наша весна — и я тебе верно говорю: мы уйдем.

— Я тебя не это спрашиваю.

Куприяныч сделал плутовскую рожу и с таинственным видом указал на телеграфные столбы.

Зуек поглядел туда, прислушался: телеграфные столбы сильно гудели и наполняли все близкое пространство необыкновенными звуками.

— Вот сила,— сказал Куприяныч.— Спрашиваешь, какая она: вот она бежит по столбам, по проволоке.

Зуек вдруг понял и подивился, как он раньше сам не мог о том догадаться. Конечно же, приказ имеющего власть бежит по проволоке, и она гудит — это сила бежит.

Он приложил ухо к столбу и, конечно, услыхал бегущий приказ: «Все на скалу!» Так Зуек догадался. А неподалеку от него из леса, привлекаемый гулом телеграфных столбов, вышел молодой любопытный медведь, осторожно подкрался на гул, стал на задние лапы, обнял гудящий столб.

Некоторое время медведь был доволен гулом столба, но были и еще какие-то лучшие звуки где-то. Может быть, это там, у другого столба? Медведь обнимает другой телеграфный столб, третий, четвертый, и все не то и не то. Только на пятом столбу медведь понял,— ему надо подняться выше телеграфных столбов. И он выбрал себе высокое дерево и осторожно стал подниматься вверх с сучка на сучок.

А Зуйку не надо было и подниматься. Слушая гул

телеграфного столба с приказом: «Все на скалу!», своими глазами он видел, как все идут сейчас бригадами, группами, фалангами, трудколлективами.

Бывшие городские воры несут на своих плечах длинные рычаги для подъема валунов.

Рецидивисты, лепарды, волчатники, шакалы и медвежатники несут заступы и доски для трапов.

И кажется покинутому мальчику, до чего же им, должно быть, хорошо всем вместе идти на общее дело, как они счастливы, какая это добрая сила соединяет всех их в одного человека.

С музыкой приходят бригады, со знаменами, с песнями. Как они счастливы!

И покинутый мальчик, глупенький, перебегает от одного телеграфного столба к другому, прикладывает к каждому ухо и слышит одни и те же слова одного и того же приказа, соединяющего столь разных людей воедино на борьбу со скалой.

На высокую, стройную осину молодой любопытный медведь не за медом взобрался, ему тоже понравилась музыка, человеческий марш, побуждающий идти в единстве всех все вперед и вперед.

XIX. ВОЙНА

Была особенная карельская тихость в природе и сырость в воздухе, такая густая, что пахло сырыми раками, и даже казалось, что времена человеческие тут еще не начинались и что это не сучья гиблого леса торчат, показываясь из-за скалы, а рачьи клешни растопырились.

Что это? Мир только что начинается, или, может быть, он в безлюдье своем так одичал?

Вон под горой вода, и от берега вверх поднимается дерево, и верхушка этого дерева цепляется за воду на горе, а с того верхнего озера тоже поднимается дерево и расплывается в тумане.

В эту природу пришел человек, имеющий власть, и приказал.

— Слушаю! — ответил другой человек.

И взял на себя великий труд расставить реки, озера, скалы в новый порядок, какого не бывало в природе. И каждого рабочего поставить на свое место, где ему

было бы способнее работать и он мог бы больше принести пользы общему делу.

Тогда вся природа со всем поглощенным ею древним человеком стала против новой деятельности нового человека, и началась война у природы за свой вечный покой, и у человека за свое лучшее будущее.

XX. КОНЮШНЯ

Вначале война с природой не казалась такой тяжелой и страшной, как война между людьми. Ледник в далекие времена так измельчил скалу, что людям можно было даже просто руками выбирать валуны. Но строители канала с самого начала понимали, с каким сопротивлением придется им встретиться, и с самого начала знали — это будет война. И людей организовали в боевые части, и рабочие стали называться каналоармейцами.

Вся эта первая скала была разборная. Вынимая камень за камнем, каналоармейцы углублялись в землю и выкладывали валуны на края котлована. В уродливой впадине было полно людей. Там они бродили, спотыкались и по двое, по трое старались приподнять какой-нибудь тяжелый камень. Тогда природа выступала против людей этих силой тяжести: она тянула камень вниз, стремясь вырвать его из рук людей, обломать им ноги и утвердить камень свой на прежнее место. Люди, напротив, стремились камень поднять, и не только доверху, а даже отнести его несколько в сторону.

Случалось, и двое, и трое, и пятеро, и еще больше, собравшись, не могли одолеть эту силу тяжести. Тогда непременно кто-нибудь бросал работу и говорил:

— Деточки, ша!

Каналоармейцы закуривали, глядели вопросительно на отказчика, а он уговаривал:

— Ша, деточки! Пусть за нас медведь работает.

И в ответ ему какой-нибудь имеющий вид интеллигента раскланивался и говорил:

— Имею честь кланяться!

Отказчики, дезертиры один за другим уходили с фронта борьбы человека с природой в свой тыл, прозванный у каналоармейцев конюшней.

Там, в этой конюшне, отказчики собирались особой группой между двумя слоями людей косных, местных землевладельцев и рыбаков, подчиненных природе, и людей, подчиненных приказу человека, имеющего власть над этой природой.

В конюшне людям нечего было взять и у природы, и начальство давало им жалкие пайки в расчете, что они одумаются, возьмутся за дело и оправдают эти пайки. Им оставалось только грабить друг друга, отдавая свое время и волю картам. Конюшня была местом, где «ночью пляшут и поют, а утром плачут и встают». Конюшня была местом дальнейшего разграбления человека, где один обломок его на глазах другого, обыгранного, съедал его голодный паек, а голодный, щелкая зубами, надеялся только на то, что отыграется и отнимет у счастливого его будущий день.

Но и тут, в этой конюшне, был один крепкий и живой старичок, в карты он не играл, паек получал по первой категории и мог бы жить и в самом хорошем и чистом бараке, а жил тут и отсюда уходить не хотел. И постоянной поговоркой повторял о своих товарищах по конюшне:

— Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!

Хулиганчикам эти слова вроде как бы нравились, старика никто из них не обижал, хотя он первым везде работал на трассе. И тоже он постоянно был в переговорах и делах с начальством, а никто хорошего человека никогда не попрекнул в конюшне за легавых... Все знали,— он с ними водился не для себя.

И все тоже знали, что был он когда-то очень богатым человеком, и, бывало, не раз кто-нибудь от нечего делать в конюшне возьмется позубоскалить и поддразнить старика.

— Дедушка, где твои миллионы?

— Со мной,— отвечает бывший миллионер.

— Где же они с тобой?

— На замочке.

И примется смеяться добродушно, повторяя свое постоянное:

— Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!

И весело рассказывает не то притчу, не то сказку

о том, что вот если бы только ум теперешний да назад обернуть его, когда был богат и славен...

— Вот бы жил! — со смехом говорит он.— Я бы эту славу свою теперь бы на замок, а сам бы жил и жил, как теперь с вами.

— Так зачем же было тогда ее достигать? — спрашивает человек из конюшни.

— Достигать, дружок, нужно, чтобы она не манила, не дразнила, не разлучала нас между собою. Поймать — а потом ее на замочек, сиди, мол, чтобы новым, молодым, не повадно было! А ты спрашиваешь, где мои миллиончики? Все, сынок, у меня на замочке. Эх, вы, милые мои хулиганчики!

Улыбнуться лицом, иссеченным морщинами, Волков уже и не мог. Никто бы и не понял этой улыбки. Но глаза его светлели, и по ним бездельники понимали, устал старик на работе. Лечь ему, отдохнуть хочется. И отставали.

Начиналась обыкновенная страшная ночь, но мысль все равно и этой ночью питалась, как и самым чудесным днем. Это бывает, когда у человека, усталого от большого дневного труда, голова лежит на подушке. При дьявольских криках и ударах человек о чем-то подумает и опять заснет, и опять пробудится, и опять подумает, а утром опомнится, и ему чудится, будто всю ночь в его голову стучалась какая-то мысль. Потом на работе весь день нет-нет да и явится чувство этой мысли — пробует человек что-то вспомнить и никак не может, а знает: мысль эта живет в себе. А вот уже на ночь, когда снял сапоги, развесил подсушить сырые портянки, и подошел досужий человек и хотел подразнить его миллионами, вдруг все вспомнилось: мысль эта была о том, что ни в рубле, ни в славе вечности нет, что пусть и нужно было этого достигать, пусть без этого не обойдешься, но что, достигнув, все надо запереть и жить, как будто ничего этого не было.

Вот она теперь, эта мысль, у Волкова как бы вышла на волю из сердца, и поднялась в голову, и оттуда сошла на язык, и пошла, и пошла, как человек, все вперед и вперед.

Человек ставит ногу вперед с этой мыслью о лучшем, и этот шаг вперед тащит другую ногу из прошлого. И так мысль поднимает прошлое, и оно тоже выходит вперед

и этим спасается, и впереди всего идет мысль о лучшем: и все вперед и вперед.

В этой мысли о лучшем — вся вечность, а в рубле вечности нет.

Так беспокойная мысль точила человека, пока не нашла себе выход. Теперь человек, оставленный ею, спит, не обращая больше внимания на драку и ругательства возле него.

Конюшне, конечно, одно утешение думать, что она является жертвой торжествующей неправды легавых и что не канал — цель легавых, а ненависть к свободному, как они, человеку. И оттого они в свое оправдание думали и постоянно о том говорили: никакого канала не будет, и при первой хорошей весенней воде все затеи легавых унесутся вместе с туманом в Белое море.

А между тем котлован и углублялся, и в длину рос, и стал получать вид канала. Разборная скала как будто нарочно так была подготовлена, чтобы люди ее разбирали прямо руками. Чуть какая-нибудь заминка случится с огромным валуном — тут всегда появляется сухорукий старик с иссеченным морщинами лицом, обдуманно наметится, направит людей:

— Взяли, товарищи!

— Взяли! — ответят ему хором.

И потные люди, скинув даже рубашки, выставляют валун на тачку и прямо на край котлована. После того, бывало, потные люди, не надевая еще и рубашек, садятся рядом покурить, как садятся дружно воробьи тесно рядом на жердочке, и тогда нехорошо делается одинокому из конюшни, если он случайно увидит их вместе. Он увидит людей достаточно сильных, чтобы не чувствовать утраты этой силы при работе, людей достаточно богатых душой, чтобы не искать каждому отдельно для себя особой награды и сейчас при перекуре просто счастливых своим единством и победой над камнем.

Но и сухорукий старик, имеющий возможность работать только усилием мысли, в том же самом ряду сидит с тем же счастливым чувством победы, и как будто он даже счастливее всех. Им-то всем душевный покой давался как бы даром самой природой, но Волков на

старости лет впервые только узнал это счастье и непрерывно все расцветал и расцветал изнутри.

Так было однажды, он куда-то исчез и вернулся с большой плетеной сеткой в руке, и за ним несли веревки. Этой сеткой был охвачен валун, наверху на краю котлована был установлен ворот, и камень в сетке воротом легко был поднят наверх. Но в этих выдумках Волков был не один. Он внизу тут вместе с рабочими догадывался и своей догадкой втягивался в общее дело. А наверху начальник узла Сутулов неустанно следил за работой, беспрерывно решая задачи борьбы и победы. Как только ворот был установлен на краю котлована, он уже мысленно заменял людей лошадьми, а на другой день десятки сеток охватывали валуны и десятки воротов вертели лошади. И тут же десятки инженеров работали над моделью местного деревянного деррика.

Проходит немного времени, одна догадка, складываясь с другой, навертывает на себя новые, как горсть снега в оттепель, катясь со скалы, образует огромную снежную лавину — огромной силы техническую мысль, и на берегу котлована вместо лошадей становится механическое чудовище, исполняющее волю человека, имеющего власть над природой. Теперь как царь природы стоит этот скромный, с виду самый обыкновенный человек, Сутулов, и по его приказу механические чудовища медленно поворачиваются основанием тулова, покряхтывают, звенят цепями, выворачивают своими железными пальцами из вековых гнезд валуны и осторожно складывают их на вагонетки.

Мало-помалу канал обрастает мостиками, с упором в подъездные пути, по мостикам и трапам неустанно снуют каналоармейцы с тачками, внизу люди бьют молотками, сверлят и бурят. По дну котлована с обыкновенным свистом своим катит паровозик и тащит за собою платформу с камнями. Электрические моторы выхлебывают воду из деревянных сот. И только изредка услышишь стук конских копыт по дну канала, а еще реже вырвется голос отдельного человека. Так делались стенки канала все выше, от мороза покрывались сосульками, в оттепель сосульки блестели и капали, и так оно было везде, во всех узлах строительства от Повенца и до Белого моря.

XXI. ЭТО НЕ ВАЖНО

Когда Волков на мгновение проснулся от какого-то дикого крика в конюшне, ему вспомнилась большая древняя сеча, когда русские, усеяв поле своими телами, мало-помалу начали уступать и еще бы немного — татары взяли бы верх и погнали. Но князь Дмитрий был хранителем русской мысли в этой войне и, когда пришла последняя решающая минута, выпустил на татар укрытую в запасе конницу, и эта ничтожная в сравнении со всей русской силой конница решила дело народной победы, и вся татарская рать побежала. Вспомнив эту битву, Волков подумал о своей конюшне, и ему представилось, как бывает так чудно представляется, когда все тело лежит неподвижно, а голова и тут не остается без постоянной своей работы: представилось, будто конюшня в борьбе с природой и есть та запасная конница древней битвы.

Мало того: ему представилось — люди в конюшне не просто пешие люди, а все они конные и что у каждого есть свой особенный конек и оттого-то они не хотят спешиться и работать простыми людьми на канале. На секунду опомнившись, Волков зевнул, по старой привычке перекрестил себе рот и, засыпая, прошептал: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!»

Сон Волкова о коннице вышел в руку: русская великая рать сейчас на канале боролась, только не с татарами, а с природой, и, пока скала была разборная,— вся борьба была на стороне человека. Чудовищные деррики мерно опускали свои клювы и поднимали их, переполненные добычей. Гигантские зеленые тыквы диабаза доставлялись наверх в открытых ящиках. По параллельным тропам скатывались вниз пустые тачки. Но как-то случилось вдруг неожиданно, разборная скала кончилась, и на прямой путь человеческого канала природа выставила сплошную скалу первозданной породы.

Разборная скала была скалой, растертой ледником. Но эту сплошную скалу ледник не мог в свое время растереть и сам от нее отвернулся в сторону. Красная же прямая линия человеческого плана шла прямо на сплошную скалу. И чего не мог сделать скандинавский ледник, то должно быть сделано человеком.

Вот тогда-то Волкову и вспомнился его сон: великая

русская рать дрогнула, и даже привычные к трудной земляной работе смоленские грабари начали склоняться к тому, что канал — это придумка, это предлог, чтобы замучить и покончить с человеком свободным...

— Канал — это фикция,— сказал маленький худой человечек с большим лбом, розовым лицом и синими жилками.

— Ты прав, Бацилла,— ответил Слива, человек огромного роста, с большим красным носом, похожим на сливу. И оба направились в конюшню, а затем, конечно, усомнились и другие, до сих пор трудолюбивые воры. И смоленские грабари, перекуривая, все чаще и чаще поглядывали в их сторону.

Теперь в борьбе со скалой нужна была от людей великая подрывная работа, нужны были смелые, отчаянные люди, умеющие играть со смертью так же наивно и просто, как играет иногда дворовый кутенок с хвостом лошади, подкованной железом: один удар железной ноги — и кутенок как тряпка полетит с разбитой головкой. Но кутенок несмышленый, а человек все понимает и все-таки не боится железной ноги смертоносной кобылы.

Вот тут Сутулову вспомнилась конюшня, и одновременно Волков подумал тоже, что у этих людей, у каждого, есть свой конек и что если каждого посадить на своего конька, то, может быть, как раз и выйдет из этого та самая конница, решившая победу в древней великой битве русских людей.

— Ты как думаешь об этом? — спросил Сутулов с глазу на глаз старика.

Он спросил его, как начальник, на «ты».

И бывший миллионер понял это как надо и ответил на «вы», что у каждого в конюшне есть свой конек и каждого надо посадить на своего конька и дать ему «силу воли».

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, они так понимают и так называют то самое, чего каждому хочется, и вы так понимаете: сила воли.

— Понимаю, посадить посадим и волю дадим, а куда же они поскачут?

— Куда надо, туда и поскачут.

—И кто их выведет из конюшни?— Волков опустил

глаза. Сутулов проницательно поглядел на него и спросил:

— Ты?

— Прикажите! — ответил Волков.

— Хорошо,— сказал Сутулов,— выведи.

И потряс ему руку.

— Слушаю,— сказал Волков.

И так в этот раз окончился на трассе рабочий день.

Приготовляясь на своем месте ко сну, Волков развертывал сырые портянки и так про себя думал: «Сделать канал — это значит поймать силу воды и заставить работать ее на человека. Вода это правильно делает,— размышлял Волков,— что сопротивляется: заключенная вода — это раб человека. Но вот если взять ветер, как он вертит мельницу и, упираясь в крыло, облетает его и остается свободным. Ветер... а мысль человека куда свободнее ветра, и нет такой работы, нет такого заключения, где, если бы захотел человек, свободная мысль не помогла ему и не полетела бы дальше, любя человека, все дальше и дальше».

Так понимал в заключении радость о свободной мысли человек, расставшийся со своими богатствами.

— Ты, дедушка, что такой нынче веселый сидишь? — спросил Волкова Вася Веселкин.

— Вспомнил, сыночек, свое прежнее и теперь радуюсь свободе своей. Как миллионы раньше мучили. Вот сейчас я кланяюсь им, спрашиваю: кого они теперь мучить летят? И о тебе тоже думаю, какой ты молодой и хороший, и все у тебя впереди.

— Я хороший? — сказал Вася удивленно.

И на минуточку как бы замер в своем удивлении, а потом вдруг принялся хохотать, как будто дедушка сильно его рассмешил. Умный Вася, конечно, понимал, что дедушка не просто это сказал, а что была у него какая-то тайная мысль. Но понять ее он не мог и стал закрываться смехом искренним о том, что он, бывший замочный вор, был хорошим.

— Чего ты? — остановил его дед.

— Как чего? Ты говоришь — я хороший! — и опять хохотать.

— Нет, Вася, ты не смейся, у меня есть одна мысля.

Вася сразу стал серьезен. Он же был умный белокурый русский паренек и хорошо понимал, что за смешным словом была у дедушки мысль.

— Мыслю свою,— сказал Волков,— я тебе не скажу: тебе ее все равно не понять. Молод! А помысел тебе свой я открою. Хочу тебя из этой конюшни вывести.

— Пошто вывести? — спросил Вася.

— На хорошее дело.

Услыхав слово о хорошем, Вася опять принялся смеяться.

— Будет тебе,— сказал дед.— Я истинную правду говорю. Есть хорошее дело. Опасное. Жизнь поставишь на карту, а не краденый паек. Идем с тобой в подрывную бригаду. Я бригадиром и сигнальщиком, а ты запальщиком. Опасное дело.

— А сапоги дадут?— спросил Вася живо.

— Уговорился я с ними: сапоги дадут, штаны, телогрейку, повышенный паек и в новый барак, и чтобы выйти вон из конюшни.

— Что ты говоришь?— недоверчиво сказал Вася.

— Я тебе говорю. Ты мне не доверяешь?

Вася ничего не отвечал. Он выкладывал в голове свой расчет, как мостовую из кирпичей, но сапоги, одежда, паек не укладывались в расчет, и оставалось только решить так, что легавые придумали какую-то новую ловушку.

— Опасное дело,— подсказал Волков.— Никто не хочет жизнью своей рисковать.

И как только сказано было, что надо жизнью своей рисковать, Вася вдруг понял все и живо сказал:

— Я тебе доверяю.

— То-то,— спокойно ответил Волков.— Ступай потолкуй со своими ворами. Может быть, какие тоже доверят.

— Тебе доверят многие,— ответил Вася.— А баб тоже брать будем?

— Отчего же не брать. А есть такие?

— А как же! Есть Анютка Вырви Глаз, умная девка, на все пойдет, если выгодно. Ей надо будет чего-нибудь еще посулить. Есть спекулянтка, смешная, зовут ее Шаша-Маша,— пришепетывает. Каждому угодить хочет за счет другого: кому угодит — тот не благодарит, так, мол, и надо, а за счет кого угодит — тот ее бьет: всегда битая ходит. Лечит от всех болезней, за всех молится

и опять то же: кому поможет — не благодарит: так и надо, а кому не поможет ни бог, ни лекарство — тот бьет. Битая баба: скажи ей доброе слово — и она тебе полезет в огонь. Тощая-тощая!— И, представив проворными руками и подвижным лицом, какая такая битая Маша, Вася залился открытым, ребяческим, неудержимым смехом, и морщины на лице Волкова дрогнули и зашевелились паучиными лапками, и по глазам стало понятно, что дедушка тоже смеется.

— Еще, пожалуй, Балабоха пойдет,— продолжал Вася, отсмеявшись.— Кацапик, наверно, пойдет. Поговорю с Иваном Дешевым... Наберу людей, только не подведи!

— Я-то не подведу, а вот ты рассчитывай, чтобы не подвести. Получат сапоги и проиграют, а без сапог на подрывные работы в камни нельзя.

— Не подведут. Только сразу всем сапоги, одежду в руки доверь, оглуши их доверием и выводи вон из конюшни.

— Это правда, Вася, ты это очень неглупо сказал, чтобы оглушить человека доверием: этим нашего брата, заключенного, скорее удержишь, чем решеткой с железными прутьями. Пожалуй, я тебе теперь и свою мысль открою...

— Мысль?— робея и немного бледнея, повторил Вася.

— Да ты не бойся, глупенький, тут ничего нет такого, я только думал сегодня, что сделать канал — это значит поймать силу воды и заставить ее работать на человека, и что вода спешит бежать и не хочет в рабство попасть к человеку. Но все равно ее человек одолеет, и канал сделают.

— Сделают?— спросил Вася.— А некоторые говорят, будто это для нас выдумали, чтобы замучить и кончить с ворами.

— Ну вот, говорят! Как это можно кончить с ворами! Канал сделают, и хорошее это дело.

Услыхав «хорошее», Вася в этот раз не смеялся, он понял, что над хорошим делом смеяться не надо, но по привычке только собрались и разбились у него возле губ мельчайшие морщинки, как паутинки, и глаза, большие, серые, как будто сели на корточки, чтобы сделать прыжок на смех, если и это хорошее тоже провалится.

Волков хорошо заметил перемену лица у Васи при словах «хорошее дело» и успокоил его:

— Нет, Вася, я не хочу кормить тебя пряниками. Но только и нас это дело сейчас касается: воду заключить надо, вода на человека работать должна. А вот я думаю, как ветер мельницу вертит? Упирается в крылья и облетает. Так и мыслю человеческую нельзя заключить: она еще сильнее и свободнее ветра. Были у меня деньги и временно боролись, чтобы заключить мыслю мою, а теперь, в заключении государственном, оглянусь на себя прежнего — и какое раздолье! Так и сейчас мы пойдем на опасное дело, жизнью рискнем, я не боюсь. Ну, а как ты думаешь об этом, если что?..

— Это не важно,— подал голос Вася.

— Вот и все! Вот и вся моя мысля, Вася, мой дорогой: будут люди жить и после нас: помирать собирайся — рожь сей.

— Мы тебе доверяем,— ответил Вася.

И пошел других рискачей подговаривать, повторяя всем, что сапоги будут прямо на руки и что всем надо *на рыск*.

XXII. СТАЛЬНОЕ ПЕРЫШКО

Ледник так и не мог раздавить эту скалу из сплошных первозданных пород, он даже не мог отодвинуть ее со своего пути и — нечего делать!— сам повернул. А человек, имеющий власть над природой, не побоялся сплошной скалы и своими тонкими пальцами стальным перышком на плане провел через эти скалы прямую черту. Смешной Зуек, охваченный непосильными мыслями, бегает от одного телеграфного столба к другому в надежде услыхать бегущий по проволоке приказ. Ему бы лучше в конюшню прийти и послушать сердце Васи Веселкина, уже принявшего в себя великий приказ. Васино сердце бьется неустанно, отжимая из крови в голову мысль о том, что не напрасно мы на свете живем, есть какое-то великое дело у людей на земле, и если оно коснулось себя, то беречь себя незачем: я иду!

Сапоги, паек, а главное — доверие вывели многих людей из конюшни, и некоторым было это, как Васе, толчком: под предлогом хорошей награды нестыдно взяться за дело, а может быть, удастся и себя самого показать.

Рудольф, конечно, только за этим и пошел на рискованное дело, чтобы себя показать. На Васю он смотрел, как на лопату, но хорошо понимал — без лопаты работать нельзя, и, соображая, что немало таких, как Вася, выслушал его без насмешки и тоже обещался идти.

Этот слух о том, что конюшня пошла на скалу, проник даже и туда, где таился Зуек, и он видел из-за ветвей дерева, как шли подрывники с перфораторами, аммоналом, запальными свечами.

— Слышишь,— сказал он Куприянычу,— идут и свистят.

— На смерть идут,— ответил Куприяныч,— народ отчаянный, чего бы им не свистеть. Это война!

Ох, как все закричало в душе Зуйка, когда он услыхал, что люди со свистом на смерть идут, на войну!

— Со свистом, говоришь?— спросил он.

— Со свистом: им теперь все нипочем. Им весело.

— А почему же со свистом?

— Терять нечего — оттого и свистят.

Сердце Зуйка так билось, охваченное возможностью счастья! Броситься бы, стать в эти ряды, забыть бы свой позор и отдаться великому делу. Мгновениями он даже решался, но в другое мгновение его охватывал страх от стыда, что когда он выскочит и все увидят его, какой он, то, наверное, засмеют.

— Да, наверно, засмеют,— решил он и опять глядел с завистью из-за ветвей, как люди все вместе дружно идут на смерть и свистят.

Вот все прошли, и Зуек остался опять в своей щелке один. И начались на трассе серые и желтые дни без ночей. Серые дни обычной карельской зимней погоды и желтые дни электрического ночного освещения. Серыми и желтыми днями непрерывно, как в лихорадке, сверлят перфораторы первозданную породу скалы, и всюду от них летит белая мучнистая пыль. В скале высверливается дырочка, и в нее закладывается деревянная втулка. Приходят к этим втулкам подрывники, вынимают, открывают дырочку, начиняют ее аммоналовым фаршем. Скала мало-помалу обрастает сначала деревянной щетиной втулок, а потом эта щетина заменяется хвостиками запальных шнуров. От бригады к бригаде переходит начальник подрывных бригад — дедушка Волков.

— Готовы?— спрашивает он бригадира.

— Готовы, Семеныч,— отвечал ему бригадир.

Если же еще не готово, начальник сам помогает и все проверяет. И так мало-помалу он поднимается все выше и выше на скалу и занимает видное место, следит оттуда за ходом работ, а сигнальщики с красными флагами внизу ждут его приказания.

Томительное ожидание было оборвано резким свистком начальника подрывной бригады.

Волков просвистел и поднял свою кепку, как флаг. Все движение по свистку остановилось. Деррики опустили свои гигантские клювы, замерли в воздухе зеленые тыквы диабаза, поднятые вверх над кавальерами. Грабарки, вагонетки, люди скопились в бездействии у заградительных постов.

Второй раз просвистел дедушка — и опять махнул своей кепкой. Тогда каждый запальщик зажег свой запальный шнур и поджег свою бурку.

Согнувшись, склонив головы почти до самой земли, перебегали запальщики, оставляя после себя на скале запальный огонь. А дедушка там наверху, на скале, зажег свой контрольный запальный шнур, и все внизу из-за своих камней, канав и печурок с замиранием сердца глядят и следят по горящему контрольному шнуру за приближением взрыва. Всегда кажется в ожидании взрыва — он ахнет резко, весь сразу и все потрясет. Но он приходит мягко и нестрашно:

— Ах!

И как будто этому «ах!» из недр земных ответил человеческий крик. Или это так показалось? И кто слышал, сам подумал про себя: уж не я ли сам это крикнул?

А уж после того, разрастаясь, охватывая гулом все вокруг, загремело, и скала дрогнула.

Полетели камни, как птицы, понеслись смертоносные обломки скалы, поющие в воздухе свои предупреждающие песни. Встал дым высокими, подпирающими серое небо черными колоннами. Но что же это было, в самом деле послышался, как бы в ответ на подземное «ах!», человеческий крик? «Сам ли я крикнул?»— каждый думал про себя. Но вот и другой слышал, и третий, и все спрашивают об этом, значит был действительно, где-то был человеческий крик.

— Жив ли Иван Дешевый?

— Вон Дешевый стоит!

— А Колька Седой,— его что-то не видать?

— Здеся Колька!

— Анютка Вырви Глаз?

— Здеся и Анютка.

Все целы.

— А где же Вася Веселкин?

И побежало от бригады к бригаде: «Где Вася Веселкин?» Кричат, зовут Васю Веселкина наверху, внизу, на той скале и на другой. Уже находятся такие, кто с завистью подумывает о побеге Васи, и уже просится злая мысль на язык и хочется только встретить первого, кому бы сказать: «Какой Васька-то молодец, всех вовлек в это дело, а сам под шумок убежал!»

Но вот крик раздался:

— Вот он, тут он, идите, идите скорее сюда!

И все побежали, и все увидали.

Подняв руки вверх с зажатыми кулаками, как будто он за что-то ухватился и хочет подняться вверх, лежит на камнях с разбитой головой Вася Веселкин.

Веселый был Вася!

И все, кто бы ни прибегал сюда, останавливались, и всем это приходило в голову:

«Какой веселый был паренек, и за что он погиб?»

Вторая мысль была о том, что кто-нибудь виноват и что надо как можно скорее найти виновника и отвести себе душу. Никто не мог сразу, не приняв своих мер, примириться с мыслью о необходимости во всяком деле большом несчастного случая. Все молчали. И наконец последним спустился с горы и увидел Васю дедушка Волков, начальник подрывной команды.

— Ты куда же смотрел?— спросил его кто-то из толпы.

И сразу заревела вся толпа, как один человек, повторяя:

— Куда же ты смотрел, старый кобель?

И кто-то первый поднял камень, соединяя в злобе своей, как вину, все хорошее, что было в старике: и что стар он — это теперь как негодность, и что умен — это как хитрость, и что бескорыстно служил делу — это как легавая угодливость начальству.

— Найдем на твою шею пять пальцев!

— Поломать старого кобеля!— приказал первый судья, поднимая свой камень.

— Поломать, поломать!— заревела толпа.

Но как раз тут и сам начальник узла Сутулов спустился со своего наблюдательного места и одним движением руки остановил самосуд.

Ему доложили:

— Веселкина убило. Какая это работа! Хотим поломать старого кобеля.

— Работа нелегкая,— спокойно ответил Сутулов.— Вася был достойный каналоармеец, и Волкова вы все знаете: чем он плох? Если кто лучше его может — брось в него камень первый и становись на его место.

Все молчали. Но вышел маленький Бацилла и указал на скалу:

— Какая это работа!

Скала стояла, ощипанная взрывом, но такая же увесистая и сплошная, как и когда ее вот так же пробовал сдвинуть ледник. Не сдвигал, а только царапал.

А дедушка Волков все мимо ушей пропустил и даже, что его хотят поломать. Он сразу же поглядел на Васю и понял: конец. Перевел глаза на скалу и, как только Сутулов пришел и все обратились к нему, незаметно для всех удалился к месту взрыва, все ниже и ниже спускался и копался там, перебрасывая камни, и совсем исчез наконец в скале, как будто он был горным духом, проникающим в камни. Это кто-то заметил в толпе, шепнул другому с особенным выражением, и мало-помалу слушок побежал, и вся толпа уже суеверно глядела на скалу в то место, где старик в камень вошел.

Невольно и Сутулов тоже отдался влиянию толпы и оглянулся на камень, где скрылся старик, и вдруг на другой стороне скалы как будто родился Волков, и рубцы времени на лице его, как на камне, сложились в этот раз светло и весело.

Выходило так, что старик прошел сквозь скалу.

— Заземляйтесь,— сказал он, подходя к Сутулову.— Заземляйтесь скорей, к полночи вся эта скала у нас полетит.

И рассказал тут, что от взрыва открылась в самом низу глубокая пещера и что там надо сейчас скорее бурить и набивать аммоналом.

— Идите все,— приказал он,— заземляйтесь.

И получив одобрение начальника, еще приказал:

— Отнесите Васю Веселкина, положите, прикройте, а в полночь мы его похороним.

Тогда все поняли так старика, что этим делом, взрывом скалы, мы ответим на смерть Васи Веселкина, веселого хорошего легкобычного парня. И у всех душа, как бы заключенная в железную клетку, нашла себе выход: не старик виноват, а скала, и мы победим ее в эту ночь.

— Заземляйтесь, заземляйтесь,— повторял Волков, обходя бригаду за бригадой, направляя всех в подземелье.

И все шли с лопатами, с перфораторами, запальными шнурами, исчезая, как горные духи, в скале.

Вот теперь бы сюда Зуйка, поглядел бы он теперь на конюшню, на всех этих выключенных из жизни людей, как они шли мстить скале за смерть Васи. И как бы он шел теперь с ними! Не шел бы он, а летел, как все мы летим к людям, когда тоже попадаем в одиночество или тоже когда очень хорошо бывает, душа переполняется, и счастье ищет сосуда, чтобы не тратиться и даром не проливаться на землю. А если бы он мог тоже быть потом в полночь на той горе под соснами, где хоронили Васю Веселкина! Как там заиграла музыка, и запальщики под командой дедушки Волкова разом подожгли все свои шнуры. И когда гроб опустили, раздался взрыв, и скала рассыпалась вся до основания.

И то, что не мог сделать Скандинавский ледник, спускаясь с гор в долину тысячи лет, то в одно мгновение сделал светящийся разум, наметивший тонкими пальцами инженера и его стальным перышком прямую линию по этой скале.

XXIII. ДЕДУШКА И ВНУЧЕК

В Надвоицах, где строительство узла было виднее, чем где бы то ни было, еще было много местных людей, кто никак не мог верить, что падун когда-нибудь перестанет шуметь. Но зато, когда для охраны оконных стекол от сотрясающих воздух взрывов населению выдали бумагу наклеивать ее на окна тоненькими полосками в елочку, в эти бумажные елочки все поверили, и в один день окна везде разукрасились.

Глубокий канал, пробитый в сплошной скале, разделил село надвое: одна сторона была ближе к падуну, другая ближе к Выг-озеру. Дом Сергея Мироныча остался на той стороне, ближе к падуну, и можно было из окна

этого высокого дома хорошо наблюдать, как изо дня в день неуклонно к падуну приближалось русло водосброса и как там больше и больше с двух сторон большую реку перехватывала плотина.

Сергей Мироныч, теперь совсем больной и слабый, с утра до ночи сидел у окна и следил за строительством, не совсем еще понимая основную мысль строительных работ узла. Дело было в том, чтобы воду Выга по желанию можно было пустить в шлюзы и спокойно по ним спускать вниз корабли; или если воды был избыток, пускать ее через водосброс по-прежнему в падун. Так весь узел канала состоял из плотины, из шлюзов и водосброса.

Старик хорошо знал, что Зуек уже, наверно, понимает, в чем дело, но ему было совестно обратиться к помощи мальчика.

— Моей головой живете!— постоянно он повторял, и постоянно Евстолия Васильевна потакала ему:

— Твоей, твоей головой живем, батюшка!

И вот это время прошло, и он должен смириться и поклониться времени, уносящему вперед от него и его собственный ум и распоряду.

— Добьюсь, добьюсь своего,— шептал он каждое утро, занимая свой пост у окна.

Видно было с его места, как с той и с другой стороны спускали в реку ящики или корзины, нагруженные камнями, и эти *ряжи* постепенно сходились друг с другом. Тут все было понятно: когда сойдутся ряжи и последние воротца закроются, то и падун перестанет шуметь.

Старик, конечно, скрывал от людей, но в душе ему нравилась огромная техническая мысль, заложенная в это строительство, и мало того, вникая в работу, он как будто принимал в себя целебный жизненный напиток, и, кто знает, может быть, только это живое внимание сохраняло жизнь в старом, изношенном теле. Ясно было ему теперь только, что происходит на глазах: ряжи, большие ящики, нагруженные камнями, сходятся больше и больше и перехватывают мертвым поясом реку. Понятен был и канал водосброса, но работу над шлюзами на той стороне Выга нельзя было понять из окна.

Случилось однажды утром, когда Сергей Мироныч с помощью Евстолии Васильевны слез с печи и занял свое обычное место на лавке возле окна, вдруг на той стороне Выга грянул взрыв, и окна на всей стороне села, обра-

щенные туда, ходуном заходили, и в одном окне стекло вылетело и зазвенело внизу.

— А обещали,— сказала Евстолия Васильевна,— уверяли, что эта бумага в елочку удержит стекло. Послушались, клеили-клеили,— а вот теперь живи зимой без стекла!

— Не все же стекла вылетели,— ответил Сергей Мироныч,— проживи-ка сама всю жизнь без греха.

— Верно, верно, Сергей Мироныч!— покорно, с добрым духом ответила Евстолия Васильевна.— Твоей головой живем.

Милые привычные слова старого испытанного друга подняли дух старика, и вдруг в один миг какой-то его коснулась мысль всего строительства узла, и в этой догадке, конечно, и сам он утвердился в себе, в том, что не совсем ему отказалась работать его голова.

До сих пор непонятно было старику, где будут плыть корабли, когда падун будет закрыт. Мысль строительства самой плотины была проста: падун будет закрыт, и река бросится назад, и если вода Выг-озера будет угрожать плотине, то избыток воды будет брошен через канаву, разделяющую все село надвое, обратно через падун. И понятно, что тогда падун будет в руках человека: будет молчать, когда надо, и будет шуметь, когда позволит ему человек. Но где же будут плыть корабли — этого понять Сергей Мироныч не мог и не хотел по упрямству и самолюбию спросить у Зуйка. А когда раздался взрыв на той стороне, он сразу понял — там в обход падуна рвут скалу, чтобы сделать новое русло с постепенным спуском в озеро Воицкое, и что по этому руслу и пойдут потом корабли.

Старику стало после этой догадки, будто он, старый, силился долго что-то поднять и наконец поднял, и это было свое прошлое, перекинутое в будущее. Жизнь и здоровье вернулись, и теперь ему было уже вовсе не стыдно беседовать со своим внуком: теперь он все понимает.

— Зуек,— сказал он,— ты там везде бегаешь и на той стороне бываешь, не видал ли ты там, и не говорили ли тебе, как они будут спущать корабли в озеро Воицкое?

— Шлюзами, дедушка,— ответил Зуек.

И рассказал подробно о шлюзах.

Потом бросился в сарай, принес оттуда сделанные им самим макетные корабли, шлюзовые коробочки и стал

дедушке представлять на большом кухонном столе, как макетный кораблик вводят в коробочку-шлюз и плотно закрывают за ним дверь. Кораблик поднимается водой на высоту коробочки и входит в другую такую же коробочку. Тогда опять воду пускают, наливают вторую коробочку, и кораблик, поднимаясь все выше и выше по шлюзовым ступенькам, поднимается на гору совершенно так же, как поднимается человек на ногах. Семью шлюзовыми ступеньками повенчанской лестницы макетный кораблик Зуйка поднимается на водораздел и, преодолев горы, такими же ступеньками-шлюзами спускается к Выг-озеру в обход падуна, еще ниже спускается в озеро Воицкое и так все ниже и ниже, до самого Белого моря...

Две белых головы, одна — седая, старческая, другая — мальчишеская, вихрастая, склонились, тесно прижавшись друг к другу, над коробочками-шлюзами, раскинутыми по широкому столу. Детская рука уверенно ведет свой кораблик.

— Не туды, не туды!— вдруг с жаром вскидывается дедушка, и стариковская рука с набухшими синими жилками склоняется над столом, пытаясь изменить направление. Но рука маленького капитана не уступает:

— Гляди, дедушка, гляди: не так!

И вот идет ласковая борьба, и вот путаются пряди седых волос и золотых кудрей, склоненных над белым столом бабушки Евстолии Васильевны.

Совсем стало ясно в уме дедушки, положил он руку на голову Зуйку и по-детски своими голубыми глазами глядел в глаза внука, вспоминая себя самого.

И так старый Мироныч увидел себя, и еще что-то увидел, и озабоченно снял руку с головы мальчика.

— А ты,— спросил он,— отчего ты не там? Новую жизнь делают, великое государственное дело, чего же ты тут возле меня время проводишь?

— Что же делать,— ответил Зуек пасмурно,— я там не нужен...

— Как не нужен! Помогать надо, ты же курьером у них был, а чего теперь дома торчишь?

Зуек отвел глаза, уставился упрямо с обидой в окно и молчал. А дедушка все глядит и глядит на него, стараясь проникнуть в эту загадку, и все не может понять, как это можно живому мальчику при такой государственной работе дома сидеть. Дедушка так разрешил свои

сомнения: конечно, время идет, и все идет вперед, и так по-новому тоже должно быть в голове и у внука.

— А что бы это было, если бы человек не бежал вперед, как вода, а стоял бы на месте?— спросил он сам себя.

— Был бы лес,— ответил он,— дерево стоит и родит дерево, а человек бежит вперед, как вода, и родит человека.

Вдруг чего-то смутился, поглядел в окно и не нашел там больше ничего для себя: там теперь ему все стало понятно, и скучно стало глядеть, как люди работают. Мысль была найдена, догадываться больше стало не о чем. Он попросил отвести себя на печку и с тех пор больше уж с нее не спускался.

XXIV. ФИКЦИЯ

Зуек, конечно, не раз видал себя в зеркало, но это семейное зеркало было совсем неверное. Дедушка подходил к нему только в большие праздники, и то по делу, расчесать себе волосы и бороду. Так все подходили к этому зеркалу, как в природе бывает, зверь подходит к воде: зверю напиться, человеку простому постричь волосы, а не затем, чтобы увидеть себя, подумать о себе, представить себе себя самого, испугаться себя, а может быть, полюбоваться собой и сказать: «Вот это я!»

Вода в природе лежит, и в ее зеркале отражаются небо, горы, леса. И если бы даже и подошел высокий зверь к воде, чтобы напиться, и увидел бы в зеркале воды свое изображение, он не принял бы его на себя и не помыслил бы о нем, как о себе. Один человек во всей природе, вставая на ноги, поднимает против себя зеркало и говорит:

— Это я!

Никогда Зуек не заглядывал в старое зеркало, чтобы увидеть себя, и даже, увидев случайно, никогда не придавал своему изображению какого-нибудь значения, ограждающего его от других в том смысле, что это вот они, а это я, такой сам по себе, такой единственный и не похожий в чем-то на всех.

Светлым, чистым, доверчивым глазом смотрел Зуек в старое зеркало и даже не подозревал, что, глядясь в зеркало, можно думать о себе.

Так точно и лось, высокий зверь, когда протягивает губы к воде, что он видит? Видит он, как оттуда из воды

приближается такое же чудовище: корова с лошадиной губой протягивает толстую губу навстречу его собственной. Нет! Лось пьет воду и ни на что не смотрит. Зуек, как и лось, не смотрел на себя в зеркало и о всем таком думал: мало ли чего не бывает, чего не покажется,— выглянет, пройдет — и нет его.

И о том волшебном круглом зеркальце, спрятанном в печурке над падуном, он всегда думал так, что не для себя он спрятал его, как девушка: поглядеть на себя. «Это зеркальце,— думал он,— волшебное, обладает чудесной силой делать красавицу». И если он заглянет в него, то непременно увидит то самое изображение, что тогда увидела в нем управделами строительства Мария Уланова и сделала по нем из себя тут же Марью Моревну. Однажды ночью Зуек видел сны. Они мучили его и до того щемили, что Евстолия Васильевна, окликая, будила его, повторяя: «Господь с тобой!».

От этих окриков Зуек не просыпался, но стонать переставал на некоторое время. Утром после этих мучительных снов он проснулся с отчетливой мыслью о волшебном зеркальце, давно спрятанном им в печурке над падуном. И так ему теперь стало ясно — если он заглянет теперь в это волшебное зеркальце, то непременно все страхи его, все пустяки разлетятся и он будет опять такой же прежний смелый мальчик, каким был до изгнания своего с работы курьером. Эта мысль, радостная и светлая, была завершением мучительной ночи, и перед тем как снова заснуть, он по привычке прислушался к шуму падающей воды, чтобы понять в ней тот знакомый ему мерный ход человека все вперед и вперед.

Это был раньше такой четкий ход, что можно было, засыпая, даже отсчитывать. раз, два, три... и так на каком-то числе засыпать. Но теперь он этого хода не слышал. «Отчего это?»— подумал Зуек.

— Скорее всего,— ответил он себе,— все у меня в голове от моей беды спуталось, но назавтра я посмотрю в зеркальце, все это пройдет, и падун опять зашумит.

Евстолия Васильевна встала, увидела — мальчик крепко заснул, прошептала:

— Лег как-нибудь нескладно или что-нибудь лишнее скушал.

И задернула полог.

Солнце было уже высоко, а Зуек все спал. Евсто-

лия Васильевна была во дворе, мыла корове вымя перед полуденной дойкой. В доме был только спящий Зуек, да на полатях лежал умирающий дедушка.

— Зуек, Зуек, ты слышишь меня?— спросил не очень-то внятно дедушка. Зуек спал.

Дедушка замолк. И долго спустя опять позвал.

— Слышу, дедушка, слышу,— откликнулся Зуек.

— Но его я не слышу,— ответил старик.— А тебя слышу. Я думал, это я уже оглох, а нет: слышу тебя. Ну, а ты слышишь?

— Как же не слышать? Слышу тебя.

— Нет, ты не меня, а послушай падун. Мне его не слыхать. А тебе?

Зуек прислушался, вскочил, придержал пальцами уши и закричал:

— Дедушка, я тоже не слышу!

— Вот то-то я тебя и бужу: погляди-ка в окно, что там.

Зуек бросился к окну и замер: он совсем даже и забыл про дедушку. Вчера еще в готовой плотине оставались неширокие воротца, и через них устремлялся весь Выг в падун. За одну ночь эти ворота были заделаны, и сразу все изменилось.

— Ну, что же ты молчишь? Или закрыли падун?— спросил Мироныч.

— Закрыли, дедушка!— ответил Зуек.

— Что же ты там видишь?

— Вижу: плотина большая через всю реку, и от самой плотины до падуна грязь и лужицы. По грязи ходят люди с сачками и достают рыбу из лужиц.

— А что падун?

— Ничего нет. Черные камни, по ним стекают белые струйки.

— Ну вот,— сказал дедушка,— все и кончилось. И падун не шумит, и нет конца свету.

Зуек все глядел и глядел в окно, а Мироныч все думал и думал.

— Человек нарождается,— сказал он,— голова идет по свету за головой, и все, конечно, умнеет, а упрямая сестра хочет, чтобы все кончилось. Огонь, огонь! Вот погоди немного, старуха, подопрет тебя вода на твоем острове, как водяную крысу, что ты тогда запоешь? Нука, Зуек, беги туда, достань свежей рыбки.

А Зуек о другом думал, глядя на скалы, на то место, где еще так недавно тысячи тысяч всяких струек, схватываясь, сходились между собой в один падун, и казалось, кто-то великий, могучий мерным шагом ступал все вперед и вперед.

Он думал: «Куда все девалось, и где теперь то волшебное зеркальце, и цела ли печурка?»

Вот с этой мыслью он вышел из дому, чтобы потихоньку от всех, если можно, пробраться в свою печурку и спасти волшебное зеркальце.

Множество людей собралось на том месте, куда раньше, падая, била вода. Никто на мальчика не обращал никакого внимания. И он притаился за камушком, где начальник культурно-воспитательной части показывал всем — над чем столько столетий и, может быть, тысячелетий трудился водопад.

Вот оно как было: там внизу, куда падала главная сила воды, была глубокая впадина, и в нее когда-то свалился обломок скалы. Вода била в обломок, стремясь его вышибить, разбить на меленькие и, окатывая каждый осколок, круглым пригнать в недра Белого моря. Но огромный обломок первозданной породы не поддавался силе волн, он повертывался, окатывался, округлялся веками и все-таки из ямы своей не выходил.

— Глядите теперь все,— сказал начальник культурно-воспитательной части,— чем кончилась эта борьба свободной стихии воды и косной земли.

Все, окружив тесно яму, глядели вниз. Зуек тоже протиснулся между большими людьми. Там внизу лежал без движения совершенно круглый, правильной формы камень, он тысячи лет обтачивался, и вместе с ним обточилось ложе его — скала, где он вертелся.

Зуек, глядя на круглый камень внизу, теперь хорошо понимал, что этот вечный гул водопада, похожий на мерный ход великана, всего человека, и был, может быть, только оттого, что круглый камень вертелся в своей каменной чаше и мерно постукивал. Может быть, вода иногда внезапно прибывала, камень приподнимался и снова рушился вниз. А казалось, будто идущий вперед великий человек встречал на пути своем злую силу, с ней боролся, и, сбросив с себя, становился на свой верный путь, и шел опять неуклонно все вперед и вперед.

Учитель был маленький щупленький человек с тонким

лицом, как бы отделанным стальным резцом по слоновой кости. Лобик у него был в умственных выпуклинах, расписанных синими жилками, носик чуть-чуть загнутый, как клювик у копчика, с тонких губ не сходила насмешливая кривинка, и в глазах, как бы видевших уже все неприятности, сохранилось смелое признание в том смысле, что как бы там ни было, а жить все-таки можно.

Как ни был Рудольф в своем женском малиновом берете неприятен учителю, но какая-то внутренняя сила привлекала к нему маленького учителя, похожего на копчика. Он с тонкой улыбкой непрерывно глядел ему в глаза.

— А наша человеческая жизнь,— сказал он Рудольфу,— разве не находится тоже под воздействием двух этих сил? Одна сила стремится оторвать нас и бросить вперед, а другая тянет вниз. И получается...

— Фикция!..— подсказал Рудольф.

— Что вы говорите! — схватился учитель.— Глядите, вон эти камни говорят, какая же это фикция!

— Конечно, фикция,— повторил Рудольф.— Тысячелетняя работа, для того чтобы закруглить камень, и вы это на человека переводите. Фикция!

— Вот, вот,— радостно схватился копчик.— Я этого только и ждал...

До сих пор Зуек все понимал, но теперь, когда учитель чему-то обрадовался, он вдруг перестал понимать. Было почти страшно смотреть на этот мертвый падун, казалось, будто убили кого-то и вскрывают мертвое тело,— так было жутко глядеть вниз! А этот маленький копчик с таким высоким лобиком вдруг чему-то обрадовался.

— Конечно, фикция! — повторил Рудольф.

— Шах вашему королю! — воскликнул учитель.— Мертвый падун нам показывает, как бессмысленно природа расточает свои силы: тысячи лет падун вертел камень...

— А человек,— перебил Рудольф,— с испокон веков тоже ничем не лучше воды свой камень вертит.

— Это ваше личное умонастроение,— ответил учитель.— И зачем нужно вам так отвлеченно говорить. Факт налицо: падун вертел тысячи лет бесполезно камень, а у нас этот падун скоро будет вертеть электромотор, и весь край будет залит электричеством.

— Фикция! — равнодушно повторил Рудольф.— Ничего этого не будет.

И вдруг заскучавшее лицо Рудольфа осветилось, и глаза его загорелись. Зуек понял, что Рудольф оттого изменился, что заметил его. Сколько времени он его не видел и тут почему-то обрадовался.

Зуек этому тоже обрадовался, но поспешил закрыться сначала людьми, а потом потихоньку спрятался за камни и стал уходить.

XXV. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

Два незнакомых сходятся на одном пути. Старший, увидев у младшего на руках татуировку голубыми знаками, спрашивает, когда это он и по какому случаю вытравил на руках эти знаки. Охотно рассказывает младший о себе, и старший, выслушав короткую историю одной мечты, говорит:

— Так, значит, от всего только эти знаки и остались у тебя!

И показывает ему свою собственную грудь, расписанную точно такими же голубыми знаками.

Младший в свою очередь спрашивает:

— И у тебя то же самое было?

— Это у всех,— отвечает старший.

Потом дороги у них расходятся в разные стороны: старший уходит, уверенный в том, что уж младший вытравил себе эти знаки, то у него непременно повторится и его собственная жизнь. Младший уходит уверенный: ничего на свете не повторяется в точности, и пусть знаки на руках у них одинаковые, но жизнь его будет другая и, конечно, беспримерно лучшая.

Старший спутник — это Рудольф, младший — Зуек. Заметив Зуйка, Рудольф очень удивился: всего ведь в какие-то два года Зуек так возмужал и даже так постарел! Вот эта перемена в одно мгновение перенесла Рудольфа в его собственное время, когда он был таким же мальчиком, смелым, доверчивым, и как это все в один миг переменилось: он тогда испугался людей и затаился в себя.

Рудольф в один миг свою жизнь прочитал по выражению лица Зуйка. И Зуек это со страхом понял и поспешил спрятаться за людей, за камни и потихоньку уйти. Потом видел Рудольф, как Зуек вышел из-за камня

и, прячась, перебежал выше, и от камня к камню все дальше и дальше достиг высоты, откуда раньше падала вода, и там скрылся в черных камнях.

«Ему оттуда выхода нет,— подумал Рудольф.— Там у него что-то свое делается». И, рассчитав отсюда по камням весь путь Зуйка вверх, сам тем же путем стал подниматься вслед за Зуйком.

От всего трехголового великана-падуна осталась теперь какая-то изношенная черная челюсть. Не сразу даже и Зуек, стародавний хозяин своей любимой печурки, мог определиться в камнях. Время от времени ему необходимо было выглядывать и соображаться со всей местностью. И вот тут-то во время этого выглядывания внизу ловил его путь Рудольф.

Зуек поднимался по камням в свою печурку с мыслью о волшебном зеркальце. В нем отражалась Зуйку вся прекрасная природа, красавица с месяцем и звездами, как он видел ее, когда гостья из далекой земли гляделась в него и делалась все краше и краше. С тех пор он ни разу не заглянул в это зеркальце. Зачем ему было заглядывать, если и так без зеркала она всегда была с ним. Но теперь у него так было на душе, будто все это осталось в прошлом и он теперь был в другой жизни и совсем другим стал человеком. Конечно, он об этом не мог думать словами, но он все это чувствовал так, будто раньше по синему небу шли большие белые кудрявые облака, а теперь он видит на земле бегущие тени этих самых облаков и хочет в зеркальце увидеть не тени, а самое небо. Пока Зуек шел в печурку с этим чувством какой-то доброй мысли о прекрасных облаках, лицо его светилось небесным отсветом, как светится лицо поющего или играющего хотя бы на простой дудочке. Оно оставалось таким же до тех пор, пока Зуек не выкопал свое волшебное зеркальце и не заглянул в него.

...Нет, конечно, тот высокий зверь, какой-нибудь лось, когда подходит напиться к тихому зеркалу воды и склонит свою голову, он не видит, как из воды ему навстречу выходит уродливая голова коровы с лошадиными губами и как эта толстая лошадиная губа, холодная, прижимается к его теплой губе.

Человек, только один человек, вставая на свои ноги, поднял вместе с собой зеркало, и один человек, только один во всей природе, может увидеть себя самого.

Зуек хотел видеть в волшебном зеркале свою прекрасную Марью Моревну, и вдруг... как это страшно! Он увидел себя самого. Но как только он увидел себя самого и стал в себя вглядываться, все прекрасные пушинки на лице его стали серыми, синие глаза его стали водянистыми, косточки на щеках засветились, ямочки затемнились. И показалось в лице его то самое, чего с таким ужасом ожидает гадальщица, когда, бывает, в крещенские вечера долго глядится в зеркало при трех свечах, ожидая своего суженого.

Конечно, будь Зуек хоть немного попроще, он мог бы увидеть себя в зеркале, каким он был, красивым кудрявым голубоглазым мальчиком, и мог бы залюбоваться собою. Но что же дальше? Полюбовался бы сам собой, как Нарцисс, и этим бы все и кончилось. Но нет! У него был большой человеческий путь впереди, и, может быть, там впереди ему предстояло когда-нибудь увидеть в том же зеркале себя таким, каким в лучшие наши дни мы видим в природе, как в зеркале, всего цельного человека в его неустанном движении все вперед и вперед.

Чем больше Зуек глядел на себя, тем больше находил в себе что-то противное, и только-только хотел было закрыть это зеркальце и закопать его в камнях навсегда, как вдруг он что-то в нем увидел, весь задрожал, вскрикнул, зеркальце выпало из рук его, ударилось о камень и разлетелось в куски. Так гадальщица, бывало, на святках в крещенский вечер в зеркале при трех свечах встречала мертвеца вместо своего суженого. Так и Зуек, разглядывая себя самого, вдруг увидел Рудольфа.

Зуек бросился бежать из печурки. Но Рудольф загородил ему путь. И еще раз попробовал вырваться, но Рудольф спокойно обнял его одной рукой и усадил насильно рядом с собой на камень. Тогда Зуек перестал сопротивляться, закрыл лицо руками и заревел, как самый обыкновенный мальчишка.

Рудольф дал ему выплакаться, и когда Зуек наконец пришел в себя и сказал какие-то нехорошие слова, он ласково погладил его по голове.

— Садись, поговорим, я все знаю.

— Ничего ты не знаешь, ты все врешь! — ответил Зуек.

— Вот посмотрим!

Рудольф завернул рукав и показал.

— Читать умеешь? — спросил он.— Умеешь — читай. Вот нарисовано: Маша. И это уже не сотрется, это на всю жизнь. Много было всяких Маш у меня, и много будет впереди, и все пройдут, а эта останется. Тебе тоже так надо написать: Маша Уланова.

Зуек онемел и задрожал.

— Видишь,— сказал Рудольф.— Я всю твою жизнь насквозь знаю по себе. Твоя жизнь будет, как у меня. И впереди будет так. Не дрожи, не бойся меня. Я твой друг. Мы с тобой вышли на один путь, и я его хорошо знаю. Тоже когда-то я и себя увидел в зеркальце и сначала не понравился себе, а потом помирился и даже несколько времени носил его с собой, как барышня. Так и ты привыкнешь и по моей дорожке пойдешь: будешь себя самого видеть в зеркальце и себе самому будешь служить. Вот это так! Себе самому и больше никому. Не стоят они никто, чтоб им служить. Чувствуешь?

— Не пойду я по твоей дорожке, Рудольф,— ответил Зуек серьезно и примиренно.— Нет, Рудольф, я уже тебе говорил, мне одно не нравится у тебя, что нужно отнимать у кого-нибудь его любимую шкатулочку. Мне это не нравится, лучше я сам буду работать, чем отнимать для себя у людей. Но у меня есть путь: я совсем не буду работать. Мы пойдем с Куприянычем в лес.

— Что же вам там будет, в лесу?

— Ничего: мы там царствовать будем. Мы там цари.

— Сочувствую,— ответил Рудольф.

— Вот видишь,— обрадовался Зуек,— Куприяныч говорит: там не надо нам воровать и что тоже и работать не надо: там все для нас приготовлено, там нас ждут, мы там цари.

— Не отрицаю! — повторил Рудольф.

Зуек еще больше обрадовался и вдруг совершенно как раньше прежним открытым умным и со всеми дружным мальчиком вылез из своей змеиной чешуи и обратился к Рудольфу:

— Рудольф, скажи мне, что это ты там о круглом камне какое-то непонятное слово сказал?

— Какое слово?

— Мне кажется, Рудольф, ты сказал: *фикция.*

— Фикция! — засмеялся Рудольф.— А это, что легавые говорят, будто они построят канал. Врут они, ничего не будет, вот скоро, вот-вот придет весна, и вода все

разнесет. И мы тоже, скажу тебе по большому секрету, мы, может быть, тоже поможем воде: у нас есть свой уговор. Канал — это фикция, понимаешь?

— А если, Рудольф, канал — это фикция, то для чего же его строят?

— Строят канал, чтобы нас, воров, уморить. Они думают, будто если нас изведут, то и всех воров изведут и на земле будет счастье. Никогда этого не будет. Без воров не будет жизни никакой у людей. Мир без воров — это фикция.

— Рудольф! — ответил Зуек, я не понимаю, что ты говоришь. И какой мир без воров и с ворами. А если канал — это фикция, то тем лучше для нас. Значит, можно уйти нам с Куприянычем в лес.

— Сочувствую,— повторил Рудольф.— Только советую тебе перед этим тоже на руках вытравить знаки, и, если хочешь, я тебя научу.

— Согласен,— ответил радостно Зуек.— Раз канал — это фикция, то я всему такому сочувствую.

— Только есть ли у тебя хорошая финка?

— А зачем финка?

— А кто его знает, этого твоего бродягу: может быть, он и людоед и берет тебя с собою, как мясо в запас. Надо с ним поосторожнее. Нож есть?

— Есть и финка и ружье,— я возьму у дедушки.

— Ну тогда ничего. Только «Машу» я тебе на прощанье вытравлю. Приходи нынче вечером и захвати с собой три иголки и пороху.

Так сошлись на перекрестке жизни двое, и старший, увидев в младшем, как в зеркале, себя самого, каким он был когда-то, решил, что и дальше у младшего будет все, как у него. Но младший уходит, уверенный в своем новом, каком-то небывалом пути. И он прав! Многие судят жизнь по своему ничтожному опыту, как Рудольф, и ошибаются. Может быть, так и бабушка Марья Мироновна этим же путем пришла к мысли о светопреставлении и хочет навязать всем конец света.

Так уходит младший, уверенный в том, что на свете ничего в точности не повторяется, и пусть у обоих на руках вытравлена одна и та же голубая «Маша», но жизнь его будет, конечно, другая, и лучшая и настоящая, а не какая-то *фикция*.

Часть III

ВОДА

XXVI. ЖИВОЙ НАВОЛОК

Как-то раз, ближе к весне, ветер сорвал несколько темных уцелевших на ветках листьев и замел их в снегу. Самой ранней весной золотой солнечный горячий луч открыл эти листки. Темное пятно листа на снегу сильней нагревалось, чем белый снег, и так листики изо дня в день стали сильней и сильней погружаться в снег, опускаться все ниже и ниже. Дни проходили, множество явилось признаков наступающей весны. Из-под снега вылезли наверх бесчисленные живые черные блошки. В теплые часы на солнечной стороне в больном дереве заработал лубоед. Местами образовались на видных местах у деревьев приствольные чаши, и чего-чего только не совершалось в природе большого, но незаметного.

А тот темный листик, опускаясь все ниже и ниже, достиг наконец такой глубины в снегу, что и вовсе стал недоступен солнечным лучам и там в глубине оледенел и сделался донышком сосуда, наполненного доверху водой. Отдыхающие на дереве перелетные птички насмотрели в снегу этот драгоценный для них колодец, стали спускаться и в нем пить и полоскаться.

Первые прилетели белые полярные пуночки и бросились прямо с прилету к колодцу. Они окружили его плотным кольцом, опустили в воду носики, напились, стали брызгать на себя воду, протирать перышки, выбивать, вымывать из них всякие блошки и вошки. От их мель-

чайших брызг над колодцем в полдневные часы повисла маленькая радуга, и она-то и обратила на птичек внимание старого бродяги. Рука с топором у Куприяныча задрожала.

— Погляди-ка, пацан! — сказал он.

— Давно смотрю,— ответил Зуек.

— Первые гости у нас всегда белые, а потом прилетят золотые.

— Щеглы?

— И щеглы, и эти с красным пузом, как их...

— Снегири?

— И снегири и всякие здешние и нездешние птички станут с прилету полоскаться в чистой водице. Явится и черная птица с красной головой.

— Желна? Откуда же она явится, она никуда не улетает, она у нас живет.

— Желна, конечно, у нас живет, только зимой бывает в других местах. И когда явится, новым голосом закричит. И когда она закричит свое «плыть-плыть!» — тут-то и мы с тобой поплывем.

— Не верю тебе, Куприяныч, ты прошлую весну все говорил про это «плыть-плыть». Тогда я думал, ты вправду говоришь, надеялся на тебя, а оказалось, ты мне, как маленькому, сказки навертывал. Только я теперь стал не маленький, сказкам твоим больше не верю. Почему прошлый год мы не пошли?

— Не было нам сроку тогда. У времени свой голос есть. Придет наше время, голос подаст, желна закричит — и мы...

— Прошлый год звала нас желна?

— Звала, милок, да не нас.

— А почему ж ты знаешь про нынешний год, что теперь она позовет нас?

— По себе знаю: душу мутить начинает, дрожит рука с топором. Погляди-ка, что вон там-то делается! Видишь?

— Сверкает везде, больно смотреть. Только вижу, вон там далеко синяя стена леса. Ты про это?

— Нет. Чуть-чуть дальше и пониже: видишь дымок-парок стоит.

— Да, вижу: дымок-парок...

— Это леший баню затопил. Там его баня. К весне, как птички, моется.

— Это наша земля?

— Наша земля, живой наволок, там нас ждут. Там нам с тобой не надо будет ни лес шкурить, ни скалу молотками долбить. Там все готовое. Мы с тобой наследство пойдем получать.

— Какое наследство? Кто его нам оставил?

— Откуда наследство? Солнышко готовило. Вот сейчас мошники поют на заре, а потом спускаются с дерева, и от них следы по снегу: мы на заре петельку — вот нам и обед. А сколько рыбы в Киж-озере! А там грибы пойдут, сколько всякой ягоды, сколько там дров наготовлено. Какая светленькая водица! Есть в лесу гриб один большой и, бывает, завернется вверх краями, как блюдо. И в блюдо это нальется водица. Вот когда этой водицы напьешься, тебе в лесу все заговорит, и даже простая букашка красненькая с черными пятнышками на простой былинке усиком своим черным тебе дорожку укажет.

Зуек отбросил все свои сомнения и загорелся.

— Куприяныч,— сказал он, схватив его за руку,— погоди колотить молотком по скале, скажи мне лучше, как же все-то работают, почему все не хотят, как мы, в лес за наследством идти?

— А что нам все?— ответил Куприяныч,— все работают и пусть себе работают. Дураков работа любит, мы же с тобой люди вольные и никого не хотим обижать, как воры. Ничего нам чужого не нужно. Возьмем с собой котелки и пойдем наследство получать, мы с тобой...

Куприяныч вдруг громко засмеялся злым смехом и близко наклонился к Зуйку.

Повеяло чем-то холодным, серым и чужим. Зуек пытливо и опасливо поглядел на бродягу.

— Чему ты радуешься?— спросил он, брезгливо отступая?

— А как же не радоваться?

И так близко подошел опять к Зуйку, что все волосы его из ушей, из носа стали видны насквозь, и все в них шевелилось. Неприятно стало Зуйку, и он прямо сказал:

— Ты что ко мне лезешь?

А Куприяныч еще ближе наклонился, и Зуек через его прозрачные голубые глазенки все увидел опять: и ту голубую даль и над синей стеной дымок-парок.

— Чего ты ко мне лезешь?— повторил Зуек.

— А я тебя, милок, полюбил и хочу тебе напомнить, кто мы такие.

— Это я знаю: мы с тобою цари.

— Да, пацан, не шути, мой милочек, мы с тобою на царство идем.

Зуек опять отстранился, раздумчиво нахмурился, недоверчиво поглядел. А Куприянычу это превращение мальчика в старика было, как масло в огонь. Он этого будто только и ждал. И засмеялся и захохотал, как в сказках хохочет людоед, обрадованный запахом человеческого мяса. С этой минуты Зуек раздвоился в себе: ему, конечно, хочется уйти в страну, где вечный праздник, где ждут его с наследством и где он, как царь, всему живому может приказывать. Но в то же самое время к этому светлому чувству присоединилось и что-то тяжелое, страшное, как будто знакомый с малолетства черный лик «Всевидящее Око» за каждым шагом его теперь стал следить из божницы.

— А ты думал,—хохотал Куприяныч, как бы насквозь понимая его смущение,— я это смеюсь? Нет, милок, я не смеюсь, я тебя полюбил. Вот как только желна позовет: «плыть-плыть» — мы с тобой и поплывем в свое царство. Выберем с тобой часок ночью: я этот час давно стерегу. И пойдем, как цари, и сядем на царство. Жди моего слова, собирайся.

XXVII. ПТИЦА ЖЕЛНА ПОДАЛА ГОЛОС

Зимняк еще держится на озере, и с осторожностью по нем еще ездят, но под снегом вода струится в малые речки, и оттого лед там от берегов отстает, поднимается все выше и выше. Кое-где уже и на озере лед пробуравило, и рассыпаются торосы. В пасмурные дни на телефонных проводах перед окнами управления надвоицким узлом оседали мельчайшие капли, сливались, катились и падали. Все служащие в управлении, и с ними Мария Уланова, не имели времени обращать внимание на движение и постоянное падение весенних капель. Все готовились к борьбе с весенней водой. Но вдруг на сосну, почти прилегающую к зданию, на сучок против форточки прилетела довольно крупная черная птица с красной головой и закричала свое: «плыть-плыть!»

— Слышите? Птица зовет нас: «плыть-плыть!»

И люди, с папиросками в зубах, обратили внимание и стали дивиться на черную птицу с красной головой.

Почуяв табачный дым, выходящий из форточки, желна с обычной своей резкой и далеко слышной трелью перелетела на другую сосну, подальше от человеческих зданий, и опять оттуда долетало сюда:

— Плыть-плыть!

Где-то за Выгом, на той стороне, этой желне ответила другая:

— Плыть-плыть!

— Весна идет,— сказала Уланова.— Все на ниточке держится. Вот-вот оборвется. Хлынет вся вода из лесов.

— Плыть-плыть!— повторяла желна издали.

— Скоро и мы поплывем!— говорила Уланова.— Как-то удастся нам справиться... Вся ли очищена от леса зона затопления?

— Где тут все очистить,— отвечал топограф,—у нас руки не достают. А местные люди не хотят поверить, что наши плотины и дамбы могут удержать весеннюю воду. Земледелец столько лет своей копорюгой шевелил камни на своем острове, рассиделся там, как курица на яйцах, и не может представить себе, что остров этот скоро зальет водой и там, где он пахал — будет рыба искать своих червячков.

— Но людей-то по крайней мере, людей-то удалось всех выселить с островов?— спросила Уланова.

— С островов на суземе все повыбрались, только одна сумасшедшая старуха на Карельском острове отказывается, лежит в гробу и ожидает светопреставления. Свечи и лампады горят, в руках молитвенник, распевает духовные стихи о том, что свет кончается.

— Пробовали уговаривать?

— А как же, мы ей — «свет начинается», а она твердит свое, что кончается.

— И погрозили?

— Все было. Но куда тут силой! Она такой крик подняла и такая оказалась здоровая! Главное, будь она вправду сумасшедшая, а то ведь начнешь с ней, как с дурочкой, говорить, а она будто умнее тебя.

«Ну, ладно,— говорим,— в прежние времена ваши староверы сжигались и всех уверяли, будто свет от огня кончится, у тебя же выходит, что от воды».

«Как!— отвечает.— Я тоже говорю — от огня. Зато и не еду с острова. Конец придет от огня, и водой вы нас не затопите. Ничего у вас не выйдет с водой».

«А если выйдет, — отвечаем мы, — то ведь гроб твой сделан из лодки, вода подымет тебя и к нам же принесет». «Так чего же, милые,— отвечает она,— вы ко мне пристаете? Ай вы какие глупенькие?»

«Ну да, глупенькие!»— мы ей отвечаем.

«А то как же не глупенькие! Если божья воля на то будет, как вы говорите, так меня к вам же она и принесет, ежели уже я вам так-то уж гораздо нужна».

— Надо бы вам сказать,— ответила Уланова,— что ее родной брат в Надвоицах, Сергей Мироныч, при смерти. Проститься бы ей с ним. Таким способом вы бы ее выудили, а потом и задержали.

— Ну, разве мы не говорили о брате! «Я иду,— отвечает она,— в тот мир, где нет больше ни братьев, ни сестер, ни жен, ни матерей, там не женятся, не венчаются. И если брат мой отходит сейчас туда, то чем скорей отойдет, тем лучше ему. Это милость к нему. Скоро и мы все туда отойдем. Свет кончается!»

Так вот и говорит и твердит, что кончается. Мы же твердим: «Начинается». Спорили-спорили об этом «кончается-начинается», взяли и плюнули. Она же так спокойно глядит на нас и усмехается.

— Надо бы мне самой попробовать поговорить,— сказала Уланова.

— Вот еще что,— крикнул Сутулов с другого конца комнаты,— что это ты возишься с сумасшедшей старухой! Мало тебе тут своих на канале?

— У этой старухи,— сказала Уланова,— есть своя мысль: она так понимает, что свет гибнет от слабости. И не в табаке дело, что мы курим и пьем, а в самой унаследованной слабости. Я хочу снять повязку с ее глаз, эту химеру, показать ей, что мы тоже за это взялись: перековать, восстановить человека.

— Делать вам нечего,—усмехнулся Сутулов.—Я только удивляюсь, до чего у вас крепко держится внимание к сказкам. Ведь это же все сказки об Антихристе, о Сером Волке, о ситчиках разных, платочках, перстенечках. Пустяки досужих людей.

— Вы, Сутулов,—сказала Уланова сначала на «вы»,— представляете собой старый тип, вроде Базарова, и кое-чего не понимаете. Говорите против ситчика, а мальчик родится — ему надо ситчик, девочке нужна куколка, сказочки.

И вдруг, переходя на «ты»:

— Тебе же всех бы хотелось в чугун!

— Нет,— улыбаясь, ответил Сутулов,— я не против ситчика и не против детей, я против сказок вредных и сумасшедших старух: пустяки это. Нам надо воду удержать. Сейчас я тебе даже больше скажу, сейчас на первом месте стоит у нас вода, а не, как ты говоришь, что надо «перековывать человека». Ты сказкой живешь, сказкой питаешься. Мир у тебя сказкой начинается, у меня же сказки на десятом месте. Идеалистка ты неисправимая.

На этом неожиданный разговор в конторе окончился. Сутулов подошел к повешенной на стене карте зоны затопления и стал делать на ней свои разметки синим и красным карандашом. Синие кружки означали острова, подлежащие затоплению, красные — возвышенности: новые острова, новые берега. Посреди мест затопления синим карандашом была намечена и «Осударева дорога».

Сутулов читал о походе Петра и сейчас крепко задумался об этом походе, представляя себе, как в скором будущем над этим следом Петровой дороги вверху по глубокой воде нового огромного Выг-озера поплывут военные морские корабли.

Так незаметно для себя Сутулов увлекся этой картиной будущего: внизу Петрова дорога — вверху свои корабли. Еще увидел он, будто далеко в темные леса в безумном страхе убежавший лось теперь возвращается, ближе, ближе подходит к новой воде, боится, постоит, шаг пройдет, два пройдет, вот подошел, вот заглянул в воду, склонил высокий зверь странную, какую-то допотопную голову, протягивает теплую толстую губу, и навстречу из новой воды выходит холодная такая же губа зверя, похожего и на корову, с одной стороны, и на лошадь — с другой. Лось напился и вошел в мир человека, имеющего власть над природой.

Так незаметно для себя Сутулов творил свою сказку, забывая, что сейчас же только над всякими сказками смеялся.

Уланова ни на одну минуту не приняла на себя упрек в побеге от жизни в сказочный мир. Она тоже считала сказку о конце мира подлежащей затоплению и всей душой верила, что над затопленным местом пойдут корабли нового мира, нового человека. Но она знала еще, что между тем, затопленным, миром и новым есть какая-

то связь, и ей хотелось это драгоценное в прошлом взять с собой в новый мир и не дать ему совсем затонуть.

Может быть, она хорошо знала об этом драгоценном, что оно само собой переходит из прошлого без наших усилий. Но за что-то она любила Марью Мироновну и не могла бросить тонуть человека.

Взглянув на то место, где сидела желна, она увидала, что капли на проволоке перестали катиться, что некоторые из них даже замерзли, что небо расчищается и, как всегда в таких случаях, начинается мороз.

— Успею еще проехать на Карельский остров,— сказала она и велела подать себе лошадь.

Разбирая бумаги последних дней, назначая каждой бумажке отметкой свое место во множестве папок исходящих и входящих, она вдруг увидела запечатанное личное письмо на свое имя. За много лет работы она привыкла с делами поступать, как раньше поступала со старушкой матушкой: первый кусок матушке, а после себе. Так и тут: дела-то устроила, а личное письмо положила себе в карман кожаной куртки. И так это тоже бывает с деловыми людьми: отложенное личное дело нашло в душе особое место, поселилось и начало там, как семя в земле, прорастать. Особенно отчетливо помнился и не отставал от нее какой-то знакомый почерк, хотелось сердцем приникнуть к этому волнующему чувству, и все как-то ей было недосуг.

XXVIII. ЗАГУМЕННАЯ ДОРОЖКА

Дедушка Сергей Мироныч лежал у себя на полатях без сознания и в себя приходил, если только кто-нибудь из своих наклонялся к нему и заставлял узнавать себя. Как только дед кого-нибудь из своих узнавал, он тут же в себя приходил, и с ним можно было разговаривать. Когда за окном раздался крик желны «плыть-плыть», ему стало так, будто кто-то из своих наклонился к нему, и он пришел в себя.

— Слышите, деточки?— спросил он с полатей.

— Слышу, слышу,— ответил Зуек.

— Плыть-плыть!— сказал дедушка.— Видно, скоро и я поплыву...

— Куда ты собираешься плыть, дедушка?— спросил Зуек.

— Домой, деточка.

Евстолия Васильевна, услыхав это, глубоким глазом поглядела на свою золовку Марью Лукиничну, подмигнула ей и прошептала:

— Последние дни стал все так отвечать: «Домой, домой». Понимаешь ты это?

— А как же,— ответила Марья Лукинична,— собирается...

И полезла к нему на полати.

— Папаша,— сказала она,— приди в себя!

— Да я же в себе,— ответил твердо Мироныч.

— В себе, а что говоришь?

— Что я говорю?

— Что домой собираешься: ты же дома.

— А я же не говорил, это за окном, слышу, меня птичка зовет: «Плыть-плыть», и я ей отвечаю: «Скоро, скоро, птичка, и мы поплывем».

Зуек рассеянно слушал обыкновенный разговор женщин с дедушкой, но, поняв, что желна закричала, под разговор незаметно вышел, побежал на трассу к Куприянычу, и когда он бежал, случилась перемена в природе: небо стало освобождаться от облаков быстро, капельки на проволоке и на тонких ветках деревьев леденеть.

— Слышал?— спросил Зуек Куприяныча.

Бродяга моргнул ему, чтоб он молчал. И когда, по своему обыкновению, осмотрелся вокруг себя, и по зауглам скалы, и по задеревьям, шепотом сказал:

— Желна уже три дня зовет, а что морозит, то хорошо: это нам дорогу стелит в наше царство. Месяц взойдет — наст заварит, пойдем по насту, как по скатерти.

И научил Зуйка всему: и что взять с собой, и как выйти незаметно по загуменной дорожке, и что держать надо все прямо на стог сена и ждать за стогом возле большого куста можжевельника.

— Ну, иди, иди, собирайся скорей,— сказал он на прощанье.— Я уже все подготовил. Как стемнеет, так и выйду, все кончено: выйдем по насту, как по скатерти, и никто нас не догонит. Мы выйдем, а за нами все пути оборвутся: сразу про нас и забудут, и никто не будет искать.

Когда Зуек вернулся домой, в избе уже никого не было, кроме умирающего деда. Быстро темнело, и Зуек спе-

шил собраться и уйти, пока в избе еще нет никого. Прежней радости, как бывало раньше, при одной мысли попасть в счастливое царство, теперь у него больше не было, и Куприяныч стал какой-то неласковый. Пожалуй, если бы не было Куприяныча над ним, по своей воле он бы теперь и не пошел. Куприяныч стал ему теперь кем-то вроде начальника. Но Зуек не понимал этого, что не в Куприяныче тут было дело, а в себе самом, что раз уж взялся крепко что-то по-своему сделать, то из тебя же самого непременно выйдет какой-то начальник. И ты будешь ему повиноваться и служить.

Зуйку стало, будто он сразу сделался старше, и это легло на него, с одной стороны, и тягостно, а с другой — и радостно. Он теперь стал как большой.

— А я вижу,— сказал дедушка,— ты тоже собираешься, топор за поясом, ружье мое вижу, мой компас, кремни, огниво, мешок с сухарями. Куда?

— Иду, дедушка,— ответил Зуек,— на большую охоту.

— Куда же это?

— На Киж-озеро, там теперь мошники поют.

— Поют, милый, поют. Желна закричала — мошник давно запел. Но как же это ты пойдешь, пустят тебя?

— А я, дедушка, не буду сказываться.

— И не сказывайся, на охоту надо молчком выходить. Я сам, бывало, эх! был конь...

И дедушка захлебнулся в слезах. Тут Зуек впервые почувствовал, какой хороший был его дедушка, как он любил его и как нехорошо теперь его в беде оставлять.

Вот и бабушка тоже, Марья Мироновна, там одна в гробу на Карельском острове,— как она ходила за ним, как она любила его! Зачем же он их всех оставляет? Но эта мысль о разлуке с близкими и дорогими людьми еще более усилила в нем волю того нового начальника, который поселился в душе.

— Надо!— сказал твердо Зуек себе самому, прежнему слабенькому Зуйку, от имени другого себя, самого, сильного и решительного начальника.

— Ты, дедушка,— сказал он,— про меня никому не сказывай.

— Что ты, что ты, Христос с тобой, ай я тебе враг!— ответил Мироныч.

— Прощай, дедушка!

— С богом!— ответил Мироныч.

И Зуек вышел. На улице были сумерки. Зуек прошел в огород и спрятался там в чьем-то пустом сарайчике.

Время пришло теперь такое, когда солнце ласковые лучи свои, как подарки, посылает воде и освобождает живую воду на радость земле. Особенно в светлые полдни бывает заметно, как на пологий берег из-подо льда выходит вода, и так осторожно она крадется, что никакой враг за ней не уследит. Но как только солнце оставит воду и уйдет, особенно если месяц покажется, мороз сейчас же схватывает освобожденную воду, и она ложится узорчатой белой полосой.

Но солнце на другой же день освободит эту воду, и она успеет в горячий полдень еще больше вчерашнего пробраться вперед. И опять вечером мороз к белой полоске вчерашнего заберега прибавит новую. По ночам мороз соединяется с месяцем, а днем солнце на радость земле снимает зимние оковы с воды, и так забереги все растут и растут. И так мало-помалу омытый чистый зеленый лед озера окружается рамой голубой воды.

В тот день, когда желна подала свой голос Зуйку, солнце не могло выбиться из-под серо-желтых туч, пролежавших над землей всю ночь, как тяжелое одеяло. Зато это одеяло сохранило земле тепло, вышел серый, морозливый день, и к прежним голубым заберегам воды еще много прибавилось. Но тем сильнее началась борьба солнца с морозом за воду, когда после морозливого дня вдруг выглянул месяц. Мороз сразу в лесах сделал наст, а на озере быстро заморозил забереги и тонкую воду опять превратил в белый цветистый и хрупкий лед-тощак.

Загуменными снегами, как по скатерти, стал красться Зуек и сразу упал в тень луны у забора, когда возле управления увидел гнедую лошадку, запряженную в сани. Он побоялся, что сани эти пойдут в его сторону, в лес, и устроился под забором ждать, пока они не тронутся в путь. Ждать ему недолго пришлось. Вышла Мария Уланова, села в сани и, подхлестнув гнедую, покатила к озеру, и слышно было даже отсюда, как под полозьями саней затрещал по заберегу лед-тощак.

К печали о дедушке, умирающем на полатях, и бабушке, бросившейся сейчас так послушно на борьбу со страшной водой, прибавилась еще печаль о прекрасной

Марье Моревне. И пусть он дичился ее последнее время и даже избегал встречи с нею, но все равно в душе он с нею никогда не расставался. Все это мелькнуло Зуйку в то время, когда слышался ему хруст по заберегам саней исчезающей Марьи Моревны.

«Хочешь не хочешь, а теперь уже надо идти!»— приказал ему новый собственный начальник.

И Зуек, выйдя из-под забора, пошел прямо на черный стог сена и большой куст можжевельника, далеко видный при месяце на белом снегу.

XXIX. ДВА ЖЕНИХА

Лед на озере, хорошо укатанный навозной санной дорогой, отлично держался. Уланова рысью катила и катила себе в сторону Карельского острова, и скоро показались очертания измененного берега. Из множества бань, стоявших раньше на краю острова, теперь оставались только немногие, совсем ветхие, брошенные хозяевами. При месяце трубы печей и всякий хлам разрытого села и особенно большие староверские кресты с двумя перекладинами вверху и внизу давали картину какого-то особенного страшного кладбища. Жутко было Улановой думать о предстоящем свидании с человеком, потерявшим как будто последнюю связь с этим миром, где люди мучатся, так трудятся, чтобы только отстоять на земле свою долю короткого счастья.

Не пришлось долго искать дом, где жила Марья Мироновна: большой этот дом с крестом был единственный уцелевший в покинутом селе. С тяжелым чувством взялась Уланова за ручку двери: ей казалось, будто она входит в склеп и живого мертвеца должна будет соблазнять прелестью жизни. Но как только незапертая дверь отворилась, она с изумлением остановилась на пороге.

Перед нею была освещенная верхним огоньком широкая и опрятная лестница, вся устланная новыми чистыми половичками-дорожками. На маленьких лестничных окнах висели белоснежные занавески, убранные вверху разноцветными бумажными цветами. Так убирают у староверов лестницы только перед самыми большими праздниками или в ожидании редкого, самого желанного гостя, и в особенности, когда в доме свадьба и ждут жениха.

Так странно было это видеть в то время, когда все се-

ло рушилось. Наверху, как и внизу, было незаперто. Уланова только тронула ручку — и дверь бесшумно открылась. В большой горнице тоже все было заботливо прибрано. В красном углу, как в церкви, было много икон, и, как всегда в староверских божницах, выделялись иконы с крупными темными ликами, грозными, с бесповоротным решением в глазах. Некоторые иконы были обвешаны вышитыми полотенцами, и лампады горели разных цветов. Гроба нигде не было в горнице. Напротив, посреди комнаты стоял хорошо убранный стол, уставленный чашечками и тарелочками цветного фарфора. На столе, как видно, было поставлено все, что издавна хранилось в доме и переходило по наследству из поколения в поколение. Все было так в горнице, будто не к потопу готовились или к огненному светопреставлению, а ждали жениха в дом невесты, и с потолка над всем этим богатством свешивался резной деревянный голубок с распростертыми крылышками, сделанными из тончайших, почти прозрачных сосновых дранок.

Марья Мироновна, стоявшая на коленях перед иконами, конечно слышала, когда в комнату кто-то вошел, но она не обернулась. Может быть, и правда, она ждала жениха, наполняющего светом пространства, и обыкновенные темные люди, входящие в горницу, не имели для нее никакого значения?

Тихонечко, стараясь ничего не задеть, Уланова обошла кругом большой стол и села на резной диванчик. И оказалось, нет, догадка о невнимании Мироновны к маленьким темным людям была неверной. Продолжая сколько-то времени с прежним и с еще даже большим вниманием молиться, она стала часто креститься, много кланяться, как делают верующие, когда от молитвы собираются перейти к житейским делам.

— Кого-то бог послал?— сказала, вставая, Мироновна.

И не теряя своего обычного важного достоинства, она вдруг обрадовалась, увидев Уланову, и старые глаза ее оживились где-то глубоко в себе и засветились затаенным светом молодости. Уланова эту радость не приняла на свой счет. Подумала: теперь ей перед концом все гости кажутся безразлично желанными и всех их одинаково ждет праздничная встреча.

Но Уланова снова ошиблась.

— Машенька, милая!— сказала, обнимая ее, Марья Мироновна.— Дочка моя, умница!

— Милая Марья Мироновна,— ответила Уланова,— я вас так сразу тогда полюбила, зачем же вы меня обманули? Помните? Я хотела вам мази дать от поясницы, а вы в ту ночь потихоньку уехали.

— Зачем ты на себя думаешь?— ответила Марья Мироновна.— Я тогда не от тебя, а от брата уехала, от его слабости и снова повернула жизнь свою на прежнюю.

— Умирает сейчас Сергей Мироныч, с полатей не сходит.

— Слышала.

— Помочь бы ему...

— Нет, теперь уж ему не поможешь. Я от маленьких насилу удерживаюсь, одолевают, жалко мне их, не могу сама с собой оставаться, тянет. Но сейчас вот подходит конец, скоро...

— Это грех так думать, Марья Мироновна, на старости лет самоубийством кончать.

— Что ты, господь с тобой,— перекрестилась, испугавшись страшного, резкого слова, Мироновна.— Я ведь о воде мало думаю. Запрут — это дело человеческое. Я этого не боюсь. В писании об огне сказано,— свет кончится от огня. И по всем признакам не успеет вода нас затопить.

Другим человеком, закованным в суровые правила прошлого, говорила теперь об огне и страшном конце Мироновна. Уланова вдруг потеряла милого, родного человека и не знала, куда ей смотреть, где искать, что сказать, как начать...

Тяжело помолчав, наконец она сделала над собою усилие и догадалась, как ей вернуть друга на землю.

— А Зуек все у нас,— сказала она. И от одного только слова мирская няня вернулась на землю. Уланова даже заметила тропки, какими приходит к нам чудесная бабушка: эти тропки разбегаются от уголков глаз по щекам, ее лицо оживает, глаза, губы в доброте своей как будто вот сейчас желают встретиться, познакомиться с чем-то живым и веселым. Уланова даже не удержалась и, не отвечая сразу на вопрос о Зуйке, сказала:

— А что, бабушка, может быть, и погодят со светопреставлением? И не будет огня? Я это с малолетства слышу — огонь и огонь, а все нет и нет.

С доброй, веселой улыбкой ответила мирская няня на слова милой женщины.

— Все-то знать, конечно,— сказала она,— нам не дано, может быть и опять так пройдет, деточка, нам-то — так или так — все равно помирать: мы старики, а вы себе живите и не бойтесь. Ну так что же ты скажешь, как живет теперь наш Зуек?

Очень хотелось и даже прямо на языке вертелось у молодой женщины спросить теперь о воде, о том, что если не будет светопреставления, то вода-то непременно зальет острова и что в таком случае не лучше ли ожидать конца на суземе, чем на острове. Но такой вопрос мог бы стать решающей каплей и повлечь за собой в этот повеселевший дом возвращение страшного староверского бога с его беспощадным огнем на весь мир.

Так и не решилась она сказать свои слова и ответила на вопрос о Зуйке, что с тех пор, как бабушка с ним рассталась, прошло уже полтора года.

— Не узнать?

— Узнаете,— ответила Уланова,— а все-таки мальчик не тот стал, в таком возрасте перемены быстро бывают. Он был курьером, и такой он был послушный, но у нас, вы знаете, есть всякий народ, и какой это народ, по одним словам можно понять: лепарды, шакалы, медвежатники,— звери и звери! Вдруг случилось что-то, Зуек ответил: «Не хочу»— и убежал. «Надо же слушаться»,— сказала я в другой раз.

— Хорошо сказала, умница.

— Нет, ему было нехорошо. «Почему это надо?— отвечает мне дерзко.— Я ничего дурного не сделал, чтобы и мне тоже надо было работать. Не хочу!» И опять убежал.

— Ну вот, это самое,— сказала Мироновна.— И к нему пришла эта слабость.

— Вы считаете, это слабость, когда что-нибудь самому себе хочется?

— Конечно, слабость. Не помню, сказывала ли я тебе, как началась у нас Выгореция?

— Ну как же, веник плыл по реке, соблазнял пустынников попариться, и как собрались вместе на легкую жизнь, и началась у людей слабость.

— Вот, вот, умница, все-то ты помнишь, все ты понимаешь! Ну, так зачем же сама этому служишь?

— Бабушка, вы этого никак не хотите понять, мы не только не за слабость стоим, а хотим переделать человека, собрать его всего. Мы не столько строим канал, как человека собираем, всего человека ждем и куем.

Уланова крепко говорила о том, что советские люди за жизнь стоят, за человека и что, напротив, считают слабостью именно оставлять человека на волю огня.

— Вы лично сами себя спасаете,—сказала Уланова,— и для себя, для своего облегчения и в оправдание себя, навязываете всем такой страшный конец. Не кончается свет по-нашему, а только начинается. И вы то же самое делаете и тоже так думаете, когда вдруг бросаете старые свои мысли и уходите спасать маленьких больных детей.

Марья Мироновна, уверенная в чем-то своем, снисходительно выслушала, а сама глядела в самую душу своего друга, и когда Улановой казалось, что вот она дошла до самого главного и бабушке теперь уже от ее слов некуда деться, Мироновна положила ей на плечо руку, заглянула ей прямо в глаза и сказала:

— Погоди, Машенька, я вспомнила, ты мне тогда про себя говорила, будто ты пчелка и тянешься к цветку за медом, а цветы все пустые, и что ты все делаешь не для себя, а только для людей, что тебе самой ничего не достанется, и что во всем этом виноват твой первый друг, забыла, как ты назвала его...

— Степан,— сказала Уланова.

И вдруг переменилась в лице.

Она теперь только поняла, что тот знакомый почерк на письме, спрятанном перед отъездом сюда в карман, был Степанов. Она быстро достала письмо, прочитала...

— Вот, бабушка,— сказала Уланова,— я любимого человека отрезала от себя...

— Как же это, голубка, так вышло тебе?

— Мне трудно вам сказать, как это вышло. Но я расскажу, как было не со мною, а рядом, в слободе, где я жила. Бедная женщина билась с утра до ночи с кучей детей, а муж пьяница был, все из дому тащит, детей бьет, калечит. Настал конец терпенью женщины. Ранней весной прилетел скворец к самому окошку, стал петь о счастье, и тут под эту песню схватило ее что-то за сердце. Пьяница лежит-дрыхнет на лавке, она собирает детей, ставит перед иконою на коленки. «Молитесь, деточки, за отца, и чтобы господь простил маму».

Потом уводит детей к соседке, сама же, вернувшись, снимает ружье с гвоздя. Сделала свое страшное дело, тут же пошла и сама на себя донесла. Суд ее оправдал. А как вы?

— И я бы оправдала!— вся загоревшись, вскинулась Марья Мироновна, и Маша узнала в ней в эту минутку брата ее, Сергея Мироныча,— куда девалась вся ее неприступная строгость.

— Такой грех замолить можно,— не в человека она — в Зеленого Змия стреляла,— продолжала бабушка.

— Вот у меня так точно было. Не прямо детей наших кровных губил мой Степан, а все дело наше общее, доброе, всех наших общих детей. Бабушка, ты сама поймешь: Степан стоял на большой должности, много ему было доверено. И я его, любимого, сама отдала под суд. Вот пять лет и летаю с цветка на цветок, ни к одному не спущусь, кажутся мне все после Степана пустыми. А если и не пустые, то как маленькие дети.

— Ах, и бедная же ты, Машенька!

— Так прошло пять лет, и вот пишет теперь, что больше не служит Зеленому Змию, у меня же просит прощенья и возвращается, подумай, бабушка, возвращается!— Уланова обе руки положила на плечи Мироновны и в упор лицом к лицу продолжала:

— Ни про одного человека не можем мы сказать, что с ним будет впереди, а вы вот про весь свет говорите: свет кончается. А я вот получила письмо и, если судить по себе, тоже всем теперь буду говорить: свет начинается!

— И впрямь, начинается!— добродушно ответила Марья Мироновна.

Она до того обрадовалась, что Степан возвращается, до того ушла от своей печали в радость милой ей женщины, что о своем большом деле на эти минуты вовсе забыла. Она обняла Машеньку, поплакала с нею от радости, выспросила все о Степане: и сколько лет ему, и чем он занимается, и как спасся он теперь от Зеленого Змия. И только уж, когда пошла проводить Машу, на ходу показала комнатку, где стоял ее черный гроб. Уланова узнала в нем тот же самый знакомый карбас, черный, с белым черепом и скрещенными костями. И скользнув привычным для женщины внимательным глазом, заметила большое окно против гроба, и что у окна стояло весло.

«Как же это так,— подумала приметливая женщина,— если она в затопление не верит и ждет огня, то зачем же все-таки она сюда прихватила весло?»

Месяц еще ярко светил, когда Маша Уланова выехала с Карельского острова. Гнедая лошадка домой бежала без понукания, и Уланова снова вернулась к тому же вопросу: как это можно так верить в конец света, обречь себя на огонь и не забыть на случай ошибки весло?

— Как это может быть,— спрашивала Уланова себя, стараясь по себе самой понять душу Мироновны.

И вспомнила Уланова, что, отдавая Степана под суд, она не для себя это делала. Не будь у нее такой веры, что революция наша обновит мир и что только с чистой совестью можно идти в этот новый мир, то разве могла бы она оставить друга своего, какой бы он ни был: больной, или пьяница, или что еще хуже?.. Нет, никогда!

«Но как же,— подумала она о том теплом местечке, где лежало сейчас письмо,— как могло явиться это письмо, как мог вернуться к ней Степан, если она сама от него тогда отказалась? Значит, он понимал хорошо и тогда, что она ради правды его отдавала под суд. И я разве столько лет не хранила в тайне надежду на его возвращение? Могло же это вместе быть: и что отказывалась от него и что вместе с тем и ждала!

Вот она, разгадка весла,— заключила свои думы Маша и весело тряхнула поводьями,— наверное, Марья Мироновна, ожидая всемирного огня, потихоньку даже от себя самой прихватила на случай весло».

Проехав еще немного, она и так подумала:

«Могла же Марья Мироновна, мирская няня, жить мыслью об огненной кончине и в то же время спасать маленьких чужих детей, как своих собственных. Так почему же и тут не могла у нее раздвоиться мысль: на минуточку забыла о гробе и прихватила весло».

XXX. ЛЕСНОЙ ОБОРОТЕНЬ

Самый сильный холод в лесу бывает в конце утренней зари, когда первые лучи солнца влетят в лес и деревья бросают на снег голубые тени. Только мало-помалу солнечные лучи наверху начинают нагревать еловые шишки, и от тепла они расширяют свои дольки и начинают ронять свои семечки. На особых маленьких парашютиках эти

семечки из верхнего этажа леса, где свет и тепло, спускаются в нижние этажи, где все еще мрак и мороз.

Скоро, скоро теперь уже возьмутся весенние ручьи, и миллионы этих семян, целый будущий лес, поплывет, и река понесет их в какой-то лучший край. И ни одно-то семечко, отдаваясь общему движению, не будет знать, ему ли достанется лучшая доля, или, из всего великого множества их, кому-то другому. Ни одно семечко не знает своей будущей доли, но всякое, в надежде на лучшее, живет и плывет.

Бурная река где-то далеко впереди, разогнавшись на прямом пути, с бешеной силой ударяется в скалистый берег, заступающий путь воде на повороте. Вымывая плодоносные частицы из бесплодного камня, река несет их на другую сторону и там создает наволок плодородной земли. Живой наволок все растет и растет, постоянно принимая к себе новых и новых гостей из далекого их материнского леса. Люди тоже, как все живое на свете, ищут свой живой наволок и тоже подчиняются этой силе, увлекающей искать лучший край. Не это ли самое, заложенное и в человеческую природу стремление вести за собой людей в лучший мир дремало и в таком бесплодном бродяге, как Куприяныч, и он вел за собой туда кудрявого мальчика?

Или, может быть, в нем давным-давно погасло живое чувство жизни в своем стремлении к лучшему, и он скучно повторял из года в год сам себя и мальчика захватил с собой для потехи?

Но как бы там ни было, какая бы ни ждала каждого из них судьба впереди, выйти на волю в первое время всегда хорошо, и они шли и шли по твердому ровному насту, определяясь по сучкам северных елок: на север сучки были много короче, и, не глядя на компас, можно было сразу сказать, какая где сторона.

Из темного хвойного леса они вышли на гарь, поросшую осинником и березами. Этот лиственный лес теперь был завален снегом и непроходим. Пришлось найти то место, где в былое время остановился пожар. Теперь тут высокой стеной стоял прежних столетий еловый лес. Но и тут просека, разделяющая хвойный лес от лиственного, вела не в ту сторону, куда надо было идти, в сторону Киж-озера, и все равно по ней также невозможно было идти, как и прямо по лиственному лесу. Осинки и березки

от тяжести зимнего снега наклонились арками через просеку к ногам высоких неколебимых снегопадами елей. Кусты подлеска заделывали наглухо промежутки между арками. Весь молодой лиственный лес склонялся перед непреклонной стеной темного бора.

— Что же нам теперь делать?— спросил Зуек.

Куприяныч огляделся, подумал.

— Сумерки,— сказал он,— поздно, сейчас ничего не поделаешь, надо готовить ночлег.

И указал на поляне невывезенный стог сена.

— Ночевать будем в сене, поди сюда посиди, отдохни, а я пойду бором, погляжу, как нам будет лучше завтра идти... Подожди меня, а станет холодно — закопайся в сено и спи. Я приду.

И ушел бором, обходя просеку.

Зуек прислонился к стогу, присел и в сумерках, как это бывает со всяким, стал распределяться по лесу в поисках, где бы ему лучше устроиться на ночь: на сучок, или зарыться в муравейник, или нырнуть где-нибудь в большое дупло, или в снегу между двумя огромными корневинами во мху зарыться...

И вдруг в той стороне, куда ушел Куприяныч, крикнул гугай. Зуек, конечно, знал, что это крикнула ночная птица, но у него в голове перед сном в таежном одиночестве само собой шевельнулось:

А если Куприяныч может обертываться, и это он обернулся филином и зовет его?

Гугай крикнул в другой стороне. И Зуек подумал: «Что это, вправду, другой филин или Куприяныч перелетел в другую сторону и теперь оттуда дразнит и пугает его?»

Пугач крикнул с третьей стороны.

Зуек не очень-то испугался, но все-таки, подчиняясь тому смутному чувству, когда человек сам себе говорит: «Береженого и бог бережет», не спеша стал выбирать сено из стога.

С малолетства отец научил его этому простому делу, и, когда ночлег был готов, он залез в нору, а вынутым сеном стал заделывать выходное отверстие.

Перед тем как уснуть, он услышал: опять крикнул где-то гугай. И Зуек уснул с этой мыслью, что скорее всего Куприяныч может обертываться.

Так он уснул, как, бывает, медведь простодушно зароется в стог и уснет на зиму и спит в сене, пока мужик

не ткнет его вилами в бок, и оба, и медведь и мужик, испугавшись друг друга, бегут в разные стороны.

А бывает, говорят, и барсук так зарывается. И мы тоже так спали не раз, и так хорошо теперь вспомнить об этих ночах.

Но тут вот как раз, когда Зуек уснул в стогу, а Куприяныч, перелетая из стороны в сторону, с дерева на дерево, пугал его, и совершилась великая, решающая все перемена в природе.

Еще в сумерках Зуек заметил, как небо стало тяжелеть и желтеть. И когда он уснул, тут же прямо сплошной, непроницаемой стеной повалил снег, и это был снег последний. Зима отдавала сразу все свои последние запасы, как сдает полководец капитулирующую армию.

Что тут делалось ночью? Высоко где-то в небе легкие сухие шестигранные снежинки, переходя в нижние, более теплые слои воздуха, соединялись между собою, сырели, тяжелели, и сила их тяжести сама собой, без всякого подчинения скульптору или какому бы то ни было управлению, лепила все на сучках и вершинах всяких деревьев самовольные и затейные формы.

Утром снег перестал, но солнце взошло не таким, каким было зимой, солнце теперь было не золотое, а тусклое, красное и как будто даже смущенное; может быть, ему стыдно было за то, что оно, такое великое, теперь поддается охватывающей всю обыкновенную живую тварь весенней страсти. На такое смущенное солнце было даже совсем и не больно смотреть.

Но после последнего великого снегопада было даже и этих тусклых лучей довольно, чтобы оживить все фигурки создавшихся за ночь безобидных существ. Они, правда, были так безобидны, что форму свою никому не навязывали, и каждый понимал ее по-своему: кому что захочется видеть, тот так ее и называл.

И нужно было сойтись вместе только очень близким людям, чтобы одна и та же фигурка давала им один смысл. Это могло прийти двум так же редко, как двум вместе увидеть один и тот же сон. В одной и той же фигурке один мог понять хижину, другой дворец, третьему фигурка похожа была на добрую бабушку, четвертому на злую девушку. Но все равно, добрые, злые, красивые

и ужасные уроды — все они были безобидны и форму свою никому не навязывали.

Когда Зуек проснулся, вытолкнул затычку из своей норы, он даже не сразу вспомнил о Куприяныче, до того захватила его радость при встрече с целым лесом безобидных существ. Он увидел, конечно, сразу узнал Марью Моревну, и Кащея Бессмертного, и Серого Волка, и Бабу-Ягу. Везде были золотые крестики, голубые кобылицы и помыкающий ими Иван Царевич.

— Здравствуй, Зуек!— говорили все фигурки безобидных существ, узнавая необыкновенного гостя.

Вскоре и сам их царь показался, большой, пузатый, добрый, и говорил Зуйку:

— Вот видишь, Зуек, я сижу, ничего не делаю, и вся природа у моих ног. Так и тебе будет все хорошо, если только будешь верить в меня и ни о чем другом думать не станешь.

Красногрудый снегирь сел на веточку верхней мутовки, выходящей из макушки царя Берендея, и с ним рядом села его скромная подруга. Снегирь красный не клевал семечки в шишках, даже не почесывался, а просто сидел, отвечая своей красной грудью красному солнцу; затем как будто и сидел, чтобы солнце ему красило грудь.

Вдруг откуда-то прилетел другой красный снегирь, проворный, живой, и сел на веточку, выходящую из уха царя Берендея.

«Сейчас будет драка!»— подумал Зуек.

А подумать-то как раз и нельзя было: думать запретил царь Берендей. Тоненькими, самыми тоненькими пленочками располагались капельки тающего снега вокруг веточек под фигурками и, незаметно для глаза утолщаясь, тяжелея, превращались в ручейки, бегущие по веточкам тоненьким к более толстым. Голубая кобылица, скачущая над головой царя Берендея, подточенная струящейся над нею водой, еле-еле держалась и, когда Зуек подумал о снегирях, что сейчас у них будет драка, рухнула на царя Берендея, снегири улетели, и Зуек сразу хватился Куприныча и сразу же забыл о всем царстве безобидных существ.

— Конечно, он тут где-нибудь, в стогу!— вслух сказал Зуек и, высунув голову, позвал.

Никто не откликнулся. Зуек сразу выскочил в тревоге из своей норы, обежал, пошевеливая сено вокруг стога.

В сене Куприяныча не было. И он громко, во весь дух закричал...

Этот крик мальчика в тайге был похож на шутку в таком обществе, где не шутят и где всякая шутка к тебе же возвращается и тебя же самого и стыдит: в этом обществе шутки не допускаются. И точно так же в тайге крик о помощи к тебе самому возвращается в том смысле, что в тайге нигде на стороне помощи нет, отложи всякие надежды на помощь и надейся всякий только на себя самого.

Что же делать теперь? Куприяныч в поисках пути, наверно, забрался куда-нибудь далеко, нашел большой муравейник, выкопал в снегу до земли яму, перегреб муравейник, поджег, нагрел место, завернулся в полушубок и спит себе. А проснется, наверно будет искать стог и вернется обратно по следу. Значит, надо сидеть на месте и дожидаться.

Но как только он подумал опять... В том-то и дело, что в царстве безобидных существ думать нельзя. Как только он хотел успокоить себя мыслью о том, что Куприяныч вернется, обрушился Серый Волк вместе с Иваном-Царевичем, и Зуек сразу же вспомнил, что ночью снег завалил все следы и что Куприяныч может и не найти эту полянку со стогом.

Только не так-то легко до конца занести след человека и зверя в лесу. Бывают затишинки между стволами, где снежинки, слетая, ложатся одна над одной в строгом порядке, и долго обмятый ногою след так и остается следом и в то время, когда снег в лесу уже немного поднялся. И совсем когда всюду заметет-занесет, скроет всякие следы, в затишинке над старым следом для опытного глаза все еще остается понятная воронка.

Зуек все это знал хорошо и, не будучи в силах сидеть и ждать прихода Куприяныча, решил испытать, не найдет ли он такие воронки от следов в лесных затишинках, и если Куприяныч по ним тоже идет к нему, то они с ним и встретятся.

Так он собрал все свое добро в сене, надел на себя сумку, ружье, нож, топор. На поляне, конечно, даже мелкие зверушки не успели наделать своих бисерных следочков, поляна была чистой скатертью. Но дальше в самом лесу, там, где вчера Зуек простился с Куприянычем, сразу же в затишинке показалась воронка от следа Куприя-

ныча, и эта сейчас же перекликнулась подальше с другой, там дальше назвалась третья, и Зуек, сверля вниманием снег, стал пробираться вперед и вперед.

Мало-помалу появилась надежда, и, как только она появилась, Зуек вспомнил царство безобидных существ и захотел посмотреть, не покажется ли ему и с этой стороны царь Берендей. Конечно, и тут царствовал Берендей, пузатый и круглый, он тут был везде, это была самая излюбленная фигура в царстве безобидных существ, и вслед за царем все в этом царстве круглилось и пузатилось, образуя тоже везде купола, а над куполом везде торчал верхний пальчик елки и с крестиком. И вон опять на крестике красный снегирь...

В этот раз Зуек успел отогнать от себя набегающую тревогу и вернулся из царства безобидных существ с радостной надеждой к следам. Очень скоро запорошенный след завернул и, все скашиваясь, подвел к той самой заваленной просеке, где молодой лиственный лес низко поклонился старому бору. Тут след выпрямился и пошел самым краем бора вдоль заваленной просеки.

Пока Зуек разбирался в следах по редким, еле заметным воронкам, в природе совершалась великая перемена и решительно определилась новая жизнь. Смущенное солнце решило совсем покинуть свой трон и предоставить полную свободу всем живым существам, каждому жить, как только ему самому хочется. Сначала оно загородилось легкими корабликами почти прозрачных белых облаков, потом самому солнцу захотелось пожить для себя, и оно загородилось от мира темной дождевой тучей. После того закрылись и все голубые просветы на небе, и начало моросить. Наст еще не проваливался, и Зуек даже и не помышлял, что рано или поздно в тепле наст должен провалиться и глубина снежная много больше его собственного роста должна поглотить его, и эта глубина — не вода, в снежной глубине плавать нельзя...

Так шел Зуек по следам возле самой просеки и всю тревогу свою закрыл в себе вниманием к следам. И, ступая над бездной по тоненькой пленочке, в сущности стал одной из обреченных фигурок из царства безобидных существ. Мельчайшие капли тумана, проникая с верхних веточек, собирались в постоянные капли под фигурками, спускаясь все ниже и ниже, подтачивали все, чем держались фигурки на дереве.

Небольшая елочка с широкими ветками стояла на пути Зуйка. На пальчике верхней мутовки этой елки отдыхал только что прилетевший из теплого края маленький дрозд-белобровик. Широкие ветки елочки были опущены в снег и там зажаты. Елочка со спущенными ветками стояла, как связанная Снегурочка с живой птичкой на верхнем пальчике.

Но вода, осаждаясь на ветках деревьев, всем связанным существом несла свободу. Стекая по спущенным плечикам связанной Снегурочки, вода быстро подтачивала ледяные оковы мороза, и вдруг в лесной тишине сами собою веточки елки прыгнули вверх.

В изумлении Зуек остановился, а дрозд-белобровик в безумном страхе забыл свою усталость от перелета из теплых краев и опять полетел куда-то вперед, дальше и дальше на места своих гнездований.

Моросил настоящий дождь, а наст все держал, и Зуек нисколько не думал о грозной бездне под своими ногами.

Вдруг с высокой сосны на просеку рухнул сам царь Берендей, ударил по склоненному дереву, и прямо перед самим Зуйком прыгнула вверх молодая стройная белая березка. Вслед за этой первой березкой подальше сама уже прыгнула осинка, и за ней началось в молодом лесу и по всей просеке, как у людей, восстание всего молодого леса, и тоже, как у людей, старый лес бросал вниз на молодежь свои непомерные тяжести, и тоже, как у людей, старики не только не усмиряли, а помогали ходу восстания. Всюду прыгали молодые деревья, всюду сбрасывали с себя белые шапочки, рассыпали свои белые саваны, раскачиваясь, шептались, охлестывали друг друга, как люди, радуясь теплу, охлестывают друг друга вениками в жаркий час.

Зуек видел, как мало-помалу просека, заградившая путь ему, вдруг вся встала и далеко открылся вверху просвет, а сверху все падали, падали, рушились его волшебные кобылицы, и львы, и слоны.

Глухой шум падающих снежных фигур, самовольное движение веток, скрип и треск со всех сторон встревожили Зуйка до того, что в нем тоже самовольно стало нарастать стремление к побегу: бежать, не помня себя, бежать из этого безумия лесного туда, где столько хороших людей в большом разумном труде создают счастье великой суровой борьбы, делают что-то чудесное, чего не

бывает в природе. В этот момент Зуек понял — не туда он пошел. И в то же время он понял — нельзя и просто бежать назад, и почему-то надо непременно ему дойти до конца, и там уже видно будет. А главное не в том, что он сейчас затадывает, а в том, что велит ему тот собственный его начальник, взявший власть над ним с того самого мгновения, как он вышел из дому.

— Вперед! — сказал теперь этот начальник.

Но только Зуек сделал один шаг вперед, как под ним что-то хрустнуло и наст провалился.

К счастью для Зуйка, не очень давно была гололедица и снег тогда еще покрылся тонкой корочкой льда. На корочку эту потом налетел снег, и весной на снегу сделался наст. Зуек теперь провалился до того первого наста-пола, сделанного гололедицей, и он погрузился пока не глубже колена.

— Вперед, вперед! — требовал от него начальник.

Теперь идти вперед стало очень трудно и очень опасно: второй тонкий наст на каждом шагу легко мог провалиться и поглотить, и никакая борьба после того не была бы возможна.

С трудом сделал Зуек несколько шагов, как вдруг впереди него рухнул один из пузатых царей и попал как раз в то место, где с вечера зарылись тетерева. Большие черные птицы с красными бровями и белыми подхвостниками вырвались из-под снега и полетели вперед друг за другом в лес, но сам лес качался, и они в ужасе смешались в своем полете и бросились в разные стороны, ничего не понимая, как только что подмывало и самого Зуйка броситься в ужасе неизвестно куда.

Откуда-то выбило глухаря, большую черную с небольшой бородкой краснобровую птицу, и он сел без памяти на первую молодую нежную осину, нелепо обременил ее и только что не сломал. Но не успел он опомниться, как снежный ком хватил его, сбил почти донизу, и глухарь, как и тетерева, сбивая на лету во множестве фигурки безобидных существ, помчался неизвестно куда.

Куда мчится безумный глухарь? И пусть у маленького человека под ногой сейчас бездна, куда на каждом шагу может он провалиться, но человечек этот все-таки слышит голос своего начальника, все-таки держит себя, и в себе у него собираются свои милые люди, и с каждым шагом делаются ему они там все дороже и лучше. И не

только маленький человечек над пропастью, но и самый серьезный воин умирает на войне, собирая в душе своей милых людей.

Как все-таки хорошо быть человеком!

И эта лучшая песенка жизни уже начиналась в душе у Зуйка. А между тем падающие комья, снежные, мокрые, тяжелые, стали падать в логовища и в стойбища зверей. Недалеко от Зуйка первая вышла на просеку и остановилась, обдумывая свой путь, прислушиваясь, осторожная рыжая лиса с белой грудкой. Сообразив что-то по-своему, она выбрала себе путь вдоль просеки и пошла осторожно, проваливаясь по самое брюхо, а свою великолепную трубу, оберегая от мокроты, поставила вверх. В полном безумии, в панике неслись, не проваливаясь, белки, зайцы и валом валили прямо на Зуйка, как вдруг темный бор сбросил на них снег, и они все завернули на просеку, и тут белки мчались по-прежнему, а зайцы отчего-то стали проваливаться, пахать брюхом снег и оставлять на нем широкие полосы.

Трудно было Зуйку!

Пролез на просеку, проваливаясь сквозь верхний наст, матерый волк-одинец. И тут же, не обращая на волка никакого внимания, ломая с шумом и верхний наст и нижний, пронесся целый большой табун огромных лосей.

После лосей Зуек сделал шаг вперед и вдруг ногою почувствовал край бездны: что-то хрупнуло там, и стало несомненным — если только он шевельнется, то непременно провалится. Теперь надо бы наломать себе много веток, укрепиться и ждать. Так он и хотел сделать, и потянулся, и вот-вот бы достал, как вдруг с той стороны над самым снегом показалась бурая голова с маленькими глазами. Голова двигалась довольно быстро вперед прямо на Зуйка, а вслед за головой снег разваливался на две стороны до самой земли.

Совсем стало плохо Зуйку, но мысль о милых своих дорогих людях не оставляла его. И опять еще раз мы скажем, если на все кругом посмотреть: как все-таки хорошо быть человеком!

Скоро поняв, что это большой медведь идет на него, Зуек быстро снял ружье и только хотел прицелиться, как вдруг под ногой у него сильно хрупнуло и охотник исчез в снегу с головой.

XXXI. ЗВЕРОВАЯ ТРОПА

Каждое дерево в лесу во время дождя бывает похоже на реку: ствол — это сама река, несущая воду в землю, с веток впадают в реку малые речки, а веточки — это ручейки. И иголочки, листики — это как на земле отмочинки, лапки и всякие родники.

А особенно бывает похоже дерево на реку ранней весной, когда, кроме дождя, еще бежит вода из-под загружающих ветки снежных масс. Тогда по стволу в землю бежит настоящий поток, снег внизу вокруг дерева становится быстро зернистым, садится, и так образуется чаша: этими приствольными чашами и начинается в лесу весна воды.

Так было и с тем деревом, где провалился Зуек. При необычайно дружной весне этого года поток воды по стволу сразу же широко озернил снег вокруг ствола, сделал его очень слабым и сразу же сильно понизил. Зуек без труда пробился к стволу дерева, прислонился к нему, приготовил ружье и стал дожидаться медведя.

Но медведь, увидав, что человечек внезапно нырнул под снег, сам ужасно перепугался, понимая по-своему: человечек, наверно, под снегом бежит на него, и явится перед ним с неизвестной стороны, и хватит сразу.

Вот только тогда и можно понять, какая у медведя сила, если видеть его, когда вода или охотники выгонят его из берлоги и он по уши в снегу бежит в нем, как конь на призовой дорожке, и снег над ним поднимается вверх, летит и спускается пылью: бурый, широкозадый, ворочает он своими бревнами, а над ним и после него идет снег. Медведь от Зуйка круто повернул и понесся просекой, раздвигая снег от низу доверху двумя косыми стенами. Этот первый медведь был большой старой медведицей, за ней тем же следом понесся жилец той же самой берлоги — пестун, и еще за пестуном бежал небольшой медвежонок с белым пятнышком. Последний медведь после старших мог бежать легко, как по дороге, вперевалочку: трух-трух! и покряхтывая.

Так и был проложен в весеннем непроходимом лесу отличный путь, и все звери, пересекая эту широкую канаву, повертывали по ней и все больше и больше уплотняли ее, и все больше и больше всяких зверей собиралось на медвежью дорогу.

Как только Зуек понял — медведь не придет, — насквозь промокший от непрерывного дождя, он вскарабкался на дерево и увидел медвежью дорогу вдоль просеки. В лесное окошко с коротким полем зрения ему уже не были видны медведи, но лоси прошли на его глазах, и волк еще ковылял, зайцев было множество и лисиц. Нетрудно было догадаться, как можно скоро добраться до медвежьей дороги и что только на этой дороге и можно теперь спастись маленькому царю природы: идти вслед за зверями, и звери укажут ему, как можно спастись.

Быстро он срубил с елки два большие сука и по одному, не проваливаясь, продвигался вперед, а другой сук за собою подтаскивал и, ступив потом на этот, подтаскивал пройденный. Так, переступая с сука на сук, он добрался до медвежьей дороги и легко пошел по ней, как ходят везде по дорогам. И так оно было теперь, если бы посмотреть с высоты: впереди шли медведи, раздвигая зернистый снег, позади их во множестве шли разные звери северного края, от огромного лося и до маленького горностая, а в конце плелся небольшой человек — царь природы.

Сейчас Зуек, промокший, озябший, усталый, не думал больше о соблазнителе, сулившем ему царство в природе, где ему не надо будет трудиться, и даже не слышал больше и голоса своего начальника, взявшего власть над его путешествием в край Живого Наволока.

Но мы погодим думать, что творческий дух человека, живущий в каждом из нас, совершенно покинул Зуйка. Нужно только вспомнить себя в прошлом, когда какой-нибудь наш жизненный план разлетался вдребезги. Помните? Мы хватались за что-то, и после это новое, непредвиденное оказывалось гораздо лучше нашего плана. Помните, как после победы мы вспоминали наш план с благодарностью, понимая, что только этот наш план, как леса при постройке, позволил нам приблизиться к лучшему и успеть за него ухватиться.

План Зуйка был совершенно разбит, но человеческая его готовность схватиться за перехожее лучшее и случай какой-нибудь — Жар-птицу или Серого Волка сделать своим конем спасения — в нем оставался, и пусть он шел в унижении, он все-таки шел как царь природы и непременно, сам не зная того, но доверяя лучшему, таил в себе

царство, как тант его всякий человек, начиная свой путь от рождения, от выхода из темной утробы на свет широкий и вольный. А что теперь делалось в лесу со старыми следами? Эти следы, как плотно смятый снег, обращались в лед и таяли много слабее, чем снег рядом лежащий, рыхлый. Следы теперь поднимались, и по мере того как снег опускался, они поднимались все выше и выше. Особенно выдвигались вверх следы человека.

Бывает, они сохраняются где-нибудь на солнечной опушке, где уже земля показалась, и уже бабочки желтые летают, и пахнет корой своей осина, на черном стоят высокие ледяные тумбы в обрез ноги человеческой: тумба за тумбой, как шел человек, так и остался его страшный след вдоль всей солнечной опушки. Страшновато бывает смотреть на эти тумбы, наверно из-за того, что ведь это только ледяные тумбы остались от человека, а сам-то он, может быть, и не жив?

Остались ли хоть эти тумбы теперь от Куприяныча, или он и вправду обернулся в гугая, как снилось Зуйку?

Была в тайге зимой плотная тропа, и по ней ходили все звери и всю зиму ее уминали. Не попал ли на нее в свое время Куприяныч, не по ней ли удалось ему уйти куда-нибудь, когда внезапный дождь оторвал, отрезал ему путь возвращения к Зуйку? Теперь эта зимняя зверовая тропа, как ледяная плотная дорога, возвышалась над оседающим снегом, и на нее-то в конце концов вылезла усталая, измученная медведица. Совершенно не думая о том, что вслед за ней идут ее родные медведи и целый огромный обоз всяких зверей, медведица, когда вылезла на дорогу, села на нее, завалилась, выставила одну заднюю ногу флагом, а сама стала спокойно у себя то ли что-то зализывать, то ли что-то ловить. Завидев издали протянутую вверх ногу медведицы, все звери, пережидая, приостановились: все понимали — бросаться в сторону некуда и надо ждать, пока лесная хозяйка не отдохнет. Когда же Зуек подошел к этому месту, видеть он ничего не мог: медведица и за ней все звери шли по твердой, зимней, оледенелой и хорошо всем зверям известной тропе. Конечно, как только Зуек вылез на зверовую тропу, ему уже стало много легче сравнительно с тем, что он пережил.

Может быть, звери знали, куда ведет эта тропа? Зуек шел последним и не знал, куда она ведет. Что же, он

шел вперед совсем как слепой или, как неодушевленный шар, катился под гору? Нет, он был человек в тот момент, когда по необходимости каждый из нас на своем пути должен бросить свой план. Но он не слепой! Весь свет его теперь сосредоточился внутри, и как только явится случай, он бросит этот собранный в себя мир на случайность и обратит ее в путь человеческий.

Он может сейчас об этой грядущей случайности и не знать, но он знает о свете внутри. Он ждет, и, когда придет время, может быть все звери лягут у его ног. Или, может быть, он погибнет? Ничего от этого не изменится, придет другой на место его, и все равно звери лягут.

XXXII. ВОПРОС РЕШЕН, РЕКА ПОШЛА!

Большой деревянный барак управления строительством всего Беломорского канала от озера Онего и до Сороки на Белом море стоял недалеко от Повенца на Медвежьей Горе. А внизу под горой была речка. Служащие в управлении — любители природы — перед весной, садясь за работу, чаще и чаще стали поглядывать на эту речку и все про себя отмечать: и как показались у берегов первые отмочины и по отмочинам лисица ходила за мышами на ту сторону, и как отмочины позеленели, а лисица ноги мочила и все-таки каждый день оставляла следы на отмочинах, мокрых, зеленого цвета, и как отмочины эти стали водой голубой, и эта вода пожала мышей к берегу, и лисице незачем стало ходить на ту сторону. День изо дня росли голубые забереги на реке, и смотреть на это стало так же утомительно, как если бы, дожидаясь всей душой весны, в упор глядеть на стрелку часов. Наконец в тот самый день, когда Зуек провалился в лесу, вода пошла на штурм по всей трассе канала, и от юга, с Повенца, и на север начались прорывы.

Было видно из окна управления, как лед поднимало, как ломало его. Через открытую форточку было все видно и слышно: и стрельба там была, и борьба была льдин между собою за лучшее место,— каждой из них хотелось как можно скорее выйти из тесноты и, может быть, успеть, пока не растаяла, прийти в океан.

Мало-помалу определилось в этой борьбе льдин за свободу, что главная масса их прекратила борьбу между собой и, согласно общему движению, в законе пошла,

а беззаконные кружились между ними, мешали им, поднимались вверх стояком, рушились. И когда беззаконная льдина рушилась на законную, то, нырнув вместе с нею под воду, возвращалась как бы на суд: одну льдину поток поднимал к себе, другую оттеснял к берегу и малопомалу выпирал ее на сушу. И так постепенно все беззаконные льдины на берегу в многоэтажных нагромождениях остались неподвижными изнывать до конца в лучах весеннего солнца, а вся река в законе молча пошла в океан. Когда шумная борьба за первенство льдин между собою вдруг как-то кончилась, то внезапная тишина с легким шепотом еще больше возбудила любителей природы, почти все служащие бросились к окнам смотреть на величественный ледоход, и каждый говорил:

— Река пошла!

Каждый, глядя на сплошной быстрый массовый ледоход, про себя о чем-то очень хорошем, желанном догадывался, и каждый это хотел бы выразить такими словами:

— В законе, в законе пошли!

Но никто не осмеливался вслух о льдинах сказать, как о людях, и потому все повторяли в одном человеческом шепоте:

— Река пошла!

И сама река до того ясно шептала — «пошла и пошла», что один из служащих бездумно спросил вслух:

— О чем шепчутся льдины?

И сосед его, не питавший никакого интереса к природе, ядовито и спокойно ответил ему:

— Они шепчутся о том, чтобы ты хоть какой-нибудь порядок навел у себя на столе, а то бумаги у тебя на столе дерутся больше, чем льдины.

А у начальника строительства было экстренное совещание, из открытой комнаты оттуда в общую долетали постоянно одни и те же слова:

— Вопрос решен!

— Какой вопрос и как решен? — про себя повторял каждый из служащих.

И, вслушиваясь в шепот льдин, сами же себе отвечали:

— Вопрос решен — река пошла!

— Никаких вопросов больше нет! — слышался голос самого начальника,— никаких споров, глядите сами в окно, вот вам на все один и тот же ответ: река пошла!

Так началась эта страшная борьба извечно соединенной силы воды с соединенной в законе силой человеческой воли и разума.

— Приказываю! — сказал имеющий власть над природой.

И этим имеющим власть был каждый из нас, кто бывал в жизни своей победителем в борьбе за общее дело, и армия врага при трубных звуках победы сдавала ему оружие. Но это только начало победы. Имеющий власть над природой должен так победить, чтобы сами журавли затрубили победу и враждебная армия стала мыслью своей и сердцем на сторону победителя.

— Приказываю! — сказал имеющий власть.

И кто-то услышал этот живущий в душе всякого победителя приказ и в свою очередь, именем этого имеющего власть над природой, сам приказал.

И стали передавать приказ и по радио и просто рассылать его в пакетах по всем узлам Беломорского строительства. Это был приказ, направленный к слиянию всех в одну силу, подобно тому как вода является силой, когда получает свой весенний приказ, это был приказ — по всем каплям сливаться и действовать против того, к чему прикоснулся человек, действуя против воды.

Новый приказ приводил в боевое состояние всех работающих на канале, все лагерные отделения стали называться штабами, все бригадиры стали начальниками боевых участков, все боевые группы стали фалангами, и все фаланги двинулись на места прорывов.

Это был приказ, направленный к слиянию всех в одну силу, наподобие силы воды. За этим приказом последовал приказ, имеющий в виду не воду, а самого человека: каждый боец на своем участке должен знать о своем незаменимом первенстве, знать, что человек не капля воды и заменить его может другой, если только первый умрет, и что нет, кроме смерти, никаких объективных причин для оправдания своей собственной слабости.

Так рождались знаменитые приказы, и шелест проплывающих льдин повторял:

— Вопрос решен — река пошла!

И деятельный человек в сердце своем повторял:

«Каждый боец на своем участке единственный, и в оправдание своей слабости у него нет никаких других объективных причин».

И человек, имеющий власть над природой, требовал:

— Победа должна быть доведена до конца, чтобы сам враг понял нашу мысль и не только наши трубы, а и журавли трубили победу.

XXXIII. СОЙДЕТ КАК-НИБУДЬ

Если бы вода могла прямо бежать к своей цели, как самолеты по воздуху, никакой жизни не могло бы быть на земле: вся пресная вода унеслась бы в океан и там стала соленой. Так и вся жизнь человека, подобно воде, проходит в постоянной борьбе, и в ней человек обретает особую силу и этой силой побеждает природу.

Конечно, даже самый разумный приказ встречал на строительстве канала огромные препятствия: ничего без борьбы не дается. Но не главными вредителями были такие, как Рудольф, с их обидами и самолюбивой войной против легавых. Кто-то махнул рукой под конец своей дневной работы, сказал себе: «Сойдет как-нибудь». Он в это время вовсе не думал, что доверяется слепому счастью своему и отдается на волю случая и что, может быть, для него, правда, все сойдет, а в общем деле станет на помощь силе врага, что, уступая свое первенство человеческое, он позволяет рождаться «объективным причинам» прорывов.

Вот из множества таких мгновений слабости, когда человек уступал свое первенство, рождалась огромная сила противодействия, и когда вся соединенная сила воды устремилась на человеческие сооружения, всюду по всей трассе начались прорывы.

Каждый прорыв укреплял неверие тех, кто стоял на своем и так понимал, что не для прямой пользы делается канал, а только чтобы мучить людей. И так безликие маленькие случаи превращались в личных вредителей, ожидающих случая перейти на сторону врага.

Редко, однако, в то время можно было прямо пальцем указать на вредителя, и только долго спустя поняли, что переброска Сутулова с Надвоицкого узла на водораздел была таким же вредительством. А вода будто узнала, что Сутулов уехал, и в ту же ночь нащупала недостатки сооружений плотины, запирающей воду Выга. Так пришла эта ночь, когда тишина, созданная великим трудом человека, нарушилась, и падун зашумел.

XXXIV. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ДЕДУШКИ

Кто наморился и крепко спал на канале, кто усердно занимался ночью своими маленькими делишками, и они заслоняли ему внимание к событиям огромного и страшного значения. Начало шума падуна услыхал один только умирающий Сергей Мироныч. Он в эти роковые часы прорыва витал душой в тех временах, когда пустынник отец Корнилий увидел мелькнувший в белой пене порога банный веник и отправился к верхнему жителю париться. Сколько раз Мироныч в жизни своей слышал этот рассказ о венике с суровым наставлением сестры своей о том, что будто бы от веника этого родилась у людей слабость, и от слабости и распалась Выгореция.

Всю жизнь свою он принимал эти слова на веру, и только вот теперь, под конец, пришло ему в голову подвергнуть предание это суду.

Выходило так, что пустынникам надо было в одиночку ждать светопреставления, а если уж вместе собраться, то тут же и сгореть. И эту решимость покончить с собой сестра называла силой, а собраться вместе, чтобы помогать друг другу хорошо жить на земле, справедливо, награждать разумных и добрых, наказывать строго негодных — это будто бы слабость. С особенной, небывалой в жизни своей ясностью Сергей Мироныч подумал:

«Нехитрая штука заморить себя на земле для жизни небесной. Трудно, и в том и есть сила человека, чтобы на земле жизнь устраивать, как на небе».

И повторил много раз заученное с далекого детства из «Отче наш»: «На земли, яко на небеси».

Каждый раз, повторяя, дивился он новому смыслу древней молитвы и не понимал сейчас, как это он мог тысячу тысяч раз за жизнь свою прочитать «Отче наш» и не заметить простого смысла таких простых слов: устраивать самому человеку разумную жизнь у себя на земле так, как представляется она совершенной далеко от нас где-то на небе. Как будто дым какой-то стоял возле Сергея Мироныча всю жизнь, а теперь кто-то стоял возле него и опахалом дым разгонял, и открывалась ясность на все, и наступала внятная тишина.

И вот тут-то, в этой внятной тишине, всякая мысль ему стала показываться и по-новому и как бы уже окончательно.

«Как же так,— подумал он,— был человек-пустынник, увидал веник, и ему захотелось попариться... Этого быть не может! Если о смертном часе думаешь — париться не захочется. И сестра тоже: зовет всех к смертному часу, а сама за детьми ухаживает».

И прошептав еще раз свое «Яко на небеси», Сергей Мироныч увидел на земле необыкновенный порядок, и в нем каждая вещь становилась на свое место.

По-крестьянски он эту радость свою о порядке перевел на жизнь каждого разумного человека в том смысле, что каждый человек хорошее дело может делать только с этим порядком в душе.

— Вот и вся мудрость, так все и делается у нас,— заключил Мироныч,— только нельзя же требовать, чтобы сразу вдруг и стало на земле, «яко на небеси».

И опять обняла его внятная тишина, и в тишине шумел водопад, но шум этот Мироныч понял как вопрос к себе самому, тревожный до смерти вопрос — что дальше нельзя так надвое: частью на небеси, а частью на земли.

Шум падающей воды в тишине душевной пустыни требовал от него немедленного решения: туда или сюда.

— Туда! — решил он.

И стало ему ужасно мучительно, больно и страшно.

«Назад?»— подумал он. Стало легче.

— Конечно, назад! — сказал он.

И круто повернул назад.

И, повернув на ходу, стал повторять:

— Домой, домой!

Вот эти непрерывно следующие друг за другом слова услыхала стерегущая его Евстолия Васильевна.

— Ты дома, Мироныч! — сказала она.

— Говоришь, дома?— ответил Мироныч.— А как же падун?

— Какой падун? Его больше нет, падун закрыли.

— А ты послушай, Васильевна! — сказал своим обычным разумным голосом Мироныч.— Шумит!

Евстолия Васильевна приоткрыла окно, и шум, прежний шум падуна явственно ворвался в избу.

Мироныч приподнялся на локтях и сказал:

— Это вода. Падун заработал. Это прорыв. Скорей беги, птицей лети в управление. Дорога каждая минута, Васильевна. Лети!

Не воды испугалась робкая Евстолия Васильевна, а что Мироныч вдруг встал и в разум пришел.

Неодетая, простоволосая бросилась бежать Евстолия Васильевна, смутно чувствуя, что бежит, выполняя последний приказ человека, кому раз навсегда поручила себя и, не рассуждая, доверяла всю жизнь.

А Мироныч, послав свой последний приказ на строительство государственного дела, тихо склонился на подушку. Последние дни он очень тяготился не так своей болезнью, как тем, что за ним надо ходить, что сам, ничего не делая, он доставлял людям столько хлопот и всем собою мешал.

Теперь Мироныч, отдав свой последний приказ, лежал со светлым лицом на подушке: своим приказом он себя оправдал и мог быть совершенно спокоен — больше он никому не мешал.

XXXV. ЧУЛОК СО СТРЕЛКОЙ

С такой силой пошла вода, так переполнились крупные реки, что не могли больше принять в себя воду бесчисленно бегущих из лесов малых речек, и некоторые из них повернули обратно к истокам леса.

Рыба, плывущая вверх на места нереста с огромным трудом против быстрой воды, теперь спокойно пробиралась обратно текущей водой. Может быть, даже и тысячи лет падала вниз большая река и семга прыгала вверх по камням. Но пришел человек и в какие-то два года остановил воду, и семга больше не могла прыгать вверх по сухим камням.

Но нет никакого зверя с такой бархатной лапкой, чтобы так неслышно идти, так подкрадываться, как вода крадется к человеческим сооружениям. Неслышно она лизала их, пока не выпятилась из плотины большая серая губа и вода по губе перешла на ту сторону и там, неслышно наполняя ямки и впадинки, потекла поверх к падуну. Тут-то вода больше не могла уже таиться. Падун зашумел, и обрадованная семга, пользуясь водою и камнем, стала опять прыгать вверх на места постоянного своего икромета.

Евстолия Васильевна неслась на огонек, как птица, задыхаясь, останавливаясь, прислушиваясь к нарастающему шуму воды.

Этот шум, как бывает весною, воды был согласованным со всею природой: ласковый ветерок откуда-то наносил уже запах осиновой коры, и слышен был свист пролетающих уток, и заяц, как будто внезапно застигнутый страстью, безумно кричал. Все было, как бывает ранней весной, и Евстолия Васильевна все это хорошо знала и, если бы пришлось потом поголосить на могилке, призвала бы во свидетели своего горя все, что тут было: и уточек-свистунков, и заюшек-горностаюшек, и шум страшного падуна страховитого, и больше всего этот огонек немигающий...

К счастью, часовой узнал ее и пропустил к Марии Улановой прямо на огонек.

Старая женщина, еле живая, добежав до окна, уже подняла было свою костлявую руку, чтобы постучать, но занавеска была не задернута. И глянув в окно, старуха медленно опустила руку и не постучала...

Помедли же, помедли минуточку, бабушка!

Мария Уланова в своем общественном деле, по правде говоря, не выходила из своей материнской доли, точно так же как и Евстолия Васильевна, вырастившая семь сыновей и набравшая множество внуков. Со стороны всем казалось, будто Уланова увлекается работой по-мужски, работает охотой. Но это было только во внешности. В душе Уланова жила не охотой, но постоянной материнской заботой. В самой тайне души своей она слушала приказы неведомого своего начальника так же самоотверженно, как слушала всю свою жизнь такие приказы простая жена хорошего человека Евстолия Васильевна. И занималась Уланова строительством не в его творческом смысле, ухаживала за ним, как мать, все вышивала, кормила людей, чистила, растила в постоянных заботах.

Сегодня Уланова особенно много работала, подготовляя себе к завтрему праздник: завтра должен приехать Степан. Усталая после рабочего дня, она сняла свои грубые сапоги, села в уголок своего простого дивана, закрыла глаза. Весь день ее счастье было под замком, и ни разу за весь день она не позволяла себе даже на мгновение заглянуть туда, набраться оттуда радостной силы для трудного дела. Давным-давно приучила себя Уланова к мысли, что в одном личном счастье нет утешения, и что, так или иначе сложится личная судьба, от мате-

ринской заботы никуда не уйдешь, и что самое главное: в материнской заботе о людях для женщины есть своя доля счастья.

Но теперь, когда она, усталая, присела и вспомнила о предстоящей завтра встрече, ей повеяло тем далеким миром ранней молодости, когда кажется, что если самому хорошо, то будто бы от этого своего счастья сделается и всем хорошо и что для этого счастья не нужно ни страдать, ни трудиться, а только жить самому как хочется. Подумав об этом, она чуть-чуть улыбнулась, скинула кожаную куртку и включила яркий свет электричества. Надо бы опустить занавеску, но как-то было не до того, окно осталось открытым, и старая женщина Евстолия Васильевна на этот огонек и бежала.

Заблестели в электрическом свете золотая смолка на хвойных свежесрубленных стенах и золотистые завитки каштановых легких волос. Женщина села перед круглым зеркалом на покрытом ковриком простом ящике, оперлась на локти, подперлась кистями рук и в зеркале стала смотреть на ту себя прежнюю в жизни со своим Степаном. На минуточку ей стало страшновато: вот этих морщинок возле глаз тогда не было. И вот еще, вот... и на лбу... Но если есть в душе острая боль об утраченном и на столе раскрытое письмо с надеждой на возвращение прошлого, это значит, надо дольше и дольше смотреть, и тогда постепенно утраченное отходит к пережитому и отбрасывается как не главное.

Что же это такое, ведь она по правде за все пять лет после Степана и не глядела на себя в зеркало: если бы она хоть раз по-настоящему заглянула на себя в зеркало, как же бы она не заметила свою детскую родинку. Как хорошо, что она сейчас увидела, узнала свою детскую родинку, и с нею вернулось ее детство. Глаза ее, печальные, большие, карие глаза, стали веселыми, жизнь личная, та самая тайная и всем нам знакомая и любимая, открылась, засияла на всем лице, молодом и прекрасном. Казалось, эта жизнь пришла не из-под своего замка, из себя, а со стороны, как тепло.

Мария Уланова повернулась, с лукавой улыбкой поглядела на себя вполоборот, радостно кивнула...

Какой-то большой старый ящик стоял тут возле кровати. Маша наклонилась к нему, вытащила большую бутыль тройного одеколона, поставила возле зеркала,

покопалась еще, вытащила много чулок и стала искать нештопаные. Счастливо нашлись скоро совсем новые, шелковые, цвета загара и со стрелками.

Маша села на диван, сняла с правой ноги грубый мужской нитяный носок, и чуть ли не впервые за пять лет раскатала шелковый чулочек легко на своей ноге. И тут-то оказалось,— она сама хорошо знала, какая это нога, и любовалась, как художник, ногой, заключенной в конские мужские сапоги и теперь освобожденной при ярком электрическом свете, блеске, аромате смолистых капель хвойного дерева.

В комнате сильно пахло лесной смолой, служащей целящим бальзамом раненым хвойным деревьям. Маша откинулась к спинке дивана, полузакрыла глаза. На одной ноге был шелковый чулочек со стрелкой, а другая так и осталась забытая, в грубом сапоге.

Она в это время для себя стала раненой сосной и понимала эту рану свою как обиду. Целых пять лет она несла обиду свою, как горб.

— Да, это горб! — прошептала она.

И тут же вспомнила одного горбуна, такого прекрасного душой, что каждый, заглянув ему в глаза, про горб его забывал. Горбатый человек сумел победить даже свой горб. Вот теперь и она сама обошла обиду свою, как горб. Больше теперь она не горбатая!

Радость победы счастливыми слезами, крупными каплями вышла на щеки из-под длинных ресниц.

И тогда наступил для нее тот личный праздник, какого ждет не дождется каждый из нас: тогда, если ты стоишь на земле, земля твоя обращается в воздух, а если ты в воздухе, то воздух становится светом и звуком, а время совсем исчезает, как будто ты его сбросил, как старую изношенную одежду, и оно остановилось.

Прекрасное мгновение, остановись!

Старая женщина глядит в окно и не смеет руку поднять, постучать, разбудить. Сама Евстолия Васильевна невестой вспомнила себя, и старая рука ее все не смела и не смела подняться.

А вода, определенная на земную работу, все бежит и бежит, водопад все усиливается. Старая рука неохотно поднимается к окошку...

Ну, еще подожди, помедли, помедли немного, бабушка!

XXXVI. СКАЗКА О ЗОЛОТЫХ КАРАСЯХ

Был пруд на Карельском острове с широким деревянным помостом, где женщины всегда стирали белье, и крошками от стиранного хорошо кормились караси. В озере было немало сигов и щук, на эту домашнюю рыбу, карасей, не обращали никакого внимания, и оттого карасей развелось в этом пруду видимо-невидимо.

Казалось бы, уж с карасями-то на Карельском острове дела были куда лучше, чего тут больше желать: кишмя-кишит в пруду рыба! Но и тут старые люди вздыхали о своем лучшем времени: теперь караси в пруду будто бы остались только серебряные, а в старину жили в этом пруду караси золотые.

Так при стариках и нельзя было ни о чем хорошем впереди завести речь: золотой век с золотыми карасями был назади, а впереди будет только мученье, и все кончится огненным светопреставлением, все сгорит.

Теперь пришла на Карельский остров новая пленная вода и незаметно стала все вокруг переделывать, как иногда в сновидениях действительность встает, как вырезанная, а все что-то кажется и то и не то...

Пленная вода незаметно обняла весь пруд, выгнала из береговых норок всех мышей и кротов и большую водяную крысу с длинным хвостом.

Старая Мироновна на молитве, искоса поглядывая на преображение жизни на острове, не утерпела и, черная, старая, вышла на солнечный свет из дома и села на лавочку. Весеннее солнце своими живительными лучами угрело старуху, и она, сидя на лавочке, мало-помалу все ниже и ниже стала склонять голову. Может быть, она, склоняясь, уходила в свой век золотых карасей, а может быть, и еще дальше, в золотой век всего человечества. Дальше золотого века уходить она не могла; о тех далеких временах, когда только начинала из колыбели океана выползать на землю жизнь, в староверских книгах ничего не написано. Прошло много времени, когда старуха, вздрогнув, подняла голову.

Волшебница вода за это время успела вовсе затопить и скрыть совершенно помост, где столько лет женщины стирали белье. Но самое главное было, что из берегов вышли целые полчища мышей и с водяной крысой впереди двигались прямо на старуху, и все они выходом

своим как бы говорили о том, что вода была колыбелью жизни, все вышло из воды, и выходит, и будет жить, пока будет вода на земле.

Но старуха, веря, что жизнь огнем кончится, перекрестилась, прошептала «Живые помощи», протянула к зверькам властную руку, приказала:

— Остановись, нечистое племя!

А мыши и не подумали останавливаться.

— Поганые! — крикнула на них Мироновна.

И плюнув в их сторону, еще раз перекрестила себя, повернулась к ним спиной и пошла к себе в дом ожидать неминуемое светопреставление.

Вода переполнила берега пруда и стала разливаться по всему острову. Серебряные караси вышли из своего тинистого пруда в общую воду огромного Выг-озера, ставшего теперь как море с невидимыми глазу берегами. После родной тины, откуда, лежа, так славно было пускать вверх пузыри, эта общая холодная и чистая вода, наверно, карасям не показалась приятной. Расплываясь в безбрежной холодной воде, может быть, и серебряные караси эти вспоминали себя в родном тинистом пруду золотыми? Все становилось вокруг как во сне, и волшебница пленная вода стала наделять всю природу снами и сказками.

Одно дерево на Карельском острове, очень старое, не вверх поднималось, а, как очень старый человек, все низилось и низилось. Все обламывали старое дерево на веники, добрались до макушки, сломили ее. Но сила жизни вместо одной макушки выбросила множество частых прутиков. Ворона обмяла себе в прутиках гнездо и укрывалась в нем от человеческого глаза.

Почти рядом с гнездом дымила труба Марьи Мироновны, но ворона трубы не боялась. Страшила ворону только одна водяная крыса и то лишь когда молодые глупые вороны учатся ходить по земле и воровать. Теперь, сидя в гнезде на яйцах, ворона давно должна была понять, что вода наступает, что пруд вышел из берегов и разливается по всему острову, что вода подходит уже к старухиному дому. Но какое дело вороне до таких больших перемен! Ее дело греть яйца, вывести новых, таких же, ворон. Так некоторые люди тоже предоставляют действовать каким-то особенным людям, «большим», и повторяют с противным самоунижением:

«Нам за ними не гнаться, наше дело маленькое!»

Но вороне, конечно, думать так было простительно, и она спокойно сидела, высунув хвост в одну сторону и нос в другую, ближе к трубе.

Между тем вода подошла вплотную к дереву, и по воде приплыла водяная крыса.

Это ворона заметила.

Старые сучки оставались лесенкой, сучок над сучком на стволе. Крыса забралась на первый сучок и свесила хвост. Когда вода еще поднялась, ворона заметила, как она коснулась хвоста крысы и оттого поплыл маленький, расходящийся больше и больше кружок по воде. А крыса, почуяв воду хвостом, перебралась немного повыше.

Ворона забеспокоилась: чем же все это кончится?

Не совсем хорошо стало тоже и полчищам мышей. Единственный дом на острове теперь оставался этот большой двухэтажный, со светелкой на втором этаже. Куда же больше деваться мышам, сухопутным животным? Конечно, все мыши широкой и тесной очередью вошли в незакрытую дверь. А из сеней по лестнице своим способом, не по ступенькам, а по брускам, соединяющим ступеньки, не спеша стали подниматься вверх: наждут воду — и опять тихонько поднимаются, не очень сильно опережая, но не даваясь воде.

Мыши, конечно, не своей волей занимали человеческое жилище, и, наверное, они оставляли свои милые береговые норки неохотно, как и серебряные караси, только с горя выходили на простор большой воды. Мы, люди, так это понимаем по себе в тех случаях, когда что-нибудь не сами от себя начинаем, а только подчиняемся понукающей нас силе идти куда-то, неизвестно куда.

Но что это случилось с человеком там наверху, в светелке, в черном гробу, сделанном из карбаса, бледным человеком в черной одежде?

Шевелятся непрерывно лиловые губы, пальцы неустанно перебирают шишечки лестовки. Явно — человек этот не рыба, мечтающая о тинистом прудике в золотом веке: человек этот по-своему действует, и даже больше чем просто действует, он хочет остановить время и жизнь.

Из невещественной словесной ткани прошедших времен Марья Мироновна сплела себе тончайшую паутину и все плетет и плетет ее, повторяя тысячи и миллионы

раз одну и ту же молитву Иисусову. И было время, когда с этой молитвой на устах праведники сгорали, а верующие историки написали в книгах, что тут же из огня они в светлых одеждах поднимались в лазурные небеса.

В то время, бывало, старец тоже так шепчет губами молитву, а глазами в щелку видит или ушами слышит за стеной, как царские солдаты начинают ломать двери. Тогда он скажет одно только слово: «Огонь!», и другой верующий поджигает смолье.

Но теперь некому слышать Марью Мироновну, она одна-единственная осталась на острове, подлежащем затоплению, и нет у нее друга, кто пришел бы и поджег ее гроб и, веруя, потом бы передал потомству о том, как она в светлой одежде поднялась в небеса.

И мышей-то этих тоже ведь бы не было, если бы Марья Мироновна вняла разуму и вовремя выбралась с острова. Мыши теперь подбирались к ней, как подбираются к человеку серые сомнения и шепчут ему что-то свое... Вот, может быть, и нашептали что-то. Марья Мироновна приоткрыла один глаз и увидела... весло.

Как весло! Откуда оно взялось? Кто поставил его здесь, и еще так, что только протянуть руку, ударить по воде — и гроб поплывет, как обыкновенная лодка.

И все это оттого, что нет друга, что Марья Мироновна совершенно одна и что скорей всего в сухом человеке без друга нет правды.

А может быть, даже и не мысль о весле заставила Марью Мироновну открыть один глаз, а сама вода подобралась и легонечко, как люлечку, качнула этот выдуманный гроб. Да и какой же это гроб — это просто колыбелька для новорожденных... И Марья Мироновна, мирская няня, открыла сначала один глаз, а потом и другой.

Кругом по всем краям карбаса сидели мыши.

— Ах вы нечистые! — крикнула на них мирская няня.

И, схватив весло, так ударила им по мышам, что все они посыпались в воду.

Вот в этот миг только и кончилась совсем Выгореция.

Мирская няня, увидев, как посыпались в воду несчастные мыши, чуть-чуть как будто бы даже и улыбнулась, пожалела и в свое оправдание сказала им:

— Кто вас звал сюда?

После того она с силой ударила по воде веслом, и еще, и еще. Карбас разогнался, вышиб окно и выплыл вон из

могилы на свет. И весь свет великий, беспредельный принял к себе мирскую няню и открыл ей:

«Свет, дорогая старушка, не кончается, а только-только еще начинается!»

Но это было не как окно открывается или дверь тюрьмы. Марья Мироновна, как и всякий до конца пристыженный человек, ничего не могла думать: ее сердце было сжато, как железными тисками, и не могло еще питать мысль. Она страшно внимательно, не отрываясь, глядела в одну единственную точку, как будто теперь в этой единственной точке сошлась жизнь всего мира.

Марья Мироновна глядела на точку сближения водяной крысы и вороны.

Ворона, конечно, точила давным-давно свой клюв вороний на крысу, своего смертельного врага. Теперь она была на священном посту охраны своего гнезда и была уверена в том, что может сковырнуть крысу с березы во всякое время. И не спешила оставлять гнездо, и ей казалось, победа будет вернее, если крыса подойдет вплотную.

Но при каком-то передвижении крысы на высший сучок ворона вдруг заметила — дело-то вовсе не в крысе, а в чем-то огромном, ужасном, чего нельзя и понять ни вороне, ни крысе.

— Но как же все-таки она поняла? — спрашивала себя Марья Мироновна.

И с огромным напряжением продолжала следить за борьбой двух вечных и ей хорошо знакомых врагов.

Что-то коснулось вороны, и она вдруг перестала даже глядеть на крысу. Вялая, задумчивая, она вдруг оставила гнездо с теплыми яйцами и перелетела на трубу утопающего дома.

— Вода колыхнула воронье гнездо,— решила вопрос Марья Мироновна.

И подумав о себе самой, о том, как вода и ее колыхнула, вся сморщилась, как будто изо всех сил сдерживая в чем-то себя. Но тем же острым, проницательным глазом она все-таки продолжала следить.

Крыса, не обращая никакого внимания ни на ворону, ни на ее теплые яйца, залезла в гнездо.

Прошло еще немного времени, и крыса, оглядевшись вокруг, поплыла в ту сторону, куда ей надлежало плыть, поплыла уверенно и смело.

Эта сторона была в людском безлюдье, где до сих пор еще сохранялись следы Осударевой дороги. Наверно, там и была где-нибудь родина водяных крыс, и, может быть, оттуда они все и вышли.

А ворона по-своему тоже знала — ей тоже надлежит лететь в ту сторону, или уже, может быть, она совсем простилась с гнездом и подумала на крысу: мало ли что еще может быть впереди, а ведь крыса в случае чего ей еще пригодится, с крысой-то она справится.

Вот когда уплыла крыса и улетела ворона, Мироновна перестала себя сдерживать.

Бывают минуты у человека, когда природа является ему как зеркало собственной жизни, и он видит себя не таким, как о себе думает, а таким, какой он есть.

Ворона была вороной, крыса водяная как крыса, а себя Мироновна узнала как простую деревенскую няню, не лучше других — вот и все!

Оставалась только одна труба над водой. Мироновна перестала себя сдерживать и, рыдая, упала в свою лодку, и долго лодка без управления кружилась на месте.

Так, не красавицей в светлой одежде из огня поднялась Марья Мироновна в лазурные небеса, а пошла к людям старенькой старушкой нянчить и выхаживать маленьких детей...

Она взялась за весло, огляделась кругом, стараясь определить ту сторону, где теперь собрались люди. Кругом было безбрежье, и от всего Карельского острова над водой торчала только труба ее дома. Четыре кирпичные стены этой трубы определили четыре стороны света, и по ним поняла Мироновна, где были Надвоицы. Когда Мироновна поставила свой карбас в ту сторону, до ее слуха долетел неясный шум воды.

Это было начало прорыва Надвоицкой плотины, это было то самое, что услыхал и умирающий Сергей Мироныч.

Ночь была северная, светлая, и солнце подглядывало в щелку, пытаясь понять, как люди живут по ночам без него. По тихой необъятной, огромной воде от весла мирской няни расходились две бесконечные волны: от зари в одну сторону — красная и от неба в другую сторону — голубая.

XXXVII. ПОСЛЕДНИЙ КУСТИК ОСУДАРЕВОЙ ДОРОГИ

Больше двухсот лет зарастала и все-таки не могла совсем зарасти Осударева дорога. Но пришли рабочие зоны затопления с топорами и пилами и порубили высокие деревья: нельзя же было оставить высокий лес под водой. Вслед за каналоармейцами пришла большая вода, и от всей дороги, где когда-то царь Петр тащил свои фрегаты, сначала еще оставались над водой кое-какие вешки исчезнувшей были, и на каждой вешке остались частые, как ягоды, маленькие дети природы, дрожащие от ужаса, серые, черные и рыжие зверьки.

Песок в пустыне несется — слышно, как ветер шумит. Снег падает — и то слышно, как снежинки шелестят, и огонь шипит, поглощая дерево. Только одна вода в природе может обнимать неслышно и поглощать без всякого предупреждения, показывая живому существу вдруг неизбежное... Тогда остается только плыть. И вот по мере наступления воды зверьки решаются плыть, и они как-то знают все-таки, куда им плыть, и все направляются в одну сторону, как будто там их остров спасенья.

Или, может быть, один какой-то смелый решился, начал, и все плывут по стадности один за другим неизвестно куда?

Так долго зарастала эта смелая дорога, рассекшая непроходимые леса и болота, и все-таки, двести лет зарастая, не могла исчезнуть совсем с лица земли. Но, как ни крепись, уходит же у нас рано или поздно старый человек, исчезает совсем, уступая путь молодому. Так и старая дорога: над водой теперь осталась только стрелка кустов на той самой горке, где так особенно трудно было тащить фрегаты. Теперь эта стрелка была похожа на клюв альбатроса с крючком на конце, и этим крючком был разросшийся ивовый куст. Еще немного подальше от этой оставшейся над водой формы клюва морской птицы торчала над водой половина забытой каналоармейцами елки, и медленно, совсем незаметно для глаза она утонала, сучок за сучком.

Задолго до наступления вечера солнце покраснело, увеличилось, расходясь, расплываясь в горячих весенних парах. Все зверушки вдруг что-то почувствовали и, как сговорившись, стали быстро покидать свои убежища

и уплывать куда-то на свой неведомый остров спасения. Теперь по всему их дружному решению плыть можно было понять: они чуяли где-то впереди свой остров спасения.

Мало-помалу ни одного зверька не осталось на всем длинном клюве альбатроса, и тогда в косых лучах за горизонтом, из-под низу выходящих вверх, показалась огненная птица, издали похожая на какую-то Жар-птицу, а вблизи, когда она села на верхушку утопающей елки, это оказалась просто ворона, освещенная красными лучами. Это была та самая ворона, потерявшая свое гнездо на Карельском острове. Можно думать, она уже оправилась от постигшей ее беды и теперь острым живым глазом следила и ждала свою добычу, плывущую с Карельского острова. По тихой воде оттуда показались два длинных крыла, одно, обращенное к заре, было розовое, другое, против неба,— голубое. Мало-помалу между крыльями определилась черная точка, образующая обе струи на всю воду, и тогда все стало понятно: это маленькое животное трудилось, плыло, разрешая вопрос своего собственного спасенья.

Водяная крыса плыла с Карельского острова, и голодная ворона ее нажидала. Ей трудно и невозможно было схватить на воде животное, вооруженное острыми зубами. Ворона ждала, когда утомленная крыса вылезет на последний ивовый куст утонувшей Осударевой дороги.

Так оно и вышло согласно с расчетом хищной вороны: вконец истомленная крыса, не обращая внимания на стерегущую ворону, подплыла к кусту, уселась на первый сук, спустила хвост почти до самой воды, а головку свою обернула к солнцу. Эта водяная крыса не была так противна своим хищным выражением, как крыса домашняя. Или, может быть, это делало солнечное освещение? Своим красным лучом солнце зажгло бисерные глазки, обвело светящимся нимбом мыслящий лобик. Казалось, на опустелой земле с утонувшей жизнью солнце нашло себе это маленькое животное, и опять и вновь загорелся в нем разум.

Полунощное солнце на севере всегда это говорит: кончилось все человеческое, начались новые миллионы лет роста утраченного разума...

Крыса глядела прямо на солнце, спустив хвост до воды. В тишине вода как бы дышала, и грудь ее мерно

поднималась и опускалась. Когда грудь поднималась, то вода касалась кончика спущенного хвоста крысы, получался от соприкосновения небольшой кружок, и тут же, как колечко дыма, расширяясь, уплывал в ту сторону, куда уплыли все зверьки, к своему острову спасения.

Полунощное солнце на севере всегда уносит нашу мысль к началу начал куда-то, и тогда кажется, будто если что происходит, то это не сейчас, а когда-то было, или же что жизнь всегда, во всякое время начинается где-нибудь и мы видим во всем ее начало.

Тут было так, что эта первобытная ворона из тех далеких времен, вся красная в лучах, бросилась на зверька с бисерными глазками над голубой водой, рассчитав свой смертельный удар в голову. Но ворона промахнулась, а крыса успела впиться острыми зубами в шею вороны. Со всей силой крыльев своих, с хриплым криком поднялась ворона вместе с крысой в воздух, и тут же обе рухнули, поднимая в воде борьбу волн и распуская далеко по тихой воде по череду катящиеся голубые и красные волны.

Вся растрепанная, вся искровавленная, ворона все-таки вырвалась и, совсем мокрая, уселась на елку, на прежний сучок. Крыса вылезла на свой куст и села, свесив хвост, и по-прежнему загорелись в ней бисерные глаза и определился мыслящий лобик.

Все знают, но никто не поймет, как могут чуять вороны пролитую кровь, и мгновенно они являются на место беды с другой вороной, и никто не знает, зачем это нужно им всем являться туда, долго кружиться и по-своему что-то друг другу кричать. Все бывает похоже на суд, но не наш нынешний, а какой он был еще, может быть, на земле до начала человека: это суд над раненым за то, что он пролил свою кровь, уступил врагу свою жизнь...

В этот раз вороны прилетели и без крика расселись вокруг раненой. Вероятно, судьям спорить было о чем: ворона вся в крови, она явная преступница, и остается только выбрать способ наказания.

Все кровавые в лучах тусклого солнца, вороны сидели молча на сучках и думали. И опять они все как-то по-своему разом поняли созревшее в себе решение, и все разом закричали, и все тоже захлопали крыльями. Нечеловеческий суд решил поставить ворону на крыло, и если она полетит — лететь за ней и кричать все одно: «Смерть!»—

до тех пор, пока она не упадет, и тогда ее заклевать. Может быть, пролетев какое-то пространство, доказав, что она способна жить, она могла бы еще и спастись?

Все вороны разом стали на крыло с криком, похожим на частое повторение нашего слова «смерть», и стали кружиться над раненой. Когда же она, мокрая, тусклая, отказалась подниматься и все оставалась на своем сучке, одна из ворон кинулась на нее сверху и клюнула. Вслед за этой другая, третья, и наконец раненая ворона стала на крыло, пошатнулась было, но справилась и вяло полетела. А за ней полетела вся туча ворон, повторяя без перерыву нечеловеческое заключение своего страшного вороньего суда.

Крыса тяжело дышала после борьбы, но видела и понимала — последний куст из всех, составлявших клюв альбатроса, мало-помалу погружался в воду: и каждый раз, когда вода касалась ее хвоста, перебиралась повыше, а кружок, возбуждая в воде перемену красного и голубого, уплывал в сторону острова спасения всех.

Солнце было теперь, как бывает у нас, когда задумчивый человек умчится мыслью далеко и вдруг отчего-то вернется, и ему кажется, будто он успел застать жизнь без себя. Тогда первое, что попадается ему на глаза, будь это животное, или дерево, или человек,— все загорается его собственным смыслом и живет его разумом...

Так было и с солнцем, когда оно заглянуло и застало лучом своим красным эту бедную крысу.

Тогда с этой крысы началась на земле разумная жизнь. И так всегда кажется нам на севере в лучах полунощного солнца, на что ни посмотришь, везде и во всем жизнь только что начинается...

Крыса, приняв в себя огонь солнца, как будто что-то поняла, поднялась повыше к самым живым прутикам с нежной корой, быстро, как садовым ножом, наискось срезала один, другой, третий и сама бросилась в воду. Подобрав под себя запас продовольствия, крыса вместе с ним поплыла, куда все звери плыли, на их какой-то остров спасенья.

Разум водяной крысы, захватившей себе в путешествие на остров спасения три веточки ивы, в сравнении с нашим разумом был не больше последнего прутика ивы от всей Осударевой дороги от Белого моря и до Балтийского.

Скоро и последний кустик исчез, и осталась только вода. Но, проводив Осудареву дорогу, мы отдохнем и порадуемся: это была не та вода, первая, откуда вышла на сушу жизнь: вода-колыбель. Эта вода была новая... наша вода, направленная рукой человека.

XXXVIII. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ

Киж-озеро — это, где раньше рыбаки семь лет рыбу ловили, а другие семь лет на том же месте траву косили. Вода исчезала через каждые семь лет вместе с рыбой, и в народе так говорили, что это водяные хозяева через каждые семь лет рыбу свою друг другу в карты проигрывали. Рассказывали даже — кто-то своими глазами видел, как летней светлой ночью водяной выгозерский с водяным кижозерским на камне в карты играли. Говорили даже про одного богатого рыбака, будто ему в сеть однажды попался сам водяной. И оказалось, ничего страшного в этих водяных вовсе и нет: такой он попался в сеть маленький, чернявенький, вялый сделался на берегу и, видно, был совсем даже и без костей.

Что с ним, с таким, делать? Ни зверь, ни рыба, ни человек... Рыбак поглядел на него, покачал головой, показал ему на костер, спросил: «Тебя в огонь?»— «Ме-ме!» — промычал тот в ответ. И рыбак понял это как «не-не!» и что в огонь ему не хочется. «Может быть, в воду тебя?» — спросил рыбак. Водяной кивнул головой и обрадовался. А рыбак, конечно, смекнул и дураком перед водяным хозяином не остался.

Так выпало рыбаку счастье — он поймал водяного: и так он ловко сумел с ним сговориться! Водяной выслал ему рыбу в Киж-озеро, где перед этим только что траву косили: пошла рыба вместе с водой, и рыбак наш был тут как тут.

Много подобных сказок передавали в прежнее время друг другу рыбаки зимними долгими вечерами, и все эти сказки намекали на временные подземные течения, очень нередкие в этом краю. Сколько же сказок должно было зародиться теперь, когда при наполнении и переполнении озер новой водою появились течения новые и в них, наверно, даже и сам водяной бы не мог разобраться.

Но зверьки все-таки по-своему что-то поняли и уплывали на свой остров спасения, пользуясь ощутимым дви-

жением воды из Выг-озера от Осударевой дороги к тому месту, где раньше было Киж-озеро. Вода заливала старые острова и тут же создавала новые и, обойдя сушу кругом, затопляла и вновь созданный остров.

Так незаметно для глаза и так неслышно наступала вода, что лесные букашки только-только успевали перебираться на травинки, на былинки, на соломинки, прятаться в трещинках старой коры омываемых деревьев.

Но только устроились паучки, букашки, всякие блошки на новом месте, как новая прибылая вода смывает их, рассаживает подальше до тех пор, пока от всего острова не останется небольшой пятачок с самым густым населением от красного, в булавочную головку, паучка до какого-нибудь лесного великана, медведя или рогатого лося.

«Спасайся, кто может!»— диктует вода.

И тогда уже некогда на соседа глядеть, каждый паучишко должен сам за себя постоять и показать, каков он есть и на что он годится сам по себе.

Тут не спрашивали каждого, как у нас на строительстве, кто его родители, где учился и чему, и что он умеет, и на какую работу хотел бы он сам определиться. Тут не помогали, не намечали, как у людей, каждому найти разумно место между его личным желанием и тем, что ему надо сделать для общества. Тут не было никакой возможности пауку войти с другим паучком в соревнование, как у людей входят, в борьбу за свое первенство в создании лучшего для всех. Тут была борьба не за первенство в общей работе, как в человеческом мире, а за существование: только бы спастись самому.

В такую борьбу был выброшен из человеческого общества бедный Зуек наравне со всей живой тварью.

Вода обошла его со всеми зверями на берегу бывшего Киж-озера и сделала этот берег островом спасения, куда и уплывали зверьки, оставляя последние кустики Осударевой дороги. Прежде этот остров был торфяным берегом, и весь он зарос черной ольхой. Это была та обманчивая земля, куда рыбак выходил с большой осторожностью. Берег манил к себе частыми ярко-желтыми цветами между черными стволами деревьев. Казалось, вот бы самое подходящее место уху или кашу варить. Человек выходил на берег, разводил костер, подвешивал на рогульках котел с водой и уходил за сухими дровами. Огонь пылал, вода кипела, но человек не возвращался:

на этом жидком берегу местами бывали провалы, и кто падал туда, больше уже не возвращался к своему костру. Вот этот самый берег обошла вода и сделала его островом спасенья, и сюда плыли плотной массой все потревоженные водою мельчайшие существа, а иногда и крупные. Даже птицы летели сюда, к берегам Киж-озера, на места своих привычных гнездований, утки и гуси кружились над водой и, не находя прежней земли, улетали. Только два белых лебедя, верных своей родине, остались вблизи острова: скорее всего они тут и выводились, но не смели из-за множества хищных зверей выйти на берег и плавали они тут, наверно, с той же самой общей утешительной мечтой, что как-нибудь все уладится, разберется, звери уйдут и очистят места для лебединых гнезд.

На том крутом обрезе торфяного берега, где устроился Зуек, под большой кокорой случайно была широкая песчаная прослойка, настолько отлого уходившая в воду, что трясогузка могла бегать по мокрому песку у самого края воды. Эта самая живая птичка, светло-серая, с черным бантиком на груди, с длинным кокетливым хвостиком, ловила и проглатывала мгновенно букашек, выходящих на берег из воды. Бегала она взад и вперед и оставляла на мокром песке издали заметную строчку своих крохотных лапок: лапка за лапкой следовали на песке точно так же, как на бумаге в строчку идут буква за буквой. И если бы вода убывала, то строчка на песке поднималась бы вверх и трясогузка, возвращаясь, вела бы под нею вторую нижнюю строчку. И так бы, строчка за строчкой, поднималась вверх та рукопись птички, какую мы читаем постоянно на песчаных берегах северных рек, когда весенняя вода начинает спадать.

Сейчас на берегу Киж-озера, ставшего островом, строчки трясогузки не оставались на песке: когда птичка возвращалась, оставленная ею строчка уходила под воду, и это значило — вода понемногу прибывала.

Зуек, не раз видевший, как трясогузки пишут свои страницы на песчаных берегах рек, сразу понял по этим утопающим строчкам: вода прибывает и остров спасения подлежит затоплению. Как изменился Зуек! Эти милые розовые щечки, с пушком и ямочками на улыбке, и пружинистые ножки, чтобы на них подпрыгнуть и броситься кому-то на шею,— куда это все девалось?

Там, конечно, все осталось, где жили свои такие чудесные люди, с кем можно говорить, и песни петь, и плясать. Какими они прекрасными стали, когда Зуек их потерял! И как бы хорошо можно было с ними жить, если бы вернуться туда!

Но вода прибывает и долго будет прибывать, и много еще будет залито таких временных островов.

Мы все теряем рано или поздно свой пушок на щеках и пружинки на ногах. Но у нас все это постепенно приходит, и чем постепеннее, тем счастливее жизнь,— так ли? Но Зуйку это пришло внезапно, так мало дней прошло, а его уже почти не узнать. Давно ли он мечтал о том, чтобы походить на Сутулова или на дедушку. И вот он теперь сам стал, как Сутулов, принужденный рассчитывать верно каждое свое движение, чтобы не терять свою силу даром. Щечки его опали, носик обрезался, мысль неустанно сверлит все, на что ее ни кинет глаз, и светится в нем остро. Весь иззябший, проснулся он под кокорой и сразу же заметил по птичке, как по часам, приближение страшного часа для себя вместе со всем множеством населяющих остров зверей.

Может быть, многим из нас приходилось встречать свой решающий день, или час, или минуту, когда свои руки опускались перед неизбежностью и только руки друга перекидывали для тебя паутинку спасенья? Вот хотя бы только паутинку Зуйку! Но среди зверей Зуек был совершенно один.

И вот, когда дошло до того, что среди зверей как будто не оставалось и человеческой паутинки, Зуек вдруг получил великое наследство. Это не было тем, что обещал Куприяныч: наследство, чтобы, ничего не делая, царствовать. Не в природе, даром, нашлось это наследство, а те же люди пришли на помощь, с кем он жил, кого он любил: это отец научил его ночевать в лесу, и Зуек стал делать точно, как если бы с ним был его отец.

Дрожащими, застывшими руками он стал обдирать бересту, ломать сухие сучки на ольхе и на елке, рубить лапник и сухостой. Потом он вынул, как и отец вынимал, заботливо завернутые в кожаном мешочке кремень, огниво и трут.

Маленький человечек, подражая отцу, высек огонь, не думая о том, что очень давно огонь был взят с неба одним из богов, чтобы передать его людям, и сделавший

это преступление бог был прикован другими богами к горе Кавказа, и коршун клевал ему грудь. Зуек ни о чем таком не думал, высекая огонь, и через этот огонь он вошел в общество людей, имеющих власть над огнем. Раздувая трут, он зажег берестинки и, подкладывая сушь, делал костер, неустанно подчиняясь приказам начальника жизни, человека, имеющего власть над природой.

В себе самом Зуек узнавал эту силу и мало-помалу начинал получать черты, общие всем людям, взявшим на себя дело спасения себя и своих близких. Лицо его, сосредоточенное, с опавшими щеками, глаза, всегда занятые, внимательные, походка, рассчитанные движения — все было в нем, как у человека в строю и, может быть, даже у человека, ведущего за собою в атаку людей.

Как в самой первой наивной любви каждому кажется, будто он это не для себя радуется, а что он со всем миром людей делает что-то прекрасное и единое и что как только он услышит от своей возлюбленной согласный ответ, то и весь мир в этом с ним согласится.

Так точно и в решительные минуты борьбы на смерть кажется: не за себя, а за весь мир, за всю правду стоишь, и все тогда, на что ни бросишь внимательный взгляд, все является в согласии и личного желания и долга, и своя жизнь — не только своя, а это вся жизнь, единая от земли и до неба.

Все три медведя на том конце острова, большая медведица, пестун и медвежонок, подошли было к двум корявым березкам у края воды. Может быть, им захотелось есть, и медведица решила попробовать счастья у воды: нет ли рыбы вблизи. Она не ошиблась: рыба, конечно плыла всюду большими стаями, определяясь в новых берегах. И медведица, увидев рыбу, только-только двинула лапой, чтобы прихлопнуть ее, как вдруг весь остров покачнулся, что-то глухо рухнуло, что-то оборвалось где-то под островом, земля дрогнула.

Край с березками понизился, вода хлынула, медведи бросились бежать от воды. И в ту же минуту край с березками опять поднялся, и вбежавшая вода не могла больше вернуться назад. В маленькой низинке собралась неподалеку эта вода, и озерко вышло такое мелкое, что сиги, выброшенные водою, были только-только прикрыты. Все зайцы сидели, не шевелясь, на своих местах, застывшие от ужаса, как фарфоровые, и рядом сидели

лисицы, не обращая на них никакого внимания, и волк дрожал рядом с лосем, и куница хищная не обращала внимания на белку, сидящую с ней на одном сучке. Все звери забыли свою хищность, больше того — они забыли даже голод: извечные враги рядом сидели.

Нет! Конечно, от страха они не полюбили друг друга, им просто от ужаса есть не хотелось.

Но недаром медведи так скоро привыкают к человеку, и недаром у медведицы так смешон и знаком был ее широкий зад, когда она во весь дух мчалась от воды. В маленьких глазах было что-то похожее, как бывает у людей, способных при всякой беде не упускать своего. Этими маленькими глазами медведица сквозь тонкий слой воды увидала в луже сигов и, забыв уже о катастрофе, вернулась к тому, с чего начала: стала с пригорка спускаться к сигам. Возможно, что заботливое материнство руководило медведицей и оттого-то и явилась у нее смелость; молодые медведи, разделяя страх со всеми зверями, остались на горушке.

Медведица не долго гляделась в зеркало чистого прудика. Хорошенько устроившись, она лапой накрыла большого сига и швырнула его стоящим наверху пестуну и медвежонку. Но те, переживая про себя катастрофу, еще не совсем оправились, не успели поймать, и сиг покатился обратно к медведице и потом шлепнулся в воду. И когда второго сига молодые медведи опять упустили, медведица не дала ему скатиться в воду, а откусила ему голову и на него села. Следующего сига она и не пыталась швырнуть, а тоже откусила голову и подсунула под себя. И так, одного за другим давила и подминала.

Нет, конечно, на острове Зуек был не один. Его родной отец, выводивший его с малолетства с собой полесовать, пришел ему на помощь. Зуек вспомнил, как отец много раз говорил, чтобы он не боялся медведя, что медведь покорен человеку и сам человека боится. Вспомнил Зуек, как было однажды: небольшой медвежонок обнял высокое сухое дерево и слушал, как оно от ветра гудит. Медведю это нравилось, он ударял по звонкому дереву лапой — и оно гудело. И так еще и еще, дальше и дальше. Полесники, старый и малый, стояли, дивились на мирное занятие любопытного медвежонка. Но вдруг вышла старая медведица-мать и стала угрожающе на задние ла-

пы. Отец ударил по дереву топором и, указав на дерево, сказал медведице:

— Уходи сейчас, а то и тебе будет, как дереву!

У медведицы от злости пена пошла из рта, и она эту пену швырнула лапой своей в отца.

Тогда и отец рассердился, изо всей силы хлопнул топором по дереву и грозным голосом закричал:

— Прочь от меня, супостат, немытое рыло!

Так тут и оказалось, это правда, что медведь покорен человеку. Грозного окрика медведица не выдержала, рухнула на один бок и убежала в кусты вместе со своим медвежонком. Не будь этого случая, как бы осмелился Зуек сейчас пойти на медведицу, чтобы отбить у нее рыбу на свое пропитание. Нет, Зуек был не один на своем острове, и люди из прошлого уже стали собираться, чтобы ему помогать. И это, наверно, будет правдой, если мы опять скажем, что ни один человек в одиночку никогда не спасался...

Вспомнив отца, Зуек вложил в ружье пулю, спустился к медведице на самое близкое расстояние и закричал во весь дух на нее:

— Уходи прочь, супостат, немытое рыло!

Услыхав сзади себя голос человека, медведица не побоялась даже воды и по прудику, по сигам бросилась бежать, и за ней обходом побежали пестун и медвежонок.

Зуек набрал себе сигов, сколько мог донести, и возвратился к костру. Тут, подвесив сигов на копчение, точно как делал отец, он немного повеселел.

Нет, нет, Зуек, конечно, был не один.

Утолив свой голод, Зуек еще больше повеселел, и внимательный глаз его еще смелее стал открывать чудеса.

Первое, что он увидел, — лебеди. Были эти лебеди белые, а теперь стали черные. Зуек подивился и задумался о том, как это могло быть. Но вот один из них окунулся в воду и побелел. И все стало понятно: масса насекомых, стронутых водой с острова, плыла по воде, по течению, как и все звери, к острову спасения, и, не доплыв немного до основной земли, приняла за остров тела лебедей и стала на них подниматься. Когда Зуек это разгадал, он и еще увидел, что лебеди не только почернели, но стали еще много толще.

Но самое главное, что увидел Зуек, это, что пока он ходил к медведице, пока он коптил сигов, пока он насы-

тился и повеселел, строчки на песке, сделанные лапками утренней трясогузки, стали одна за другой выходить наверх из-под воды, и это значило, что вода начала убывать.

Он, конечно, обрадовался, и как было ему не обрадоваться: это значило, вода уйдет и он вместе со всеми зверями спасется. Но эта радость была обманом, и обман питался его одиночеством. Да, конечно, как человек, он не мог быть одинок, но как маленький человек, как Зуек, он натворил бед и был теперь один-одиношенек.

Вода убывала оттого, что прорвала плотину, и падун зашумел. Это было страшным несчастьем, все хорошие люди дружно бросились спасать общее дело и бороться с водой, и только один Зуек, сам не зная того, радовался личной свободе. И с ним, конечно, в эту минуту был Куприяныч, обернувшийся в гугая и суливший ему царство бесчеловечное.

XXXIX. О ЧЕМ ЖУЖЖАЛА ПЧЕЛА

Что может быть лживей и коварней воды, и в то же время говорят постоянно — вода есть краса природы и что даже есть *святая* вода.

Так в природе вода, а любовь у людей? Говорят о святой любви, а сами постоянно дерутся. Как в этой путанице разобраться простому человеку, стремящемуся к хорошей жизни, человеку, каких огромное большинство на земле? Труженик такой, подумав о противоречиях, невозможных для честного ума, отгоняет весь этот вздор от себя, как пчелу. Но приходит ночь, пчела возвращается, тревожит совесть, порождает сны и уводит в какой-то волшебный край, где все вещи стоят на своих местах и вместе представляют единство.

Где тот волшебный край? И опять труженик отгоняет пчелу и, вздохнув, вручает желанную мысль топору, машине, напильнику, рубанку, перу или кисти.

Тогда, бывает, происходит то самое чудо, известное по себе каждому хорошему мастеру: на свет появляется новая, совершенная вещь, и, может быть, даже такая, каких еще на всей земле никогда и не было. Приходят люди другие и в совершенной вещи узнают свою затаенную мысль, ту самую, о чем ночью во сне каждому из них и так долго жужжала пчела. И сам мастер, сделавший вещь, понимает — не один он работал, были у него тайные по-

мощники, и вот они теперь пришли и узнают в сделанной вещи свою мысль: он только сделал, вручая себя целиком своему инструменту, а думали все!

Простой человек не ошибся: в своей суровой борьбе за совершенство люди соединены, как вода. И им остается только это понять и выступить с открытыми глазами против слепой стихии воды, где только случай решает, а не закон. Так зачем же нам каждому в одиночку оставаться с мечтой о совершенстве и, вручая ее материалу и своему инструменту, дожидаться счастливого случая? Почему бы не попробовать удержать труд человеческий, как воду, плотиной, чтобы вода и вправду стала святой и человек к человеку обернулся с любовью?

И все-таки до чего же может отбиться, заблудиться в одиночестве своем человеческое дитя, что вот птичка ему лапкой указывает так ясно: строчка лапок ее на мокром песке вышла из-под воды, и, значит, это вода, капля по капле, с одного конца огромного водоема на другой передала весть о своем наступлении,— и все-таки нет!— дитя человеческое не понимает беду. Человечек по себе самом думает, он даже радуется: вода убывает, и остров соединится с сузёмом, и тогда он, человечек, будет спасен.

Но мы простим заблуждение бедному мальчику, соблазненному мечтой помимо труда найти край, где все — цари. Было довольно и таких на строительстве, кто в упор глядел на творческий труд и все-таки продолжал думать только о себе самом и о своем личном спасении. Рудольф был один из таких, но даже и он со всей своей командой был не страшен общему делу. Какая могла быть сила в такой мечте, что вода прорвет плотину, и люди вернутся в прежнюю жизнь, и пахан опять своим золотым пером очень искусно будет выписывать бумажные деньги? Бессильна та мечта о прошлом: того прошлого уже нет.

И потом, как бы ни были плохи люди, осужденные за свои преступления, все-таки и среди них в труде повседневном вставал и множился простой хороший человек, каких огромное большинство на земле. Этот труженик занял уже и здесь, на канале, свое первое место, и созданный им участок работы на канале стал его новой родиной. Даже и такие были, кто эту новую родину предпочёл бы своей старой.

XL. АВРАЛ

...Когда Евстолия Васильевна увидела в окошке Уланову, уснувшую на диване за переобуванием, с одной ногой в шелковом чулке, а другой в конском сапоге, она по сочувствию опустила руку, поднятую, чтобы постучать в окно. В следующее мгновение старуха опомнилась и постучала.

Уланова бросилась к окну.

— Вода!— сказала Евстолия Васильевна.

И Уланова сама услыхала: падун зашумел.

Но в это время на строительстве все уже переменилось.

— Аврал!— гремело по радио страшное слово.

Все быстро вставали.

И еще через несколько десятков минут Сутулов уже мчался сюда на машине с водораздела.

Нужно было много мешков, много песку. Кто-то указал на староверское кладбище, и пошли грузовик за грузовиком большой колонной туда за песком. Люди построились в боевые фаланги и шли, фаланги за фалангами, на место прорыва. Вот теперь бы уж не пришло Зуйку в голову в поисках источников власти бегать от одного телеграфного столба к другому. Каждый, создавший свой участок работы, шел теперь хозяином и начальником, в свою очередь подчиненным начальнику, имеющему власть над природой, и его личное желание было неотделимо от его долга общему делу.

Как только Уланова услыхала шум падуна, вся эта мечта ее о новом, хорошем Степане исчезла. Не до того! Что это? Было ли в Улановой чувство долга своего обществу так высоко, что личная жизнь при первых сигналах с той стороны исчезла? Или, может быть, эта личная жизнь давно уже была проплакана и являлась только в пустые минуты? Забыв даже свой шелковый чулок со стрелкой, цвета загара, она сунула его в сапог. Не вспомнила даже и о письме Степана, оставленном возле зеркала, забыла убрать и бутыль одеколона, открытую, с пробочкой возле нее.

С простой железной лопатой в руке вместе со всеми служащими управления пошла на прорыв Уланова.

Когда все фаланги прошли и когда все грузовики с песком укатили, на место прорыва в легковой машине

примчался Сутулов. Перед воротами управления машина остановилась, из нее вместе с Сутуловым вышел кто-то высокий.

— Пропустите к Улановой!— приказал Сутулов часовому.

— Идите, Степан, к ней,— сказал он высокому человеку с бледным лицом.— Если же не застанете, садитесь на первый же грузовик — и на трассу: скорее всего она уже там.

— Мне, может быть, сейчас, не заходя, ехать на трассу?— спросил Степан.

— Это как вы хотите,— холодно ответил Сутулов,— хотите, садитесь.

— Нет, я бы, пожалуй...

— А ну тебя!..— резко оборвал Сутулов, хлопнул дверцами и укатил.

До того ли было теперь Сутулову!

Часовой пропустил Степана, указал ему барак Улановой и то самое окно, куда стучалась Евстолия Васильевна. Степан тоже в это окно постучал, потом заглянул, потом обошел барак с другой стороны, в дверь постучал, потом ее приоткрыл: дверь была не заперта...

Он вошел в эту комнату, где все было брошено в том самом виде, как оно было при стуке в окно Евстолии Васильевны. И так бы оно осталось на века до раскопок, если бы при слове: «Аврал!»— было все засыпано пеплом. Нашли бы под пеплом один шелковый чулок на диване, и ученый строил бы свои предположения о втором чулке, и прочитал бы письмо, брошенное на столике от какого-то Степана, и осмотрел бы бутыль с надписью: «Тройной одеколон».

Что же лучше? Пепел засыплет нашу личную жизнь или свой же человек придет и по-своему все сам уничтожит? Степан был пепельный человек, но в глазах его было так, будто он у всего мира за себя просил прощенья и вперед за себя извинялся с рабской улыбкой. Так паук по углам паутину развешивает, а человек жалостью к себе опустошает чье-то нежное сердце. С такой улыбкой, вызывающей состраданье, он прочитал свое письмо и все понял лучше ученого,— и почему новые туфли, и один шелковый чулочек, и этот открытый одеколон: его, его самого, пепельного человека, Степана, женщина ждала его,— и чем он ее заслужил?

Пока он читал письмо, в пальцах он держал хрустальную пробочку, и когда все прочел, понюхал пробочку и заткнул ею бутыль с тройным одеколоном. Вспомнив что-то, он встряхнулся и решительно направился к двери, чтобы уйти, конечно, туда, где были теперь все.

Он взялся было уж и за ручку двери, еще бы сделать шаг... но вдруг он остановился, задумался, и на лице его заиграла опять та же улыбочка с просьбой прощенья у всех за себя.

Он вернулся, вынул пробочку, немного отпил, еще немного и еще... Вдруг вырвался, бросился к двери и вышел, но опять вернулся к зеркалу, взял в руки бутыль, сел на диван, выпил всю до последней капли и поставил бутыль на пол, локти на колени, голову опустил на руки...

Так что же лучше? Если пепел вулкана засыплет нашу личную жизнь или же свой человек придет? Конечно, лучше под пеплом в Помпее: там хоть что-нибудь от человека остается, тут же исчезнет все без следа.

Была светлая ночь, когда солнце на севере за нами подглядывает. Если бы только могло оно удивляться, как мы, оно бы растрогалось, увидев, как один маленький цветочек раскрыл пять голубых лепестков: эти лепестки у него были небом, а посередине все эти лепестки были связаны маленьким золотым солнцем.

Так началась жизнь, порожденная солнцем, но все-таки жизнь сама по себе; не раскаленно-бездушное и такое далекое, а свое, живое солнышко на своем собственном голубом, на живом своем небе. Солнце великое не могло увидеть такой красоты: человек увидел ее, удивился и назвал цветок с пятью голубыми лепестками и желтеньким солнышком внутри незабудкой.

Людям теперь было не до цветов, но все равно и земля еще лежала холодной, и все-таки на ней росли, прятались в росистой траве и ждали своего часа незабудки. И у человека они в душе тоже были и тоже ждали своего часа.

Фаланга за фалангой в боевом порядке и только не с ружьями, а с железными лопатами, веревками, мешками, корзинами и всем таким вооружением, пригодным для борьбы с водой, двигались каналоармейцы на место прорыва. Каждый в фаланге смутно сознавал, что в этой борьбе с водой там, на прорыве, есть такое место, где, наверно, придется пожертвовать не мешком с песком,

а самим собой, и что, может быть, себе самому именно и придется быть этим живым мешком.

Было немного таких, кто вперед бы хотел и тайно горел такой мыслью о страшном месте, куда бы ему стать, но были и такие. Другие, напротив, подумывали о том, как бы им не попасть на такое место и как бы это вышло, чтобы другой стал за него. Третьи ничего не думали и строго молчали, а если бы кто-нибудь к ним обратился с таким праздным вопросом, сказали бы хмуро сквозь зубы, как сказал об этом покойный Вася Веселкин: «Это не важно!»

Среди этих разных людей был еще и Рудольф, один из немногих, кому бы очень хотелось поиграть на том страшном месте с опасностью, но только если бы на него все глядели, все удивлялись его отчаянной храбрости и говорили: «Вот какой наш Рудольф!»

Сутулова, как все думали, не было, все знали, что он был отозван на водораздел.

И Рудольф решил показать себя. Он со своей отчаянной командой занял то самое страшное место, где плотина вытянулась огромной серой губой и лила воду, расширяя все больше и больше прорыв. Рудольф стал на это место, и все понимали, что он со своей фалангой начнет: надо броситься туда вниз под струю, принимать первые мешки с песком и укладывать их. Но не так-то был прост Рудольф. Скрестив руки на груди, он стоял, как великолепный иностранный турист под наведенными на него лучами прожекторов кинооператоров.

Кто знает, как бы все вышло, скорее всего пахан поломался бы немного и бросил бы свою фалангу в воду. Но вдруг на другом конце плотины, с другой стороны прорыва, появился Сутулов...

Начальник шел с виду спокойно, рассчитывая каждый свой шаг, но время уплотнялось, как пар под давлением, оно выходило из своего обычного потока и осаждалось в душе человека и там исчезало. Сколько протекло времени, человек тут и не помнит: время уходит в него и превращается в жизнь.

Сколько времени прошло, пока расстояние между Рудольфом и Сутуловым стало близким, и их разделял друг от друга только прорыв: большая серая губа, по которой неслись, устремляясь стрельчатыми струями, воды.

Не будь начальника, пахан бы, наверно, теперь со

своей фалангой был бы в воде, и ему бы все бросали мешки с песком, и он их принимал бы, как знаменитый актер принимает от публики цветы под гром аплодисментов... Но теперь идет навстречу не режиссер на театре, а ненавистный легавый с наганом на боку.

Так пусть же хоть застрелит — отдавать свою жизнь по приказу легавых он не согласен.

Скрестив руки на груди, пахан стоит с тонкой улыбкой на тонких губах. Сутулов, конечно, все понимал, и сотни раз удавалось ему Рудольфа обманывать, и все выходило как будто не по приказу начальника, а по милости предводителя бывших воров. Но как это сделать теперь, если время исчезло, нельзя ни слова сказать, ни сделать лица, а только бы успеть подойти скорей и приказать.

По одну сторону прорыва, скрестив руки, в женском малиновом берете — фигурант с голубыми глазами и маленькими черными усиками над загнутыми в мефистофельскую улыбку тонкими, змеистыми губами. По другую стоял начальник, и каждый знал, что начальник сейчас за правду стоит и ни одной минуты не поколеблется.

Сотни людей стояли и ждали, немало было из них, кто без всякой игры сейчас бы бросился, но Рудольф это взял на себя, его фаланга заняла все место прорыва.

Шум воды заглушал слова.

Сутулов махнул рукой:

— В воду!

Рудольф, скрестив руки, кривил губы.

«Попроси!»— говорило его лицо.

Сутулов махнул в другую сторону, чтобы место очистить другим.

Рудольф улыбнулся:

«Ты меня попроси!»

Сутулов вынул наган и стал медленно его поднимать. Он не колебался, но, медленно поднимая оружие, хотел дать время одуматься предводителю урок.

Но Рудольф тоже не сдавал и продолжал нагло улыбаться прямо в глаза начальнику.

И только, только бы...

Вдруг Уланова вырвалась откуда-то из гущи каналоармейцев, подбежала стрелой к самому краю плотины, крикнула:

— За мной, товарищи!

И бросилась в воду.

— Все за мной!— ответил, как эхо, в ту же короткую минуту Рудольф и бросился в воду за Улановой.

И вся фаланга, как один человек, бросилась в прорыв за своим паханом.

И полетели мешки с песком, корзины со щебнем, и все пошло, как на пожарах: тут же сами нарождались и брали власть над людьми какие-то начальники, и маленькие незаметные люди становились героями.

Сколько времени прошло? Вот в этом и была душа всего, что время остановилось, как в древней битве Израиля...

Солнце остановилось и поглядывало на всю эту битву человека с водой.

Времени не было, и Сутулов не мог бы сказать, сколько прошло с тех пор, как Уланова бросилась в воду, он видел тогда, что женщина не могла справиться со струей, что ее ударило о камень, что ее схватила чья-то рука, и потом снова все закрылось водой. А после люди массой своей заслонили всю эту сторону, и вниманье теперь нужно было Сутулову во что бы то ни стало направить в тыл этой атаки и тут людей расставлять, гонять машины за материалами. А дальше, потом, когда он стал повыше и ему все можно было видеть, того, что ему было так близко и дорого, все-таки он не видал и не знал, жива ли Маша, или ее в падун унесло.

Сколько же все-таки прошло времени?

Не было времени — время остановилось. Так мы и понимали когда-то, читая древнюю книгу о приказе Иисуса Навина: «Солнце, остановись!» В таких битвах время всегда останавливается, и, может быть, оттого-то и бывает таким блаженством вспомнить эту борьбу: это была победа над самим временем.

Сутулов заметил на работе — какой-то крупный предмет двигался по Выг-озеру сюда, к месту прорыва, двигался очень медленно. Кидаясь туда и сюда, Сутулов возвращался к этому предмету, и он все близился, и, наконец, стало понятным: это плывет сюда гроб из размытого кладбища. Потом он видел, как гроб остановился и закружился на месте, и, когда он тихонечко обратно поплыл, Сутулов понял: человек победил воду, и она вновь, плененная, обратно пошла и понесла этот гроб...

Вот тут только впервые после того Сутулов разрешил себе вернуться к мысли о Маше Улановой и оглянулся

туда. Она сидела у костра, живая Маша, и повертываясь время от времени, сушила свою мокрую одежду... И впервые Сутулов не ощутил в себе острой боли от мысли, что Маша никогда не станет ему родной и близкой и уйдет от него очень скоро куда-то далеко со своим Степаном: пусть уйдет — как радостно было сейчас увидеть ее живой! И Сутулову очень захотелось ее обрадовать чудесной вестью о том, что ее желанный Степан уже здесь.

XLI. ПОХИТИТЕЛЬ ОГНЯ

Когда последний куст Осударевой дороги должен был исчезнуть под водой, красный свет полунощного солнца засверкал в умных бисеринках животного с длинным хвостом. Нам приходилось не раз это видеть своими глазами, и каждый раз нам казалось, будто благотворная сила луча заходящего солнца вошла в глаза животного и вышла из него светом разума: водяная крыса, понимая, что в далеком пути она ослабеет, срезала себе в запас несколько прутиков ивы. Теперь одинокому животному, озаренному солнечной мыслью, оставалось только прижав к себе продовольствие, плыть и открывать новый мир. Но как раз в это время что-то случилось с направлением движения воды, и, почуяв эту перемену, крыса завернула назад по новому течению, и увидела она там, назади, что ивовый кустик опять выходит из воды. Тогда умная крыса выпустила свои срезанные прутики и вернулась на старое место.

Мало-помалу, кустик за кустиком,— и опять стала показываться Осударева дорога, и опять обозначился исчезнувший под водой клюв альбатроса.

Бывают и такие события, когда кажется, будто все возвращается к старому, но только раз стронется — к старому по-настоящему никогда не вернется. И напрасно, может быть, теперь серебряные караси повернули к старому пруду: не были они в нем никогда карасями золотыми, и им это только так кажется, это их слабость, неохота к борьбе нашептывает, будто в старом пруду были они золотыми.

Но недолго согревала душу зверьков мечта о возвращении всех в потерянный рай.

В этой войне стихийной воды с человеком разумный человек победил. Опять крепко схваченная плотиной во-

да, неустанно прибывая из лесов ручьями и речками, стала затоплять Осудареву дорогу. И опять загорелись бисеринки глаз водяной крысы от вечернего луча, и опять она срезала себе несколько прутиков и поплыла, прижимая к себе продовольствие, к неведомому острову спасения.

Мало-помалу, конечно, Зуек стал догадываться, почему это строчки на песке, сделанные лапками трясогузки, начали исчезать под водой: это вода прибывала и затопляла птичкину грамоту. Со всей тварью Зуек радовался, когда вода стала было убывать, и со всей тварью он тоже встревожился, когда остров спасенья опять стал погружаться под воду.

Солнце к вечеру стало расплываться и краснеть, косые лучи его ложились на моховые колена корней дерева. Под корнями, вероятно, земля уже стала охлаждаться, и оттуда к теплу солнечного угрева выползли три малюсенькие ящерицы, вполне сохранившие форму предков своих, гигантских ящуров.

Зуек сидел у своего костра и коптил себе рыбу, как это делали постоянно рыбаки на ночлегах. Он заметил, что когда солнце, спускаясь за горизонт, поднимало тучи, то ящерицы, вместе с малиновым теплым пятном от солнечного луча на коре, поднимались выше. Невозможно было заметить, когда они успевали перебегать, казалось, будто малиновое пятно, само поднимаясь, поднимало и ящериц. Может быть, и наш отдаленнейший предок сидел так где-то у огня вместе с ящурами и не знал, как и Зуек, что за водой, на том берегу, уже зарождалась мечта о человеческом городе.

Вдали на воде показался какой-то крупный предмет, и рядом с ним плыла темная точка. Мало-помалу определилось — это была небольшая плавина, кусок оторванной земли, скрепленный корнями нескольких деревьев и торфяными растениями, крепко сплетенными между собой. Может быть, это было течение, а может быть, легкий ветерок тянулся над водой, и деревья, принимая на себя ветер, служили парусами и несли плавину быстро, прямо к острову спасения.

На плавине держалось шесть больших лосей и один небольшой лосенок. Мало-помалу из точки возле плавины обозначился матерый волк, видимо очень усталый. Ему хотелось вылезти на плавину, и он пробовал хва-

ться за корни, чтобы вспрыгнуть. Но как только он вылезал до половины, большой бык, стерегущий стадо лосей, ударял его копытом и волк, окунувшись, с трудом догонял плавину.

Течение и ветер пригнали плавину на остров спасения, и она пристала на противоположной стороне от Зуйка, там, где остров оканчивался двумя корявыми березками. Осторожно, один за другим, высокие гости перебрались на остров спасения и тут, измученные далеким плаванием, ложились на землю, принимая ее за настоящую твердую землю, материк. Рядом были тут и медведи, и всякие звери, но и лосям было не до них, и зверям не до лосей. Все враги на время кончили свою войну. Лоси, достигнув земли, и на волка не обратили внимания, когда он, мокрый, поджарый, со страхом озираясь, прошел мимо них и тоже недалеко лег.

Среди этих зверей на острове было одно существо, не имевшее никакой связи со всем, потерпевшим великую катастрофу. Это был дятел, имевший возможность во всякое время куда угодно перелететь с острова спасения. В душе Зуйка трели дятла отзывались и возбуждали странное чувство неприязни к птице, имевшей возможность жить без заботы, когда все кругом погибали. Может быть, и люди есть такие? И смутное невольное сопоставление возбуждало неприязнь к этой птице. А дятел между тем нашел какой-то звонкий сучок на том самом дереве, под которым расположился Зуек и наблюдал своих ящериц. Дятел сильно ударил своим железным клювом этот сучок, и тот задрожал от удара так, что потом, часто ударяясь о клюв дятла, на весь остров поднял барабанную трель. И тут оказалось, что дятел был не один на острове, с другого конца ответил другой дятел такой же беззаботной барабанной трелью. И пошло у дятлов, и пошло: кто кого перестучит. Тут Зуек вдруг услыхал глухие удары, как будто кто-то на острове раз за разом стрелял из небольшой гулкой пушки.

Поглядев в ту сторону, Зуек увидел, что пестун нашел сухостойное гулкое дерево и занимался с ним: ударит по нем лапой и слушает. А рядом медведица стоит с медвежонком и тоже с удовольствием слушают.

Посмотрев на медведей, Зуек перестал злиться на дятла. Мало того! Как будто через этих добродушных медведей и в него самого вошла радость жизни, и как

только эта радость пришла, мало-помалу и дела его стали поправляться, и одна за одной стали рождаться в душе догадки о спасении себя самого и всех обитателей острова.

Когда лоси легли у березок, Зуек почувствовал некоторое легкое сотрясение острова и заметил, что две корявые березки на краю несколько погрузились в воду. В то же время здесь, где он был, остров немного поднялся и стал заметно покатым, и вслед за этим послышались какие-то странные звуки, похожие не то на отдаленное пение, не то на клики пролетающих лебедей.

Вода с большой солнечной дорогой лежала теперь спокойная, ни одна веточка теперь не шевелилась на дереве. Звуки стали похожи на то, как если бы кто-то палочкой играл на стаканах.

Тихонечко Зуек стал подкрадываться к тому месту, откуда слышались эти звуки, и мало-помалу добрался до того места, где раньше бегала из края в край трясогузка. Теперь бы тут птичка не могла больше бегать: край этот совсем даже поднялся ребром над водой. Зуек осторожно подполз к тому краю, откуда слышались странные звуки, и перегнулся туда.

Там, под краем, приподнятым над водой, далеко, в слабо освещенной глубине, виднелись все корни, корни. С них стекала по корневым сосулькам вода крупными каплями, и эти капли, ударяясь внизу по воде, издавали те звуки, похожие, как если бы какой-то искусник металлической палочкой ударял по стаканам.

Когда Зуек вернулся к своему костру попытать, не довольно ли уже прокоптились сиги, он заметил, что ящерицы со своим малиновым пятном поднялись за это время еще немного по дереву.

Может быть, Зуек теперь и мог бы догадаться, почему весь остров с прибытием новых гостей немного как будто наклонился туда, а здесь приподнялся и что вода, вновь закрытая плотиной, прибывая, поднимает остров и отрывает его от основного грунта. И еще бы немного подумать, и можно бы чем-то и помочь этому ходу событий на острове спасения. Но какого-то совсем ничтожного звена чуть не хватало, чтобы Зуек догадался и взял бы в свои руки дело спасения.

Вдали показалась на спокойной воде какая-то маленькая движущаяся точка. Самой точки пока даже и не было

видно, а только можно было догадываться по расходящимся на воде крыльям: красному — на зарю и голубому — с восточного неба, что крылья эти сходятся в пока невидимую точку и она непрерывно движется, разделяя всю вечернюю спокойную воду на красное и голубое.

Солнце еще не село, когда водяная крыса подплыла близко к тому берегу, где сидел Зуек у своего костра. Маленькая затопленная осинка торчала своей верхушкой из воды у самого берега. И до чего же измучилась крыса в своем путешествии от Осударевой дороги на остров спасения, что не имела даже сил вылезти на крутой берег. Она взобралась на развилочек осинки, по своему обыкновению спустила свой длинный хвост до воды, пустила хвостом кружок, другой по течению. И тогда, прочно устроившись, принялась очищать зубами привезенный с собою ивовый прутик.

Зуек глядел на крысу не с тем тревожно-корыстным вниманием, как утопающий глядит на подплывающую к нему соломинку. Совсем нет! Есть у человека особое напряженное внимание, похожее, как если бы тереть друг о друга куски дерева и вдруг они задымятся и явится огонь. Так и тут в таком рабочем внимании после большого напряжения является свет и радость свободы: вдруг рождается спасительная мысль.

Прежде всего заметил Зуек, что крыса привезла с собой продовольствие. Но, главное, заметил он, как, сверкая, горело красным огнем солнце в глазах-бисеринках и как последний луч, охватывая, обнял круглую головку и она стала похожа на маленькую человеческую...

Сердце сжалось у Зуйка, когда он вглядывался в огонек, сверкающий в глазах маленького умного животного... Ему вдруг вспомнилось, как однажды, совсем еще маленьким, он проснулся среди ночи и увидел на столе желтый огонек керосиновой лампы, и на лавке против огонька сидел дедушка совсем один и о чем-то думал, думал, и тоже вот такой же огонек, как у крысы теперь, тогда горел в глазах дедушки. До того стало тогда жалко дедушку и так неловко было самому, как будто ему, маленькому, под страхом наказания запрещено было заставать старших людей за их одинокими думами. Но такой был Зуек тогда, что уж раз оно случилось с ним, такое недозволенное, то надо было немедленно о нем говорить и расставаться, а не таить в себе и дальше разглядывать.

— Дедушка! — сказал Зуек. — Зачем ты такой сидишь?

Дедушка, могучий человек, от такого простого вопроса мальчика вдруг до того испугался, смешался, что Зуйку даже больно стало. Но через мгновение дедушка с собою справился, разогнулся, потянулся и засмеялся.

— Славные вы ребята,— сказал он,— только нельзя вам об том говорить, что вы хорошие.

— А почему нельзя, дедушка?— спросил Зуек.

— Потому нельзя,— ответил дедушка,— что вы несмысленые. Вы, правда, хорошие деточки, а скажешь — вы это каждый на себя переводите: так понимаете, что я, мол, хорош, а другой, значит, плох. Так и пойдет все у вас — я да я, а что это я?

Дедушка пыхнул от себя и сказал, выдохнув:

— Пар!

Зуек, вспомнив дедушку, отвел глаза от крысы, но встретился с такими же глазами у ящериц на малиновом пятне. А там зайцев засверкали глаза, вон белка на дереве, вон лисица в кусту, там волк и там дальше в лесной чаще на сучках все глаза и глаза...

Это бывает на севере вечером, когда на солнце можно прямо глядеть, не отводя глаз, и думать, и думать. Тогда кажется, будто оттого солнце и погасло, что роздало живым существам свою мысль. Солнце не блестит больше, но зато человек думает, и ему теперь кажется, будто и на всей земле и в каждом существе горит солнечная мысль, и даже верхушки деревьев, захваченные солнцем, теперь своей мыслью горят, и согласно мыслям каждая верхушка получает какой-нибудь свой особенный лик и делается на что-то похожа. Это бывает так с каждым перед тем, как ему предстоит о чем-нибудь большом догадаться: душа лучами расходится от себя куда-то на все и на всех, и вдруг лично сам исчезаешь, себя вовсе не чувствуешь, но зато является спасительная мысль, и человек решает вопрос о том, что ему делать.

Случилось так, что волк наконец от голода перемог свой страх и устремился на лосенка. Мгновенно старый лось бросился на волка, сбил его, а испуганные лоси, и те, что были раньше на острове, и те, что прибыли на плотине, все встрепенулись и бросились в сторону. Тогда вдруг что-то громко треснуло, что-то обломилось, обвалилось, оборвалось. И значительный кусок острова, тот

самый край с двумя корявыми березками, отломился, окунулся, как пробка выпрыгнул из-под воды и тихонечко поплыл в сторону, под парусами двух корявых березок.

Так на глазах образовалась маленькая плавина, а несколько зайцев, еще совсем белых, когда плавина ныряла, гигантскими скачками успели перепрыгнуть с этой дочерней плавины на материк. Тут-то вот Зуек и понял, почему остров спасения и колышется, и скатывается, и дрожит, и поет, и стонет: он может тоже двинуться и обернуться в плавину.

Так, начинаясь далеко где-то от огонька, зажженного солнцем в глазах умницы, водяной крысы, мысль дошла до конца в голове у Зуйка, и с этой мыслью он оглянулся вокруг себя. Теперь все уже стало иначе: красные глаза больше уже не блестели, и только ящерицы, поднимаясь выше и выше за теплом малинового пятна, еще видели солнце.

Сгущался внизу мрак, и так оно было, будто Зуек своей догадкой отнял у зверей солнечную мысль, и она у всех так бесполезно прошла, а Зуек у себя удержал. Он подложил в костер много суши, и человеческий огонь вспыхнул, и опять в кустах загорелись чьи-то глаза, и яшерицы остановились в своем движении вверх, и их маленькие бисеринки загорелись от огня человеческого, и внизу становилось вокруг все теплей и теплей.

Полной тьмы в это время года не бывает на севере, но сумрак может все-таки помешать работе, надо было спешить, и Зуек, взяв с собою топор, направился к тому месту, где оборвалась маленькая плавина с двумя корявыми березками и вон уже сколько-то отплыла.

На краю облома земли было все видно: всего несколько толстых корней держало весь остров у того самого конца, где оторвался кусок, а там, на другом конце, куда он заглянул, под землей слышалась капель от сосулек — там все было свободно. Оставалось только рубить корни, но как их рубить, как их достать?

И Зуек начал доставать и рубить. Доставал, и рубил, и падал в воду, и вылезал, и сушился у костра, и опять рубил, и опять падал. И так белая ночь проходила, и начинало светлеть понемногу, белеть, оживляться.

Тогда блеснул первый утренний луч, и Зуек опять догадался.

Зачем же он такую массу тяжелых животных держит на этом краю, где он рубит? Их надо перегнать на свободный конец, и тогда, может быть, от их тяжести, сложенной с тяжестью всего поднятого острова, последняя связь разорвется.

Он вырубил длинную жердь из сушины, пошел к костру, разжег конец и с криком бросился на зверей, размахивая факелом. Звери шарахнулись и вдруг все посыпались кто куда, и сам Зуек с факелом своим повалился.

Но звери тут же опомнились и поднялись, и Зуек тоже поднялся. Остров спасения оторвался теперь от последних корней, скреплявших его с основной землей, он теперь стал плоским, свободным, и он теперь даже вовсе и не был островом: он был плавиной.

Зуек еще успел подойти к костру, успел положить в него тяжелую сушину, но работа всей ночи дала себя знать: он тихо склонился у костра.

А ящерицы, почуяв тепло, оставили свой путь к холодному солнцу и быстро спустились к теплу огня человеческого. Звери тоже один за другим стали подбираться все ближе и ближе.

Не так ли будет потом, когда солнце остынет? Не зажжет ли тогда человек свое солнце, или, может быть, свою землю подвинет к горячей звезде, и может быть, даже весь мир когда-нибудь соберет под огонь мысли своей человеческой?

Ветер поднялся вовсе не сильный, но сколько парусов было на большой плавине! И она поплыла на всех парусах, и на всех мачтах ее сидели маленькие матросы и капитаны: рыжие, белые, черные, серые.

XLII. ПОБЕДА

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия.

(«Медный всадник», *Пушкин*)

Весенние реки наговорились, и намолчалась земля. В одно теплое утро в тишине перед восходом солнца с воды начали подниматься свободные капельки: они больше теперь не работают — они уходят вверх, к себе, в облака. И журавли трубят им победу.

Было время, когда капельки на проволоке, набегая друг на друга, сливаясь, тяжелели и падали. Теперь капельки больше не падают, а поднимаются вверх, встречаются и, не сливаясь, образуют легкие свободные облака. Мы на досуге, вглядываясь, узнаем в облаках свою жизнь, о чем-то догадываемся, отдыхаем. И бывает тогда, что друзья наши, и журавли, и вся природа трубят нам победу.

XLIII. ПЛАВИНА

На берегу озера Онего стоит город Повенец, и тут из озера вход в великий канал, соединяющий моря Белое и Балтийское. Прозрачным синеватым туманом поднимались капельки в утренний час, и им было хорошо: вода забыла свой плен. Как будто даже и не очень-то хотелось капелькам улететь в небеса,— на всякой вещи, сделанной рукой человека, они оседали. Желтая блестящая полировка шлюзовых ящиков покрылась тем же самым синеватым туманцем.

У входа в канал собрались начальники в кожаных пальто и форменных фуражках, готовясь к парадному пуску первого парохода. Вокруг все было готово к празднику, и садовник-декоратор с гордостью указывал на васильки на береговых клумбах: васильки эти сюда из Средней России доставили, васильки тут не растут. И мы узнали среди многих цветов и наши простые незабудки — пять голубых лепестков и среди них золотое солнышко.

Наконец подошел и герой праздника — небольшой пароход «Чекист». На нем все было по-праздничному чисто, полировано и покрыто синеватой дымкой умиренной воды. Тут на борту собрались инженеры, и каждый на лице своем нес теперь отражение общего света человека-победителя; это были все люди, умевшие растворить личную обиду в труде, смыть ее в творчестве.

Вместе с инженерами тут были тоже и начальники узлов. Сутулов с Улановой стояли рядом у борта.

— А ты помнишь, Саша, то время,— сказала Уланова,— когда мы приехали в Надвоицы и попали за стол к староверам и как разгорелся у нас спор о том, как надо по-настоящему жить: вот именно, как должно или по своему желанию. Ты, конечно, ответил, что жить надо по закону, и староверы поняли это смешно для нас: по

священному писанию. А я сказала, что если до смерти захочется, то можно пожить и по желанию. Ты понимаешь теперь,— это у меня тогда еще была мечта о Степане...

— Понимаю, но у меня тоже была мечта о тебе, а я это свое личное желание не смешивал же с тем, что надо.

— Ты счастливый, ты цельный человек, но не все такие. Вот бабушка,— сколько борьбы приняла на себя старуха, чтобы в последние дни стать мирскою няней и умириться с собой. И помнишь, как вскинулся этот мальчик Зуек, когда я сказала свое: «По желанию».

— Как же не помнить! Я потом с ним немного погорячился и часто вспоминаю о нем: после того он, наверно, и бросился к уркам, и они его довели.

— Урки, ты думаешь? — рассеянно сказала Уланова.

Сутулов ничего не сказал. Помолчав, он снял Машину руку с борта, растер на ней насевшие капельки тумана своею рукой и сказал:

— Мальчик пропал, как роса.

— Роса,— сказала Маша, не отнимая руки,— роса не пропадает — она улетает. Саша, и не думай, что он непременно пропал! Нет ни одного хорошего человека, кто не рисковал бы в своих заблуждениях. Но жизнь больше, она сильнее наших заблуждений и рано ли, поздно ли выводит нас на путь. И потом тут не ты и не урки. Я по себе знаю: тут у него была мечта о совершенстве и одиночество в ней. Как это сделать, чтобы разбить одиночество, а мечту не разбить?

— Нужен труд,— ответил Сутулов.

— Да, но как взяться, чтобы этот труд приближал к совершенству?

— По-моему,— сказал Сутулов,— нужно устроиться так, чтобы жизнь тратилась на себя самого, по желанию, как ты говоришь, а выходило бы для всех и как надо. Тогда по одну сторону останутся эгоисты, у кого все для себя, а по другую сторону — нытики и ханжи, кто живет по долгу для других и потихонечку скучает о жизни для самого себя. Ну, будет об этом, Маша,— ты лучше посмотри-ка на тот берег канала, как быстро он начинает жизнью живой обрастать!

И Маша увидала: на берегу полированного шлюза, как будто осев с капельками воды, примостился маленьк-

кий мальчишка в кепке с огромным козырьком, и именно эта кепка придавала мальчишке необычайную серьезность. Мальчишка был такой маленький и далекий от забот строителей канала, что начальники в кожаных пальто, окружавшие шлюзы, его как бы и не замечали. Мальчишка сидел здесь не праздно: в руках у него была длинная удочка и сбоку ведерко, и удочкой этой он удил рыбу, первый рыбак удил рыбу в новой воде.

— Жизнь начинается, Маша! — радостно сказал Сутулов и помахал мальчишке шапкой.

Уланова что-то хотела ответить, но вдруг зашумела вода, пущенная в большой зал, где стоял пароход. Этот зал был разделен на квадраты, и в них снизу начала быстро набегать вода, и пароход начал подниматься, как в люльке.

Скоро открыли дверцу следующего шлюза, пароход вошел в новый зал и опять стал подниматься еще на ступеньку повенчанской лестницы. И так, проплывая по каналу некоторое время, снова поднимался «Чекист» на следующую ступеньку этой водяной лестницы, все выше и выше, через водораздел, через тот самый Массельгский хребет, где мы когда-то с отцом ночевали и глядели на Осудареву дорогу.

Где теперь этот лес?

А речка Телекинка, где мы с отцом тогда сели в лодку и два лебедя не могли с нами расплыться, пока не доехали мы до Выг-озера?

Теперь все это вместе с Осударевой дорогой под водой, и мы смотрим теперь на все здесь глазами таежного странника, вдруг из-за деревьев увидавшего большую воду. Помните, мы все это пережили: увидали большую бескрайную воду и вдруг остановились на берегу, и какая-то великая мысль охватила нас, увела далеко душу.

Какая это мысль?

Когда «Чекист» вышел из последнего шлюза перед Выг-озером, все эти люди на палубе, так много пережившие в эти два года, люди, умевшие силой великой души человека высоко подняться над сетью привычек личных и обид, эти люди, выйдя из шлюзового ящика, вдруг стали перед большой водой...

Вот что это всегда неизменно при встрече с большой водой вдруг охватывает всего и человек замирает в молчании? Есть же в этом большом чувстве, в этом движении

вопросов и ответов какая-то единая мысль? Мы все знаем это чувство, требующее от каждого своего выражения. Вот, вот, кажется, его назовешь, и все согласятся. Но каждый раз бывает, что только бы назвать, и тут-то непременно кто-нибудь перебьет и скажет не то. Так ответ на вопрос и откладывается до новой встречи с большой водой.

Так и тут, при встрече созидателей канала с большой водой нового огромного Выг-озера, шевельнулась мысль, и слова были уже на языке, как вдруг капитан нам что-то сказал...

И опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана.

— Глядите, глядите, товарищи! — сказал капитан.

И передал подзорную трубу ближайшему к нему инженеру.

Высокие борины прежнего леса теперь стали островами и маячили далеко там и тут. Но одна из этих борин как будто не стояла на месте, а медленно двигалась, изменяя там и тут расстояния между собою и другими боринами.

— Это не борина,— сказал капитан,— а плавина. Там и тут вода, наполняя и переполняя Выг-озеро, подняла торфяные сплетения вместе с кустами, с деревьями. Мы каждый раз встречаем небольшие плавины, но эта плавина совсем особенная.

И стал рассказывать о необычайной плавине, как будто она была чем-то вроде Всадника без головы в известном старинном романе. Плавина эта прежде всего сравнительно с другими очень большая, и на тех плавинах, как редкость, бывает, сидят два-три зайчика, пяток белок или водяных крыс. А здесь, на этой плавине, собралось множество всяких зверей: и медведи, и лоси, и волки, и барсуки. По всей вероятности, вода, наступая, сгоняла животных с большого пространства и, собрав множество их на один островок, оторвала его... В разных местах видят плавину с ее великим населением, но только показалась — и нет ее: то ветер завернет, то далеко до берега станет на мель, ничего разглядеть нельзя. А потом снова поднимается ветер и уносит опять неизвестно куда, и опять она там и тут, как Всадник без головы.

— Плавина сейчас идет прямо на нас! — сказал первый инженер, получивший подзорную трубу от капитана.

Все потеснились к трубе, и каждый, по очереди получая, стал всем высказывать свои догадки.

— Там есть и медведи: виден огромный, другой поменьше и еще медвежонок.

— А сколько лосей! Как же вы не заметили, целое стадо, а медведей стало не видно.

— Понимаю, плавина повернулась другой стороной. И посмотрите, мне кажется, у зверей теплинка: синий дымок поднимается.

— Начинают показываться и маленькие. Сколько зайцев! Вот и волк, и какой худой! И барсук, и совсем маленькие зверушки какие-то на кустах, как виноград. А синий дымок, смотрите, скорее всего это пар от медведей,— не могут же медведи себе костер развести?

— Плавина повернулась снова другой стороной: вот ясно видно, у костра сидит человек, смотрите, мальчик! Вскочил, машет нам флагом на длинном шесте. Капитан, держите курс на плавину!

Все в страшном волнении сгрудились на носу вокруг капитана. Мало-помалу простым глазом все наконец увидали маленького оборванного Робинзона, окруженного множеством всевозможных зверей. И наконец Уланова радостно закричала:

— Это Зуек, это Зуек! Вот, Саша, только-только вспоминали его, и он тут как тут!

— Да, да, я вижу, это, конечно, Зуек,— ответил Сутулов, не сводя глаз с приближающейся плавины.— Только почему-то не видно друга его, Куприяныча. Я очень опасался, знаешь, про себя, что бродяга захватил мальчика для какой-то своей подлой затеи...

Быстро шел только пароход, а плавина двигалась очень медленно, и когда «Чекист» остановил машину, Зуек принял канат спокойно, как делают это на пристанях. Он обмотал чало несколько раз вокруг дерева, надел свою оборванную, лохматую куртку, взял сумку, ружье и медленно полез вверх по трапу. Наконец Зуек вылез на палубу к людям, не понимая, что все глядят на него, как на чудо. Он еще не совсем вошел в радость своего спасения, он еще не опомнился от жизни своей у костра рядом с медведями. Зуек не улыбнулся даже,

когда увидел Машу с Сутуловым,— так был он измучен, но только, узнав их, вдруг засветился.

Уланова сразу поняла, как сейчас трудно будет мальчику с людьми, и увела его вниз в свою каюту.

Когда Зуйка не стало на палубе, все бросились рассматривать зверей на плавине. Матрос с опаской спустился на нее и прошел сторонкой от зверей, чтобы устроить хоть какое-нибудь рулевое управление. После больших хлопот «Чекист» наконец натужился и потянул за собой обрывок земли, населенной всеми животными севера.

Очень скоро Уланова там внизу устроила Зуйку все, как делают в этих случаях матери своим детям, и он, чистый, одетый, за чаем спокойно ей, как матери, рассказывал во всех подробностях о всем, что с ним случилось с тех пор, как он загуменной тропой по последнему насту покинул Надвоицы. Уланова думала, что Зуек постепенно станет пробуждаться от необыкновенного сна. Она знала, как это бывало со всеми в голодное время, когда в душистом кусочке хлеба поглощаешь всю природу, солнечный свет и в этом свете поглощаешь и добро, и красоту, и всю радость жизни, тут же тебя и наполняющую. Это только кусочку черного хлеба можно так отлично обрадоваться, а сколько же ступеней радости пройдет одинокий человек, пока утолит он свой голод на друга?

Зуек в своем испытании не пережил обыкновенного голода на пищу, он ее себе доставал и на плавине. Зато не было ему и никакого обмана в его пробуждении. И входя в обычную устроенную человеческую жизнь, он сразу очнулся среди неисчезающих радостей и полной свободы.

Вдруг почему-то исчезли все страхи, все тайны, все, о чем в обыкновенной жизни людям вслух невозможно и стыдно сказать. Но истинному другу своему все можно сказать, можно поверить свое тайное, увериться через друга, не мигая потом смотреть в глаза третьему и находить в себе неистощимую силу размаха в борьбе с темными силами.

Бывает, сухостойное дерево годами стоит, одетое корой, но вдруг в какой-то один миг вся кора сверху и донизу с шумом обрушится вниз и ляжет горкой у корня. Так все лишнее, ненужное, чуждое обрушилось с Зуйка,

но сам он вышел не сухим из-под коры, а живым и новым.

Мать беседует с сыном о его далеких странствиях в чужой земле, и для нее не нужно каких-то особенных слов, она все сама отгадывает, все принимает к сердцу, все видит своими глазами, и сыну своему этим дает новую мысль о всем пережитом, и эта мысль не проходит, она остается навсегда, и от нее, бывает, не только себе, а и другим достается.

Все грани, разделяющие человека от человека, исчезли. Зуек рассказал и об украденном зеркальце и даже показал на руке своей выжженные Рудольфом голубые знаки: «Маша Уланова».

А когда пришел Сутулов, то и ему, оказалось, можно было теперь рассказать о себе, как о маленьком, что тогда хотелось ему захватить власть под предлогом спасения людей, но, конечно, на самом деле для себя. Ему казалось тогда, что приказывать — это очень приятно. А потом вышло на деле, что даже звери слушаются, если вперед сам себе прикажешь и послушаешься себя самого, как начальника.

— Зуек! — сказал изумленный Сутулов,— ты, брат, недаром пропадал: ты же теперь все понял!

И опять тоже, как и тогда, кора вторая с шумом опала с дерева и легла у корней, и Зуек увидал себя среди близких ему, дорогих людей.

Он узнал тут, что вода образумила и бабушку, что бабушка на своем черном карбасе, как на плавине, благополучно пристала к берегу, где строилась новая жизнь, и теперь живет мирской няней «по желанию». Он узнал, что дедушка Сергей Мироныч, умирая, выслал мысль свою последнюю в помощь государственному делу: тоже по желанию, а вышло как надо.

А дедушка Волков со всеми лучшими инженерами и каналоармейцами уезжает строить канал Волга-Москва. А Рудольф бросился в прорыв и теперь награжден и получил гражданскую свободу.

— И бросил малиновую шапочку? — спросил Зуек.

— Сразу же и бросил. Теперь он ходит в хорошей коричневой паре и носит мягкую шляпу.

Когда Сутулов вышел, Зуек осмелился осторожно и тихо спросить:

— А как же Степан?

Уланова склонила голову на грудь, немного потемнела в лице, но быстро собралась и ответила, показывая на уходящего Сутулова:

— Вот мой Степан!

И Зуек ей ответил:

— Я это знал.

И рассказал ей, как он в печурке слышал разговор о хвостах и потом уж на острове спасения догадался, перебрав все, что Степан обратится непременно в Сутулова.

В Надвоицах между тем давно заметили плавину, влекомую «Чекистом», и, по мере того как она приближалась и определялись разные звери, каналоармейцы со своими прорабами и начальниками и местные люди в удивлении сбегались для встречи необыкновенного острова со множеством всяких животных.

Многие вспомнили и узнали Зуйка, и в один миг всем стала известна история его путешествия в страну, где не работают, а только царствуют и получают от природы все готовое. И посмеялись всему и порадовались.

Но особенно стало всем занятно, когда Зуек попросил разрешения у Сутулова выпустить всех животных на волю. Плавину подогнали к низкому берегу и устроили незаметный переход с острова на материк.

Прежде всего Зуек рассказал о водяной крысе, о том, как она, переплывая воду, запаслась продовольствием и навела его на мысль о возможности освобождения всего острова зверей. Водяную крысу первую с почетом отпустили на берег.

И о медведице Зуек рассказал, как она под себя прятала рыбу и он у нее отбил много сигов, накоптил и все время ими кормился. Медведям тоже рыбы хватало, и они даже, немного опомнившись на берегу, кинули последний раз взгляд свой медвежий на людей и друг за другом, не торопясь, поплелись к лесу.

Но волк едва встал, а еще хуже было с лосями: они позволяли себя поднимать, подталкивать, но в конце концов оправились и всем стадом пошли. Зайчики запрыгали как ни в чем не бывало: наверно, им довольно было пищи на острове спасения.

Когда зайчики проложили дорогу, за ними запрыгали с веток белки, зашевелились мыши на кустиках. Некоторые зверушки до того рассиделись, что их пришлось выгонять. Зуек не забыл рассказать и о трех ящерицах,

как они поднимались по стволу дерева за уходящим солнцем, а потом спустились к его человеческому огню. Ящерицы тут и нашлись на стволе — им деваться теперь было некуда: под корнями дерева, где они раньше жили, теперь была вода.

После того как окончился этот праздник выпуска животных, Зуйка повезли на водосброс и стали ему все показывать.

И тут сам собою вышел тот праздник праздников, когда старшие заканчивают свою большую работу, а после них приходит ребенок и обращает все в сказку.

Так и Зуйку теперь было позволено поиграть с водосбросом. Он приказал бросить воду в падун, а сам нашел свою печурку и смотрел и слушал, как, собираясь с силами, бросался на камни падун и опять начинался знакомый гул, когда струйки, сшибаясь между собою, бьются, бьются, пока наконец не послышится мерный шаг человека: весь человек идет все вперед и вперед...

Как же так? Ведь это камень тогда вертелся в своей каменной яме, и в гуле этом слышался мерный ход человека все вперед и вперед. А теперь же этот камень открыли, этот камень поместили в музей местного края. Откуда же берется теперь и по-прежнему слышится в гуле падающей воды мерный шаг человека?

Или, может быть, это не камень определяет мерный ход, а в душе у Зуйка сила человеческая расстанавливает звуки борьбы падающих струек так, будто это не водопад, а весь человек собрался и мерно шагает все вперед и вперед?

Зуек не стал разбираться в этом. Он только очень обрадовался, узнав этот знакомый с детства ему шаг.

Мальчик махнул рукой. На водосбросе повернули ручку, и падун замолчал.

Мальчик опять приказал. И падун опять зашумел, и опять, как человек, кто-то в нем все шагает вперед и вперед.

А там, в другую сторону, лежит большая спокойная вода, и кто-то рассказывает, будто он сам видел своими глазами, как один из лосей робко вышел из леса, верно желая напиться. Он подкрался к воде и, наверно, увидел в ней сам себя, и ему из этого зеркала корова протянула лошадиную губу.

Лось было дрогнул и отошел назад, не узнав сам себя. Но пить ему очень хотелось, и он опять подошел и, не поглядев больше на лошадиную губу, напился воды.

А это вода была уже в руках человека.

И вот как будто у нас шевелится опять мысль, обнимающая нас всегда при встрече с большой водой, бывшей когда-то колыбелью всей жизни: эта добрая мысль человека, глядящего в беспредельную даль, о том, что каждый из нас где-то соединен с другим человеком и все мы, люди, в суровой борьбе за единство свое, все, как капли воды, когда-нибудь придем в океан.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

В краю непуганых птиц 3

Осударева дорога 149

Михаил Михайлович Пришвин

В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ
ОСУДАРЕВА ДОРОГА

Ответственный за выпуск *Суханова Л. Ф.* Художник *Воронецкий Б. В.* Художественный редактор *Дегтярев Л. Н.* Технический редактор *Шевченко Л. В.* Корректор *Луккоева Э. С.*

Сдано в набор 26/V 70. Подписано к печати 27/X 70. Бумага 84×108¹/₃₂. № 2. 11,5 печ. л. 19,32 усл. печ. л, 20,54 уч.-изд. л. Изд. № 74. Заказ 555. Тираж 100 000. Цена 78 коп.

Издательство „Карелия", пл. им. В. И. Ленина, 1

Сортавальская книжная типография Управления по печати при Совете Министров Карельской АССР, Сортавала, ул. Карельская, 42